

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке TheLib.Ru](http://TheLib.Ru)

[Все книги автора](#)

[Эта же книга в других форматах](#)

[Другие книги серии «Сага о Форсайтах»](#)

Приятного чтения!

СДАЕТСЯ В НАЕМ

*От чресл враждебных родилась чета,
Любившая наперекор звёздам.
Шекспир, «Ромео и Джульетта».*

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I. ВСТРЕЧА

Двенадцатого мая 1920 года Сомс Форсайт вышел из подъезда своей гостиницы, Найтсбридж-отеля, с намерением посетить выставку в картинной галерее на Корк-стрит и заглянуть в будущее. Он шёл пешком, со времени войны он, по мере возможности, — избегал такси, Шофёры, на его взгляд, были отъявленные невежи, хотя теперь, когда война закончилась и предложение труда снова начало превышать спрос, они становились почтительней согласно законам человеческой природы. Но Сомс им так и не простил: в глубине души он отождествлял их с мрачными тенями прошлого, а ныне Смутно, как все представители его класса, — с революцией. Сильные волнения, перенесённые им во время войны, и ещё более сильные волнения, коим подвергло — его заключение мира, не прошли без психологических последствий для его упрямой натуры. Он столько раз в мыслях переживал разорение, что перестал верить в его реальную возможность. Чего же ещё ждать, если и так приходится платить четыре тысячи в год подоходного и чрезвычайного налога¹! Состояние в четверть миллиона, обременённое только женой и единственной дочерью и разнообразно обеспеченное, представляло существенную гарантию даже против такого «нелепого новшества», как налог на капитал². Что же касается конфискации военных прибылей, то ей Сомс всецело сочувствовал — сам он таковых не имел. «Прощелыги! Так им и надо», говорил он о тех, кто нажился на войне. На картины между тем цены даже поднялись, и с начала войны дела с коллекцией шли у него все лучше и лучше. Налёты цеппелинов также подействовали благотворно на человека, по природе осторожного, и укрепили и без того упорный характер. Возможность в любую минуту взлететь на воздух приучала относиться более спокойно к взрывам небольших снарядов в виде всяческих обложений и налогов, а привычка ругать немцев за бессовестность естественно перерождалась в привычку ругать тредюнионы — если не открыто, то в тайниках души.

Он шёл пешком. Торопиться было некуда, так как они условились с Флёр встретиться в галерее в четыре, а сейчас было только половина третьего. Ходить пешком Сомс считал для себя полезным — у него пошаливала печень, да и нервы слегка развинтились. Жена его, когда они жили в городе, никогда не сидела дома, а дочь была прямо неуловима и целый день «носила по разным местам», легкомысленная, как большинство молодых девушек

¹ Чрезвычайный налог. — Во время войны 1914—1918 гг. в Англии было введено дополнительное обложение налогом больших доходов.

² Налог на капитал, — Одним из пунктов программы английских лейбористов после войны 1914—1918 гг., который не был осуществлен, было введение налога на капитал для погашения государственного долга.

послевоенной формации. Впрочем, уже и то хорошо, что по своему возрасту она не могла принять участие в войне. Из этого не следует, что Сомс не поддерживал войны всей душой с первых её дней, но между такою поддержкой и личным, непосредственным участием в войне родной дочери и жены зияла пропасть, созданная его старозаветным отвращением к экстравагантным проявлениям чувств. Так, например, он решительно воспротивился желанию прелестной Аннет (в четырнадцатом году ей было только тридцать четыре года) поехать во Францию, на свою «*chere patrie*³, как она выражалась теперь под влиянием войны, и ухаживать там за своими *braves poilus*⁴. Губить здоровье, портить внешность! Да какая она, в самом деле, сестра милосердия! Сомс наложил своё veto: пусть дома шьёт на них или вяжет. Аннет не поехала, но с этого времени что-то в ней изменилось. Её неприятная склонность смеяться над ним — не открыто, а как-то по-своему, постоянно подтрунивая, — заметно возросла. В отношении Флёр война разрешила трудный вопрос — отдать ли девочку в школу или нет. Лучше было отдалить его от воинствующего патриотизма матери, от воздушных налётов и от стремлений к экстравагантным поступкам; поэтому Сомс поместил её в пансион, настолько далеко на западе страны, насколько это, по его представлениям, было совместимо с хорошим тоном, и отчаянно по ней скучал. Флёр! Он отнюдь не сожалел об иностранном имени, которым внезапно, при её рождении, решил окрестить дочь, хоть это и было явной уступкой Франции. Флёр! Красивое имя — красивая девушка! Но беспокойная, слишком беспокойная, и своенравная! Сознёт свою власть над отцом! Сомс часто раздумывал о том, какую он делает ошибку, что так трясётся над дочерью. Старческая слабость! Шестьдесят пять! Да, он старится; но годы не очень давали себя знать, так как, на его счастье, несмотря на молодость и красоту Аннет, второй брак не пробудил в нём горячих чувств. Сомс знал в жизни лишь одну подлинную страсть — к своей первой жене, к Ирэн. Да! А тот бездельник, его двоюродный братец Джолион, которому она досталась, совсем, говорят, одряхлел. Не удивительно — в семьдесят два года, после двадцати лет третьего брака.

Сомс на минуту остановился, прислонясь к решётке Роттен-Роу. Самое подходящее место для воспоминаний — на полпути между домом на Парк-Лейн, который видел его рождение и смерть его родителей, и маленьким домиком на Монпелье-сквер, где тридцать пять лет назад он вкусил радости первого брака. Теперь, после двадцати лет второго брака, та старая трагедия казалась Сомсу другой жизнью, которая закончилась, когда вместо ожидаемого сына родилась Флёр. Сомс давно перестал жалеть, хотя бы смутно, о нерожденном сыне. Флёр целиком заполнила его сердце. В конце концов дочь носит его имя, и он совсем не жаждет, чтобы она его переменяла. В самом деле, если он и думал иногда о подобном несчастье, оно умерялось смутным сознанием, что он может сделать свою дочь достаточно богатой, чтобы имя её перевесило и, может быть, даже поглотило имя того счастливицы, который женится на ней, — почему бы и нет, раз женщина в наши дни, по-видимому, сравнилась с мужчиной? И Сомс, втайне убеждённый в неизменном превосходстве своего пола, крепко провёл вогнутой ладонью по лицу и дал ей успокоиться на подбородке. Благодаря привычке к воздержанию он не разжирел и не обрюзг; нос у него был белый и тонкий; седые усы были коротко подстрижены; глаза не нуждались в стёклах. Лёгкий наклон головы умерял излишнюю высоту лба, создаваемую отступившими на висках седыми волосами. Не много перемен произвело время в этом «самом богатеньком» из младших Форсайтов, как выразился бы последний из старшего поколения, Тимоти Форсайт, которому шёл теперь сто первый год.

Тень платанов падала на его простую фетровую шляпу. Сомс дал отставку цилиндру — в наши дни не стоит афишировать своё богатство. Платаны! Мысль круто перенесла его в

³ «Дорогая родина» (фр.)

⁴ «Храбрые солдатики» (фр.)

Мадрид — к последней пасхе перед войной, когда он, сомневаясь, купить ли Гойю⁵ или нет, предпринял путешествие с целью изучить художника на его родине. Гойя произвёл на него впечатление — первоклассный художник, подлинный гений! Как ни высоко ценят сейчас этого мастера, решил он, его станут ценить ещё выше, прежде чем окончательно сдадут в архив. Новое увлечение Гойей будет сильнее первого; о, несомненно! И Сомс купил картину. В ту поездку он, вопреки своему обычаю, заказал также копию с фрески «La Vendimia»⁶; на ней была изображена подбоченившаяся девушка, которая напоминала ему дочь. Полотно висело теперь в его галерее в Мейплдерхеме и выглядело довольно убого — Гойю не скопируешь. Однако в отсутствие дочери Сомс часто заглядывался на картину, пленённый неуловимым сходством — в лёгкой, прямой и стройной фигуре, в широком просвете между изогнутыми дугою бровями, в затаённом пламени тёмных глаз. Странно, что у Флёр тёмные глаза, когда у него самого глаза серые — у истого Форсайта не может быть карих глаз, — а у матери голубые! Но, правда, у её бабушки Ламот глаза тёмные, как патока.

Он пошёл дальше в направлении к «Углу» Хайд-парка. Ярче всего произошедшая в Англии перемена отразилась на Ропен-Роу. Родившись в двух шагах отсюда. Сомс помнил Роу с 1860 года. Сюда приводили его ребёнком, и он, выглядывая из-за кринолинов, глазел на всадников с бакенбардами в тугих лосинах — как скакали они мимо, рисуясь своей кавалерийской посадкой, как снимали учтиво белые с выгнутыми полями цилиндры; самый воздух дышал досугом; колченогий человечек в длинном красном жилете вечно тёрся среди модников, держа на сворках несколько собак и все набиваясь продать одну из них его матери: болонки кинг-чарлз, итальянские борзые, питавшие явное пристрастие к её кринолину, — их теперь не увидишь нигде. Не увидишь ничего изысканного: сидит унылыми рядами рабочий люд, и не на что ему поглядеть, разве что проедет, сидя помужски, краснощёкая толстушка в котелке или проскачет житель дальней колонии на невзрачной лошадёнке, взятой напрокат; трусят на приземистых пони маленькие девочки, катаются для моциона старички да пронесётся изредка ординарец, проезжая крупного, резвого скакуна; ни чистокровных жеребцов, ни грумов, ни поклонов, ни шарканья ножкой, ни пересудов — ничего; только деревья остались те же безразличные к смене поколений и к упадку рода человеческого. Вот она, демократическая Англия — всклокоченная, торопливая, шумная и, видимо, с обрубленной верхушкой. Сомс почувствовал, как у него в груди зашевелилась какая-то брезгливость. Замкнутая твердыня чинности и лоска невозвратно канула в вечность. Богатство осталось — о да! Он и сам богаче, чем был когда-либо его отец; но манеры, но вкус и достоинство — этого больше нет: всё смешалось в толчее громадной, безобразной, пропахшей бензином галёрки. То здесь, то там промелькнут маленькие затёртые оазисы учтивости и хорошего тона, единичные и жалкие — *chetifs*⁷, как сказала бы Аннет; но ничего прочного и цельного, что могло бы порадовать глаз. И в эту мешанину дурных манер и распущенных нравов брошена его дочь — цветок его жизни! А если заберут в свои руки власть лейбористы — неужели это им удастся? — вот когда наступит самое худшее!

Он прошёл под аркой, с которой сняли наконец — слава богу — уродливый землисто-серый прожектор — «Навели бы лучше прожекторы на дорогу, по которой все они идут, — подумал он, — осветили бы свою пресловутую демократию», — и он направил стопы свои по Пикадилли, минуя клуб за клубом. В фонаре «Айсиума» сидит, несомненно, Джордж Форсайт. Джордж так раздобрел, что проводит в клубе почти всё своё время — некий недвижный, насмешливый, сардонический глаз, наблюдающий падение людей и нравов. И Сомс ускорил шаг, так как чувствовал себя всегда неловко под взглядами своего

⁵ Гойя Франсиско Хосе (1746—1828) — прославленный испанский живописец и офортист.

⁶ «Сбор винограда» (исп.).

⁷ Хрупкие, хилые (фр.)

двоюродного брата. Джордж, как он слышал, в разгар войны написал воззвание за подписью «Патриот», в котором жаловался на истерию правительства, снижающего рацион овса скаковым лошадям. Да, вот он сидит, высокий, грузный, элегантный, чисто выбритый, со слегка поредевшими гладкими волосами, от которых неизменно пахнет превосходным одеколоном, и держит в руке неизменный розовый листок спортивной газеты. Джордж не меняется! И, может быть, в первый раз у Сомса забилося под жилетом тёплое чувство к этому пересмешнику. Его дородность, его безукоризненный пробор, тяжёлый взгляд его бычьих глаз являлись гарантией, что старый порядок не так-то легко свалить. Он увидел, что Джордж пригласительно машет ему розовым листком — верно, хочет справиться насчёт своих денег. Его капитал все ещё находился под опекой Сомса: вступив компаньоном-пайщиком в юридическую контору двадцать лет назад, в тот мучительный период своей жизни, когда он разводился с Ирэн, Сомс как-то незаметно для других и для себя удержал за собой управление всеми денежными делами Форсайтов.

После минутного колебания он кивнул Джорджу и вошёл в клуб. Со времени смерти в Париже его зятя Монтегью Дарти — смерти, которую каждый объяснял по-своему, соглашаясь лишь в одном, что это не самоубийство, «АйсиумКлуб» казался Сомсу более приличным, чем раньше. Джордж тоже, как ему было известно, успел «перебеситься», растратил свой прежний пыл и окончательно отдался чревоугодию, выбирая лишь самые изысканные блюда, чтобы дальше не полнеть, да сохранил, по его собственным словам, «только двух-трех старых кляч, дабы не утратить окончательно интереса к жизни». Итак. Сомс подсел к своему двоюродному брату у столика в фанаре, не испытывая, как в былые времена, стеснительного чувства, что он совершает нескромность. Джордж протянул ему холёную руку.

— Мы с тобой давно не виделись, с начала войны. Как поживает твоя жена?

— Благодарю, — холодно ответил Сомс, — недурно.

Скрытая усмешка покривила на мгновение мясистое лицо Джорджа и плотоядно притаилась в глазу.

— Этот бельгиец Профон, — сказал он, — прошёл у нас в члены клуба. Подозрительный субъект.

— Н-да, — пробурчал Сомс. — О чём ты хотел со мной поговорить?

— О старом Тимоти; он может каждую минуту сорваться с крючка. Завещание он, наверно, составил?

— Да.

— Так вот, тебе или кому-нибудь из нас следовало бы его навестить как-никак последний из старой гвардии; ведь ему стукнуло сто. Он, говорят, совсем превратился в мумию. Где вы думаете его похоронить? Он заслужил пирамиду.

Сомс покачал головой.

— Похороним его в Хайгете, в фамильном склепе.

— Правильно. Наши дорогие старушки соскучились там по нему. Говорят, он ещё проявляет интерес к еде. Он, знаешь ли, может долго протянуть. Нам ничего не причитается за наших стариков? Десять старых Форсайтов жили в среднем по восемьдесят восемь лет. Я высчитал. Государство должно бы выдать за них премию — приравнять их к тройням.

— Это все? — спросил Сомс. — А то мне пора идти.

«Филин ты этакий», — ответили, казалось, глаза Джорджа.

— Да, все. Загляни к старичку в мавзолей — вдруг захочет попорочествовать, — усмешка замерла в обильных рытвинах на его лице. Он добавил: Неужели вы, адвокаты, ещё не изобрели способа отлынивать от подоходного налога, будь он трижды проклят! Он дьявольски бьёт по наследственной ренте. Я привык получать две с половиной тысячи в год, а теперь мне оставили какие-то нищенские полторы тысячи, а жизнь вздорожала вдвое.

— Эге! — промычал Сомс. — Скачки становятся не по карману?

Насмешливо-оборонительная улыбка пробежала по лицу Джорджа.

— Да, — сказал он, — я так воспитан, чтобы ничего не делать, и вот теперь, на склоне

лет моих, нищая с каждым днём. Эти лейбористы намерены драть с нас семь шкур, пока не оберут дочиста. Чем ты думаешь тогда зарабатывать свой хлеб? Я буду работать свои шесть часов в день — буду обучать политиков искусству понимать юмор. Мой тебе совет, Сомс: пройди в парламент, обеспечь себе четыреста фунтов в год⁸ и найми меня учителем.

И, когда Сомс удалился, он занял своё прежнее место у окна в фонаре.

Сомс шёл по Пикадилли, углубившись в размышления, вызванные словами кузена. Он всегда трудился и копил, а Джордж всегда бездельничал и транжирил; и всё-таки, если дело дойдёт до конфискации, то в первую голову будет ограблен он, бережливый труженик! Это было отрицанием всякой добродетели, ниспровержением всех форсайтских принципов. А может ли цивилизация строиться на каких-либо иных принципах? Сомс полагал, что не может. Правда, картин у него не отберут — не поймут их ценности. Но сколько будут стоить картины, если эти сумасброды начнут нажимать на капитал? Ровным счётом ничего. «Я не за себя тревожусь, — думал он. — Я мог бы жить на пятьсот фунтов в год — в моём-то возрасте — и не заметил бы разницы». Но Флёр! Это состояние, так умно застрахованное, эти сокровища, так старательно выбранные и накопленные, — всё это предназначалось для неё. И если окажется, что он не сможет передать или завещать их дочери, тогда жизнь бессмысленна, и что пользы тогда ходить на сумасшедшую футуристическую выставку и раздумывать, есть ли у «будетлян» какое-нибудь будущее?

Как бы там ни было, прибыв в галерею на Корк-стрит, он заплатил свой шиллинг, купил каталог и вошёл. По зале слонялось человек десять посетителей. Сомс храбро двинулся к чему-то, что показалось ему похожим на фонарный столб, накренившийся от столкновения с автобусом. Вещь была выдвинута на три шага от стены и в каталоге названа «Юпитером». Сомс с любопытством осматривал её, так как с недавнего времени уделял некоторое внимание скульптуре. «Если это Юпитер, — думал он, — то какова же Юнона?» И вдруг, как раз напротив, он узрел и её. Богиня показалась ему как нельзя более похожей на водокачку с двумя рычагами, слегка запорошённую снегом. Он глядел на неё в недоумении, когда налево, рядом с ним, остановились двое.

— Сногшибательно! — громко сказал один из них.

— Жаргонное словечко! — проворчал про себя Сомс.

Мальчишеский голос другого возразил:

— Брось, старина! Это же издевательство над зрителями. Он, когда мастерил свою олимпийскую парочку, верно, приговаривал: «Посмотрим, как проглотит их наше дурачье». А дурачье глотает и облизывается.

— Ах ты, зелёный зубоскал! Воспович — новатор. Не видишь разве, что он вносит в ваяние сатиру? Будущее пластического искусства, музыки, живописи, даже архитектуры — в сатире. Ничего не попишешь. Народ устал для чувствительности нет почвы: из нас вышибли всякую чувствительность.

— Так. Но я считаю себя вправе питать некоторую слабость к красоте. Я прошёл через войну. Вы обронули платок, сэр.

Сомс увидел протянутый ему носовой платок. Он взял его с присущей ему подозрительностью и поднёс к носу. Запах был правильный — чуть пахло одеколоном, метка в уголке. Несколько успокоившись, Сомс поднял глаза на молодого человека. У него были уши фавна, смеющийся рот со щёткой усов над углами губ и маленькие живые глаза. В одежде ничего экстравагантного.

— Благодарю вас, — сказал он и, движимый раздражением против скульптора, добавил: — Рад слышать, что вы цените красоту; в наши дни это редкость.

— Я на ней помешан, — сказал молодой человек. — Но мы с вами, сэр, последние представители старой гвардии.

Сомс улыбнулся.

⁸ ...обеспечь себе четыреста фунтов в год... — Имеется в виду жалованье члена парламента.

— Если вы в самом деле любите живопись, вот вам моя карточка. В любое воскресенье я могу показать вам несколько недурных картин, если вам придёт охота, катаясь по реке, заглянуть ко мне.

— Страшно мило с вашей стороны, сэр. Заскочу непременно. Меня зовут Монт, Майкл Монт.

Он поспешно снял шляпу.

Сомс, уже раскаиваясь в своём внезапном порыве, также слегка приподнял шляпу и покосился на второго из молодых людей. Лиловый галстук, препротивные бачки, точно два слизняка, и презрительно прищуренные глаза — вероятно, поэт!

За много лет Сомс в первый раз допустил падобную оплошность и, взволнованный, уселся в нише. Чего ради ему вздумалось дать свою карточку какому-то вертоплясу, который водится с подобными субъектами? И образ Флёр, всегда таившийся за каждым его помыслом, выступил, как с боем часов выступает заводная филигранная фигура на старых курантах. На стенде против ниши висело белое полотно, а на нём множество жёлто-красных, точно помидоры, кубиков — и больше ничего, как показалось Сомсу из его убежища. Заглянул в каталог: N 32, «Город будущего» — Пол Пост. «Полагаю, тоже сатира, — подумал он. — Ну и чушь!» Но следующая его мысль была уже осторожней. Нельзя торопиться с осуждением. Имела же успех — и очень громкий — полосатая мазня Монэ⁹; а пуантилисты¹⁰, а Гогэн¹¹? Даже после постимпрессионистов¹² было два-три художника, над которыми смеяться не приходится. За те тридцать восемь лет, что Сомс был ценителем живописи, он наблюдал столько «движений», столько было приливов и отливов во вкусах и в самой технике письма, что мог бы сказать с уверенностью только одно: на всякой перемене моды можно заработать. Возможно, что и теперь перед ним был один из тех случаев, когда надо или подавить в себе врождённые инстинкты, или упустить выгодную сделку. Он встал и застыл перед картиной, мучительно стараясь увидеть её глазами других. Над жёлто-красными кубиками оказалось нечто, что он принял было за лучи заходящего солнца, пока кто-то из публики не сказал мимоходом: «Удивительно дан аэроплан, не правда ли?» Под кубиками шла белая полоса, иссечённая чёрными вертикалями, которым Сомс уж вовсе не мог подобрать никакого значения, пока не подошёл кто-то ещё и не прошептал: «Сколько экспрессии придаёт этот передний план!» Экспрессия? Выразительность? А что же тут выражено? Сомс вернулся к своему креслу в нише. «Умора», — сказал бы его отец и не дал бы за эту вещь ни полпенни. Экспрессия! На континенте, как он слышал, теперь все поголовно стали экспрессионистами. Докатилось, значит, и до нас. Ему вспомнилась первая волна инфлюэнцы в тысяча восемьсот восемьдесят седьмом или восьмом году, которая шла, как говорили, из Китая. А откуда, интересно, пошёл экспрессионизм? форменная эпидемия!

Между Сомсом и «Городом будущего» остановились женщина и юноша. Они стояли к нему спиной, но Сомс поспешно заслони́л лицо каталогом и, надвинув шляпу, продолжал наблюдать за ними. Он не мог не узнать эту спину, по-прежнему стройную, хотя волосы над ней поседел. Ирэн! Его разведённая жена Ирэн! А этот юноша, наверное, её сын — её сын

⁹ Моне Клод (1840—1926) — французский художник-импрессионист.

¹⁰ Пуантилизм — связанное с импрессионизмом течение во французской живописи конца XIX — начала XX в., представители которого писали мелкими или точечными мазками (пуантилисты, от французского слова «point» — точка).

¹¹ Гоген Поль (1848—1903) — известный художник, представитель направления, известного под названием постимпрессионизма.

¹² Постимпрессионизм — течение, возникшее прежде всего во французской живописи в конце XIX в., для которого были характерны, вместе с отходом от основных принципов импрессионизма, определенные формалистические тенденции.

от Джолиона Форсайта, их мальчик, он на шесть месяцев старше его собственной дочери! И, вновь переживая в мыслях горькие дни развода. Сомс встал, чтобы уйти, но тотчас поспешно сел на прежнее место. Ирэн повернула голову, собираясь что-то сказать сыну; в профиль она была так моложава, что седые волосы казались напудренными, точно на маскараде; а на губах её блуждала улыбка, какой Сомс, первый обладатель этих губ, никогда на них не видел. Он против воли признал, что эта женщина ещё красива и что стан её почти так же молод, как был. А как улыбнулся ей в ответ мальчишка! У Сомса сжалось сердце. Его чувство справедливости было оскорблено. Да, улыбка её сына вызывала в нём зависть — это превосходило всё, что давала ему Флёр, и это было незаслуженно! Их сын мог бы быть его сыном. Флёр могла бы быть её дочерью, если бы эта женщина не преступила черту! Он опустил каталог. Если она его увидит — что же, тем лучше. Воспоминание о своём проступке в присутствии сына, который, может быть, ничего не знает о её прошлом, будет благим перстом Немезиды, который рано или поздно должен коснуться её! Потом, смутно сознавая, что подобная мысль экстравагантна для Форсайта в его возрасте. Сомс вынул часы. Начало пятого! Флёр запаздывает! Она пошла к его племяннице Имоджин Кардиган, и там её, конечно, угощают папиросами, сплетнями, всякой ерундой. Сомс услышал, как юноша рассмеялся и сказал с горячностью:

— Мамочка, это, верно, кто-нибудь из «несчастненьких» тёти Джун?

— Это, кажется, Пол Пост, мой родной.

Сомс вздрогнул от этих двух последних слов: он никогда не слышал их от Ирэн. И вдруг она его увидела. Должно быть, в глазах его отразилась саркастическая улыбка Джорджа Форсайта, так как её затянутая в перчатку рука крепко сжала складки платья, брови поднялись, лицо окаменело. Она прошла мимо.

— Уродство! — сказал мальчик и снова взял её под руку...

Сомс глядел им вслед. Мальчик был хорош собой: у него был форсайтский подбородок, глубоко посаженные тёмно-серые глаза, но что-то солнечное искрилось в его лице, как старый херес в хрустальном бокале, — улыбка ли его? Или волосы? Он лучше, чем они того заслужили — Ирэн с Джолионом. Мать и сын скрылись из виду в соседней комнате, а Сомс продолжал рассматривать «Город будущего», но не видел его. Улыбка скривила его губы, он презирал себя за то, что после стольких лет все ещё чувствовал так остро. Призраки! Но когда человек стареет, что остаётся ему, кроме призраков? Правда, у него есть Флёр! И глаза его остановились на входных дверях. Ей пора прийти; но она обязательно должна заставить его ждать! И вдруг перед ним явилась... не женщина — ветер: маленькая лёгкая фигурка, одетая в сине-зелёный балахон, перехваченный металлическим поясом; из-под ленты на лбу выбивались непокорные красного золота волосы, подёрнутые сединой. Она остановилась, заговорив со служителями галереи, и что-то очень знакомое дразнило память Сомса: глаза, подбородок, волосы, повадка — что-то в ней напоминало крошечного скай-терьера, ожидающего обеда. Ну конечно! Джун Форсайт! Его двоюродная племянница Джун, и она направляется прямо в его укромный уголок!

Джун в глубокой задумчивости села рядом с ним, достала записную книжку и сделала карандашом пометку. Сомс боялся шелохнуться. Проклятая вещь — родство! «Безвкусица», — услышал он её шёпот; потом, словно в досаде на присутствие постороннего, который может её подслушать, она взглянула на него. Случилось самое худшее!

— Сомс!

Сомс повернул голову на самую малую толику.

— Как поживаете? — спросил он. — Мы с вами не виделись двадцать лет.

— Да. Что вас сюда привело? иначе, как мои грехи, — ответил Сомс, Ну и мазня!

— Мазня? О, конечно! Ведь это ещё не получило признания.

— И никогда не получит, — ответил Сомс. — Это должно приносить убийственные убытки.

— Несомненно. И приносит.

— А вы откуда знаете?

— Эта галерея моя.

Сомс в неподдельном изумлении повёл носом.

— Ваша? Чего ради вы устраиваете подобные выставки?

— Я не смотрю на искусство как на бакалейную торговлю.

Сомс указал на «Город будущего».

— Взгляните на это! Кто станет жить в таком городе? Или кто повесит такую картину у себя в доме?

Джун загляделась на полотно.

— Это видение, — проговорила она.

— Ерунда!

Наступило молчание. Джун встала. «Чудачка!» — подумал Сомс.

— Кстати, — сказал он вслух, — вы тут встретитесь с младшим сыном вашего отца и с женщиной, которую я знавал когда-то. Если хотите, мой вам совет: закройте вы эту выставку.

Джун оглянулась на него.

— Эх вы, Форсайт! — воскликнула она и пошла дальше.

В её лёгкой, воздушной фигурке, так внезапно пронёсшейся мимо, таилась опасная решимость. Форсайт! Конечно, он Форсайт! Как и она сама! Но с той поры, когда почти что девочкой она ввела в его дом Филипа Босини и сломала его жизнь, его отношения с Джун не ладилась и едва ли могли наладиться в дальнейшем. Так вот она теперь какая — по сей день не замужем, владелица галереи!.. Сомсу вдруг пришло на ум, как мало он нынче знает о своих родственниках. Старые тётки, жившие у Тимоти, умерли много лет назад; не стало больше биржи сплетен. Что все они делали во время войны? Сын молодого Роджера был ранен, второй сын Сент-Джона Хэймена убит, старший сын молодого Николаев получил орден Британской империи или чем там их награждают? Все так или иначе приняли участие в войне. Этот мальчишка, сын Джолиона и Ирэн, — он был, пожалуй, слишком молод; его собственное поколение уже, конечно, вышло из возраста, хотя Джайлс Хэймен и работал шофёром в Красном Кресте, а Джесс Хэймен служил в добровольной полиции — эти «два Дромио» всегда любили спорт. А сам он — что ж? Он пожертвовал деньги на санитарный автомобиль, до одури читал газеты, перенёс много волнений, не покупал костюмов, потерял семь фунтов веса; вряд ли он мог в своём возрасте сделать больше. Но как подумаешь, так поражает, право, насколько иначе и он и вся его семья отнеслись к этой войне, чем хотя бы к той истории с бурами, в которую империя тоже как будто вложила все свои силы. Правда, в той, старой, войне его племянник Вэл Дарти получил ранение, сын Джолиона умер от дизентерии; «два Дромио» пошли в кавалерию, а Джун в сёстры милосердия; но все это делалось тогда в порядке чего-то чрезвычайного, знаменательного, тогда как в эту войну каждый «вносил свою лепту» как нечто само собой разумеющееся так по крайней мере казалось Сомсу. В этом проявлялся рост чего-то нового или, может быть, вырождение старого? Форсайты сделались меньшими индивидуалистами? Или большими патриотами? Или меньшими провинциалами? Или просто тут сказалась ненависть к немцам? Почему нет Флёр? Из-за неё он не может отсюда уйти! Сомс увидел, как те трое вернулись все вместе из второго зала и пошли вдоль стенда с той стороны. Мальчик остановился перед Юноной. И вдруг по другую сторону её Сомс увидел... свою дочь. Её брови были высоко подняты — вполне естественно. От Сомса не ускользнуло, что Флёр поглядывает искоса на мальчика, а мальчик на неё. Затем Ирэн мягко взяла его под руку и увела прочь. Сомс видел, что он оглянулся, а Флёр посмотрела им вслед, когда они все трое выходили из зала.

Весёлый голос сказал:

— Немного пересолено, сэр, не правда ли?

Молодой человек, который подал ему тогда платок, опять очутился рядом. Сомс кивнул головой:

— Не знаю, куда мы идём.

— О, все в порядке, сэр! — весело подхватил молодой человек. — Они тоже не знают.

Голос Флёр сказал:

— Здравствуй, папа! Вот и ты!

Точно не она его заставила ждать, а он её!

Молодой человек, приподняв шляпу, пошёл дальше.

Сомс осмотрел дочь с головы до ног.

— Ты у меня аккуратная молодая женщина!

Это его драгоценнейшее в жизни достояние было среднего роста и умеренных тонов. Тёмно-каштановые волосы были коротко острижены; широко расставленные карие глаза вправлены в такие яркие белки, что они блестели, когда двигались, но в покое казались почти что сонными под завесой очень белых век, отороченных чёрными ресницами. У неё был очаровательный профиль, и в её лице нельзя было отметить ничего отцовского, кроме решительного подбородка. Сознывая, что его взгляду свойственно смягчаться, когда он направлен на дочь. Сомс нахмурился, чтобы соблюсти приличествующую истому Форсайту невозмутимость. Он знал, что дочь слишком склонна выгодно пользоваться его отцовской слабостью.

Взяв его под руку. Флёр спросила:

— Кто это?

— Он поднял мне платок. Мы с ним разговорились о картинах.

— Надеюсь, папа, ты не купишь это?

— Нет, — угрюмо проговорил Сомс, — ни это, ни Юнону, на которую ты так засмотрелась.

Флёр потянула его за рукав.

— Ах, уйдём отсюда! Отвратительная выставка!

В дверях они опять встретились с Монтом и его товарищем. Но Сомс вывесил дощечку с надписью «Посторонним вход воспрещается» и едва ответил на поклон молодого человека.

— Так, — сказал он, выходя с дочерью на улицу, — кого ты видела у Имоджин?

— Тётю Уинифрид и мсье Профона.

— А, бельгиец! — проворчал Сомс. — Что в нём находит твоя тётка?

— Не знаю. Он очень себе на уме. И маме он тоже нравится.

Сомс что-то промычал.

— А ещё там были Вэл и его жена.

— Да? — сказал Сомс. — Я думал, они давно уехали обратно в Южную Африку.

— О нет! Они продали свою ферму. Кузен Вал собирается объезжать скаковых лошадей в Сэссексе. Они купили прелестное старинное имение; приглашали меня к себе.

Сомс кашлянул: новость была ему не по вкусу.

— Какова она теперь, его жена?

— Очень спокойная, но, кажется, милая.

Сомс опять кашлянул.

— Вертопрах он, твой кузен Вал.

— Ну что ты, папа! Они страшно любят друг друга. Я обещала приехать к ним в субботу и погостить до среды.

— Объезжать скаковых лошадей! — повторил Сомс.

Это само по себе было достаточно скверно, но причина его недовольства заключалась в другом: какого чёрта его племянник вернулся из Африки? Мало им было его собственного развода, так нет же, понадобилось ещё, чтобы его родной племянник женился на дочери его соперника — на единокровной сестре Джун и того мальчишки, на которого Флёр поглядывала только что из-под рычага водокачки. Если не принять мер. Флёр выведает все о его старых невзгодах! Столько неприятностей сразу! Налетели на него сегодня, точно пчелиный рой!

— Я не одобряю этой поездки, — сказал он.

— Мне хочется посмотреть скаковых лошадей, — ответила Флёр, — и они обещали

поучить меня ездить верхом. Ты знаешь, Вэл не может много ходить; но он превосходный наездник. Он мне покажет своих лошадей на галопе.

— Уж эти мне скачки! — сказал Сомс. — Жаль, что война не пристукнула их окончательно. Вэл, я боюсь, пошёл в своего отца.

— Я ничего не знаю о его отце.

— Н-да, — промычал Сомс. — Он увлекался лошадьми и умудрился сломать себе шею в Париже на какой-то глупой лестнице. Для твоей тётки это было счастливым избавлением.

Сомс насупился, вспоминая следствие по поводу этой самой лестницы, на которое он ездил в Париж шесть лет назад, потому что Монтегью Дарти уже не мог сам на нём присутствовать, — обыкновенная лестница в доме, где играют в баккара. Выигрыши ли ударили его зятю в голову? Или тот способ, которым он их отпраздновал? Французские следователи очень невнимательно отнеслись к делу; на долю Сомса выпало немало хлопот.

Голос Флёр вывел его из задумчивости:

— Смотри! Те самые люди, которых мы видели в галерее.

— Какие люди? — пробурчал Сомс, хотя отлично понял, о ком она говорит.

— Красивая женщина, правда?

— Зайдём сюда, тут вкусные пирожные, — отрезал Сомс и, крепче прижав к груди её локоть, завернул в кондитерскую. С его стороны это было очень необычно, и он сказал смущённо: — Что для тебя заказать?

— Ох, я ничего не хочу. Меня угостили коктейлем, а завтрак был семиэтажный.

— Надо заказать что-нибудь, раз мы зашли, — пробормотал Сомс, не выпуская её руки.

— Два стакана чая, — сказал он, — и две порции нуги, но не успел он сесть, как сердце снова забило тревогу, побуждая его обратиться в бегство. Те трое... те трое тоже вошли в кондитерскую. Сомс услышал, как Ирэн что-то сказала сыну, а тот ответил:

— Ах, нет, мамочка, прекрасная кондитерская. Самая моя любимая.

И они втроём заняли столик.

В это мгновение, самое неловкое за всю его жизнь, осаждаемый призраками и тенями прошлого в присутствии двух женщин, которых только и любил он в жизни: своей разведённой жены и своей дочери от её преемницы, Сомс боялся не столько их, сколько своей двоюродной племянницы Джун. Она может устроить сцену, может познакомить этих двух детей — она способна на все. Он слишком поспешно стал кусать нугу, и она завязла на его вставных зубах. Прибегнув к помощи пальцев, он взглянул на Флёр. Девушка сонно жевала нугу, но глаза её были устремлены на юношу. Форсайт в Сомсе говорил: «Только начни чувствовать, думать — и ты погиб!» И он стал отчаянно отковыривать нугу. Вставные зубы! Интересно, у Джолиона тоже вставные зубы? А у этой женщины? Было время, когда он её видел всю, как есть, без всяких прикрас, даже без платья. Этого у него никто не отнимет. И она тоже это помнит, хоть и сидит здесь

спокойная, уверенная, точно никогда не была его женой. Едкая ирония шевелилась в его форсайтской крови — острая боль, граничившая с наслаждением. Только бы Джун не двинула на него весь вражий стан! Мальчик заговорил:

— Конечно, тётя Джун («Так он зовёт сестру тётей? Впрочем, ей ведь под пятьдесят!»), ты очень добра, что поддерживаешь их и поощряешь. Но, по-моему, ну их совсем!

Сомс украдкой поглядел на них: встревоженный взгляд Ирэн неотступно следил за мальчиком. Она... она была способна на нежность к Босини, к отцу этого мальчика, к этому мальчику! Он тронул Флёр за руку и сказал:

— Ну, ты кончила?

— Ещё порцию, папа, пожалуйста.

Её стошнит! Сомс подошёл к кассе заплатить. Когда он снова обернулся. Флёр стояла у дверей, держа в руке платок, который мальчик, по-видимому, только что подал ей.

— Ф. Ф., — услышал он её голос. — Флёр Форсайт, правильно, мой. Благодарю вас.

Боже правый! Как она переняла трюк, о котором он сам только что рассказал ей в галерее, — мартышка!

- Форсайт? Неужели? Моя фамилия тоже Форсайт. Мы, может быть, родственники?
— Да, вероятно. Других Форсайтов нет. Я живу в Мейплдерхеме, а вы?
— В Робин-Хилле.

Вопросы и ответы чередовались так быстро, что Сомс не успел пошевелить пальцем, как всё было кончено. Он увидел, что лицо Ирэн загорелось испугом, едва заметно покачал головой и взял Флёр под руку.

— Идём, — сказал он.

Она не двигалась.

— Ты слышал, папа? Как странно: у нас одна и та же фамилия. Мы родственники?

— Что такое? — сказал он. — Форсайт? Верно дальние.

— Меня зовут Джолион, сэ. Сокращённо — Джон.

— А! О! — сказал Сомс. — Да. Дальние родственники. Как поживаете? Вы очень любезны. Прощайте!

Он пошёл.

— Благодарю вас, — сказала Флёр. — Au revoir!

— Au revoir, — услышал Сомс ответ мальчика.

II. ХИТРАЯ ФЛЁР ФОРСАЙТ

По выходе из кондитерской первым побуждением Сомса было сорвать свою досаду, сказав дочери: «Что за манера ронять платки!» — на что она с полным правом могла бы ответить: «Эту манеру я переняла от тебя!» А потому вторым его побуждением было, как говорится, «не трогать спящую собаку». Но Флёр, несомненно, сама пристанет с вопросами. Он искоса поглядел на дочь и убедился, что она точно так же смотрит на него. Она сказала мягко:

— Почему ты не любишь этих родственников, папа? Сомс приподнял уголки губ.

— С чего ты это взяла?

— Cela se voit¹³.

«Это себя видит» — ну и выражение!

Прожив двадцать лет с женой-француженкой. Сомс все ещё недолюбливал её язык: какой-то театральный. К тому же в сознании Сомса этот язык ассоциировался со всеми тонкостями супружеской иронии.

— Почему? — спросил он.

— Ты их, конечно, знаешь, а между тем и виду не подал. Я заметила, они глядели на тебя.

— Этого мальчика я видел сегодня в первый раз в жизни, — возразил Сомс, — и сказал чистую правду.

— Да, но остальных ты знал, дорогой мой.

Он опять искоса поглядел на дочь. Что она выведала? Не проболталась ли Уинифрид, или Имоджин, или Вэл Дарти и его жена? Дома при Флёр тщательно избегали всякого намёка на тот старый скандал, и Сомс много раз говорил Уинифрид, что в присутствии его дочери о нём и заикаться нельзя. Ей не полагалось знать, что в прошлом у её отца была другая жена. Но тёмные глаза Флёр, часто почти пугавшие Сомса своим южным блеском, смотрели на него совсем невинно.

— Видишь ли, — сказал он, — между твоим дедом и его братом произошла ссора. С тех пор обе семьи порвали всякое знакомство.

— Как романтично!

«Что она подразумевает под этим словом?» — подумал Сомс. Оно ему казалось экстравагантным и опасным, а прозвучало оно так, как если бы Флёр сказала: «Как мило!»

¹³ Сразу видно (фр.)

— И разрыв продолжается по сей день, мы не возобновляем знакомства, добавил он, но тотчас пожалел об этих словах, прозвучавших как вызов.

Флёр улыбнулась. По нынешнему времени, когда молодёжь кичится своей самостоятельностью и презрением к такому предрассудку, как приличия, этот вызов должен был раздражить её своенравие. Потом, вспомнив выражение лица Ирэн, он вздохнул свободнее.

— А какая ссора? Из-за чего? — услышал он вопрос дочери.

— Из-за дома. Для тебя это дело далёкого прошлого. Твой дедушка умер в тот самый день, когда ты родилась. Ему было девяносто лет.

— Девяносто? А много есть ещё Форсайтов, кроме тех, которые значатся в «Красной книге»¹⁴»

— Не знаю, — сказал Сомс. — Они теперь все разбрелись. Из старшего поколения все умерли, кроме Тимоти.

— Тимоти! — Флёр всплеснула руками. — Как забавно!

— Ничуть! — проворчал Сомс.

Его оскорбило, что Флёр нашла имя «Тимоти» забавным, как будто в этом скрывалось пренебрежение к его предкам. Новое поколение готово смеяться над всем прочным и стойким. «Загляни к старичку, пусть попророчествует». Ах! Если б Тимоти мог видеть беспокойную Англию своих внучатых племянников и племянниц, он, конечно, сказал бы о них крепкое словцо. И невольно Сомс поднял глаза на окна «Айсиум-Клуба»; да, Джордж-всё ещё сидит у окна с тем же розовым листком в руке.

— Папа, где это Робин-Хилл? Робин-Хилл! Робин-Хилл, вокруг которого разыгралась та старая трагедия! К чему ей знать?

— В Сэрри, — пробормотал он, — неподалёку от Ричмонда. А что?

— Не там ли этот дом?

— Какой дом?

— Из-за которого вышла ссора.

— Да. Но что тебе до этого? Мы завтра едем домой, ты бы лучше подумала о своих нарядах.

— Благодарю! Они все уже обдуманы. Ссора, кровная вражда! Как в библии или как у Марка Твена — вот занятно! А какую ты играл роль в вендетте, папа?

— Тебе до этого нет дела.

— Как! Но я ведь должна её поддерживать?

— Кто тебе это сказал?

— Ты сам, дорогой мой.

— Я? Я, наоборот, сказал, что к тебе это не имеет никакого касательства.

— И я так думаю. Значит, все в порядке.

Она была слишком хитра для него: fine, как выражалась иногда о дочери Аннет. Остаётся только как-нибудь отвлечь её внимание.

— Тут выставлено хорошее кружево, — сказал он, останавливаясь перед витриной. — Тебе должно понравиться.

Когда Сомс уплатил и они снова вышли на улицу. Флёр сказала:

— По-моему, мать того мальчика для своего возраста очень красивая женщина. Я красивей не видела. Ты не согласен?

Сомс задрожал. Что за напасть! Далась ей эти люди!

— Я не обратил на неё внимания.

— Дорогой мой, я видела, как ты поглядывал на неё.

— Ты видишь все и ещё много сверх того, что есть на самом деле!

¹⁴ «Красная книга» — справочник, содержащий основные сведения о наиболее известных представителях семей, относящихся к высшим слоям общества.

— А что представляет собой её муж? Ведь он тебе двоюродный брат, раз ваши отцы были братья.

— Не знаю, скорей всего умер, — с неожиданной силой сказал Сомс. — Я не видел его двадцать лет.

— Кем он был?

— Художником.

— Вот как? Чудесно!

Слова; «Если хочешь меня порадовать, брось думать об этих людях» просились Сомсу на язык, но он проглотил их — ведь он не должен был выказывать перед дочерью свои чувства.

— Он меня однажды оскорбил, — сказал он.

Её быстрые глаза остановились на его лице.

— Понимаю! Ты не отомстил, и тебя это гложет. Бедный папа! Ну, я им задам!

Сомс чувствовал себя так, точно лежал в темноте и «ад лицом его кружился комар. Такое упорство со стороны Флёр было ему внове, и, так как они уже дошли до своего отеля, он проговорил угрюмо:

— Я сделал всё, что мог. А теперь довольно об этих людях. Я пройду к себе до обеда.

— А я посижу здесь.

Бросив прощальный взгляд на дочь, растянувшуюся в кресле, — полу досадливый, полувлюбленный взгляд, — Сомс вошёл в лифт и был вознесён к своим апартаментам в четвёртом этаже. Он стоял в гостиной у окна, глядевшего на Хайд-парк, и барабанил пальцами по стеклу. Он был смущён, испуган, обижен. Зудела старая рана, зарубцевавшаяся под действием времени и новых интересов, и к этому зуду примешивалась лёгкая боль в пищеводе, где бунтовала нуга. Вернулась ли Аннет? Впрочем, он не искал у неё помощи в подобных затруднениях. Когда она приступала к нему с расспросами о его первом браке, он всегда её обрывал; она ничего не знала о его прошлом, кроме одного — что первая жена была большою страстью его жизни, тогда как второй брак был для него только сделкой. Она поэтому затаила обиду и при случае пользовалась ею очень расчётливо. Сомс прислушался. Шорох, смутный звук, выдающий присутствие женщины, доносился через дверь. Аннет дома. Он постучал.

— Кто там?

— Я, — отозвался Сомс.

Она переодевалась и была не совсем ещё одета. Эта женщина имела право любоваться на себя в зеркале. Были великолепны её руки, плечи, волосы, потемневшие с того времени, когда Сомс впервые познакомился с нею, и поворот шеи, и шёлковое бельё, и серо-голубые глаза под тёмными ресницами — право, в сорок лет она была так же красива, как в дни первой молодости. Прекрасное приобретение: превосходная хозяйка, разумная и достаточно нежная мать. Если б только она не обнажала так цинично сложившиеся между ними отношения! Питая к ней не больше нежности, чем она к нему. Сомс, как истый англичанин, возмущался, что жена не набрасывает на их союз хотя бы тончайшего покрова чувств. Как и большинство его соотечественников, он придерживался взгляда, что брак должен основываться на взаимной любви, а когда любовь иссякнет или когда станет очевидным, что её никогда не было — так что брак уже явно зиждется не на любви, — тогда нужно гнать это сознание. Брак есть, а любви нет, но брак означает любовь, и надо как-то тянуться. Тогда все удовлетворены, и вы не погрязаете в цинизме, реализме и безнравственности, как французы. Мало того, это необходимо в интересах собственности. Сомс знал, что Аннет знает, что оба они знают, что любви между ними нет. И всё-таки он требовал, чтобы она не признавала этого на словах, не подчёркивала бы своим поведением, и он никогда не мог понять, что она имеет в виду, обвиняя англичан в лицемерии. Он спросил:

— Кто приглашён к нам в Шелтер на эту неделю?

Аннет слегка провела по губам помадой — Сомс всегда предпочитал, чтобы она не красила губ.

— Твоя сестра Унифрид, Кардиганы, — она взяла тонкий чёрный карандаш, — и Проспер Профон.

— Бельгиец? Зачем он тебе?

Аннет лениво повернула шею, подчеркнула ресницы на одном глазу и сказала:

— Он будет развлекать Унифрид.

— Хотелось бы мне, чтобы кто-нибудь развлёк Флёр; она стала капризной.

— Капризной? — повторила Аннет. — Ты это в первый раз заметил, друг мой? Флёр, как ты это называешь, капризна с самого рождения.

Неужели она никогда не избавится от своего картавого «р»? Он потрогал платье, которое она только что, сняла, и спросил:

— Что ты делала это время?

Аннет посмотрела на его отражение в зеркале. Её подкрашенные губы улыбались полурадостно, полунасмешливо.

— Жила в своё удовольствие, — сказала она.

— Угу! — угрюмо произнёс Сомс. — Бантики?

Этим словом Сомс обозначал непостижимую для мужчины женскую беготню по магазинам.

— У Флёр достаточно летних платьев?

— О моих ты не спрашиваешь.

— Тебе безразлично, спрашиваю я или нет.

— Совершенно верно. Так если тебе угодно знать, у Флёр всё готово, и у меня тоже, и стоило это невероятно дорого!

— Гм! — сказал Сомс. — Что делает этот Профон в Англии?

Аннет подняла только что наведённые брови.

— Катается на яхте.

— Ах так! Он какой-то сонный.

— Да, иногда, — ответила Аннет, и на её лице застыло спокойное удовлетворение. —

Но иногда с ним очень весело.

— В нём чувствуется примесь чёрной крови.

Аннет томно потянулась.

— Чёрной? — переспросила она. — Почему? Его мать была armenienne .

— Может, поэтому, — проворчал Сомс, — Он понимает что-нибудь в живописи?

— Он понимает во всём — светский человек.

— Ну, хорошо. Пригласи кого-нибудь для Флёр. Надо её развлечь. В субботу она едет к Валу Дарту и его жене; мне это не нравится.

— Почему?

Так как действительную причину нельзя было объяснить, не вдаваясь в семейную хронику. Сомс ответил просто:

— Пустая трата времени. Она и так отбилась от рук.

— Мне нравится маленькая миссис Вал: она спокойная и умная.

— Я о ней ничего не знаю, кроме того, что она... Ага, это что-то новое!

Сомс поднял с кровати сложнейшее произведение портновского искусства.

Аннет взяла платье из его рук.

— Застегни мне, пожалуйста, на спине.

Сомс стал застёгивать. Заглянув через её плечо в зеркало, он уловил выражение её лица — чуть насмешливое, чуть презрительное, говорившее как будто: «Благодарю вас! Вы этому никогда не научитесь!» Да, не научится он, слава богу, не француз! Кое-как справившись с трудной задачей, он буркнул, пожав плечами: «Слишком большое декольте!» — и пошёл к двери, желая поскорее избавиться от жены и спуститься к Флёр.

Пуховка застыла в руке Аннет, и неожиданно резко сорвались слова:

— *Que tu es grossier!*¹⁵

Это выражение Сомс помнил — и недаром. Услышав его в первый раз от жены, он подумал, что слова эти значат: «Ты — бакалейщик!»¹⁶ — и не знал, радоваться ему или печалиться, когда выведal их подлинное значение. Сейчас они его обидели — он не считал себя грубым. Если он груб, то как же назвать человека в соседнем номере, который сегодня утром производил отвратительные звуки, прополаскивая горло; или тех людей в салоне, которые считают признаком благовоспитанности говорить не иначе, как во всё горло, чтобы слышал весь дом, — пустоголовые крикуны! Груб? Только потому, что сказал ей насчёт декольте? Но оно в самом деле велико! Не возразив ни слова, он вышел из комнаты.

Войдя в салон, он сразу увидел Флёр на том же месте, где оставил её. Она сидела, закинув ногу на ногу, и тихо покачивала серой туфелькой верный признак, что девушка замечталась. Это доказывали также её глаза они у неё иногда вот так уплывают вдаль. А потом — мгновенно — она очнётся и станет быстрой и непоседливой, как мартышка. И как много она знает, как она самоуверенна, а ведь ей нет ещё девятнадцати лет. Как говорится — девчонка. Девчонка? Неприятное слово! Оно означает этих отчаянных вертихвосток, которые только и знают, что пищать, щебетать да выставлять напоказ свои ноги! Худшие из них — злой кошмар, лучшие — напудренные ангелочки! Нет, Флёр не вертихвостка, не какая-нибудь разбитная, невоспитанная девчонка. Но всё же она отчаянно своенравна, жизнерадостна и, кажется, твёрдо решила наслаждаться жизнью. Наслаждаться! Это слово не вызывало у Сомса пуританского ужаса; оно вызывало ужас, отвечавший его темпераменту. Сомс всегда боялся наслаждаться сегодняшним днём из страха, что меньше останется наслаждений на завтра. И его пугало сознание, что дочь его лишена этой бережливости. Это явствовало даже из того, как она сидит в кресле — сидит, отдавшись мечтам, — сам он никогда не отдавался мечтам: из этого ничего не извлечёшь, — и откуда это у Флёр? Во всяком случае, не от Аннет. А ведь в молодости, когда он за ней ухаживал, Аннет была похожа на цветок. Теперь-то не похожа.

Флёр встала с кресла — быстро, порывисто — и бросилась к письменному столу. Схватив перо и бумагу, она начала писать с таким рвением, словно не имела времени перевести дыхание, пока не допишет письмо. И вдруг она увидела отца. Выражение отчаянной сосредоточенности исчезло, она улыбнулась, послала воздушный поцелуй и построила милую гримаску лёгкого смущения и лёгкой скуки.

Ах! И хитрая она — действительно *fine!*

III. В РОБИН-ХИЛЛЕ

Девятнадцатую годовщину рождения сына Джолион Форсайт провёл в Робин-Хилле, спокойно предаваясь своим занятиям. Он теперь все делал спокойно, так как сердце его было в печальном состоянии, а он, как и все Форсайты, не дружил с мыслью о смерти. Он и сам не понимал, до какой степени мысль о ней была ему противна, пока в один прекрасный день, два года назад, не обратился к своему врачу по поводу некоторых тревожных симптомов, и тот ему объявил:

«В любую минуту, от любого напряжения».

Он принял это с улыбкой — естественная реакция Форсайта на неприятную истину. Но с усилением симптомов в поезде на обратном пути он постиг во всей полноте смысл висевшего над ним приговора. Оставить Ирэн, своего мальчика, свой дом, свою работу, как ни мало он теперь работает! Оставить их для неведомого мрака, для состояния невообразимого, для такого небытия, что он даже не будет ощущать ни ветра, колышущего

¹⁵ Как ты груб! (фр.)

¹⁶ По созвучию с английским «grosser».

листву над его могилой, ни запахов земли и травы. Такого небытия, что он никогда, сколько бы ни старался, не мог его постичь — все оставалась надежда на новое свидание с теми, кого он любил! Представить себе это — значило пережить сильнейшее душевное волнение. В тот день, ещё не добравшись до дому, он решил ничего не сообщать Ирэн. Придётся ему стать осторожнейшим в мире человеком, ибо любая мелочь может выдать его и сделать её почти столь же несчастной, как и он сам. По остальным статьям врач нашёл его здоровым; семьдесят лет — это ведь не старость: он долго ещё проживёт, если сумеет!

Подобное решение, выполняемое в течение почти двух лет, способствует полному развитию всех тончайших свойств характера. Мягкий по природе, способный на резкость только когда разнервничается, Джолион превратился в воплощённое самообладание. Грустное терпение стариков, вынужденных шадить свои силы, прикрывалось улыбкой, которую он сохранял даже наедине с собою. Он постоянно изобретал всяческие покровы для этой вынужденной бережности к самому себе.

Сам над собою смеясь, он играл в опрощение: отказался от вина и сигар, пил особый кофе, не содержащий ни признака кофе. Словом, под маской мягкой иронии обезопасил себя настолько, насколько это возможно для Форсайта в его положении. Уверенный, что его не накроют, так как жена и сын уехали в город, он провёл тот чудесный майский день, спокойно разбирая свои бумаги, чтобы можно было хоть завтра умереть, никому не причинив хлопот, — подвёл последний баланс своим материальным делам. Разметив бумаги и заперев их в старый китайский ларец своего отца, Джолион заклеил ключ в конверт, на конверте написал: «Ключ от китайского ларца, где найдёте отчёт о всех моих материальных делах. Дж. Ф.», — и положил его в карман на груди, чтобы он, на всякий случай, был всегда при нём. Потом, позвонив, чтобы подали чай, пошёл и сел за стол под старым дубом.

Смертный приговор висит над каждым; Джолион, для которого только срок был несколько более точным и близким, так сжился с мыслью о приговоре, что обычно он, как и другие, думал о других вещах. Сейчас он думал о сыне.

Джону в этот день исполнилось девятнадцать лет, и Джон недавно пришёл к решению. Пройдя курс не в Итоне, как его отец, и не в Хэрроу, как его покойный брат, но в одном из тех заведений, которые ставят себе целью устранить недостатки и сохранить преимущества системы старых закрытых школ, а на деле в большей или меньшей мере сохраняют её недостатки и устраняют преимущества, Джон в — апреле месяце кончил школу, абсолютно не ведая, кем он хочет быть. Война, обещавшая длиться вечно, кончилась как раз к тому времени, когда он собрался (за шесть месяцев до срока) вступить в армию. До сих пор война мешала ему освоиться с мыслью, что он может свободно выбирать себе дорогу. Несколько раз он заводил с отцом разговор, в котором выказывал весёлую готовность ко всему, кроме, конечно, церкви, армии, юриспруденции, сцены, биржи, медицины, торговли и техники. Джолион сделал отсюда вполне логичный вывод, что Джон не питает склонности ни к чему. В этом возрасте он и сам переживал в точности то же. Но для него эта приятная неопределённость вскоре окончилась из-за ранней женитьбы и её несчастных последствий. Он был вынужден сделаться агентом страхового общества, но снова стал богатым человеком, прежде чем его талант художника достиг расцвета. Однако, обучив своего мальчика рисовать свинок, собак и прочих животных, Джолион понял, что Джон никогда не будет живописцем, и склонился к выводу, что за его отвращением ко всему скрывается намерение стать писателем. Однако, придерживаясь взгляда, что и для этой профессии необходим опыт, Джолион пока ничего не мог придумать для сына, кроме университета, путешествий да, пожалуй, подготовки к карьере адвоката. А там... там видно будет, а вернее, ничего не будет видно. Однако и перед этими предложенными ему соблазнами Джон оставался в нерешительности.

Совещания с сыном укрепили сомнения Джолиона в том, действительно ли мир изменился. Люди говорят, будто наступило новое время. С прозорливостью человека, которому недолго осталось жить, Джолион видел, что эпоха только внешне слегка изменилась, по существу же осталась в точности такой, как была. Род человеческий

по-прежнему делится на два вида: склонное к «созерцанию» меньшинство и чуждая ему масса, да посредине некая прослойка из гибридов, таких, как он сам. Джон, по-видимому, принадлежал к породе созерцателей, и отец считал это печальным фактом.

А потому с чем-то более глубоким, чем его обычная ирония, выслушал он две недели назад слова своего мальчика:

— Я хотел бы заняться сельским хозяйством, папа, если это только не обойдётся тебе слишком дорого. Это, кажется, единственный образ жизни, при котором можно никого не обижать; ещё, пожалуй, искусство, но эта возможность для меня, конечно, исключена.

Джолион воздержался от улыбки и ответил:

— Отлично. Ты вернёшься к тому, с чего мы начали при Джолионе Первом в тысяча семьсот шестидесятом году. Это послужит подтверждением теории циклов, и ты, несомненно, имеешь шансы выращивать лучшую репу, чем твой прапрадед.

Слегка смущённый, Джон спросил:

— Но разве тебе не нравится мой план, папа?

— Можно попробовать, дорогой. Если ты в самом деле пристрастишься к этому делу, ты принесёшь больше пользы в жизни, чем приносит большинство людей, хоть это ещё не значит, что много.

Однако про себя он подумал: «Джон никогда не пристрастится к сельскому хозяйству. Дам ему четыре года сроку. Занятие здоровое и безобидное».

Обдумав вопрос и посоветовавшись с Ирэн, он написал своей дочери, миссис Вэл Дарти, спрашивая, не знает ли она по соседству, на Меловых холмах, какого-нибудь фермера, который взял бы к себе Джона в обучение. Холли ответила восторженным письмом. Есть очень подходящий человек, и совсем близко; они с Вэлом будут счастливы взять Джона к себе.

Мальчик должен был уехать на следующий день.

Попивая слабый чай с лимоном, Джолион глядел сквозь ветви старого дуба на вид, который он в течение тридцати двух лёт находил неизменно прекрасным. Дерево не постарело, казалось, ни на день. Так молоды были маленькие буро-золотые листики, так стара белесая прозелень его толстого корявого ствола. Дерево воспоминаний, которое будет жить ещё сотни лет, если не срубит его варварская рука, которое увидит конец старой Англии при теперешних-то темпах. Джолион вспомнил вечер три года назад, когда, обняв Ирэн, он стоял у окна и следил за немецким аэропланом, кружившим, казалось, прямо над старым дубом. На другой день посреди поля при ферме Гэйджа они нашли вырытую бомбой воронку. Это случилось до того, как Джолион узнал свой смертный приговор. Теперь он почти жалел, что бомба тогда его не прикончила. Это избавило бы его от множества тревог, от долгих часов холодного страха, сосущего под ложечкой. Он раньше рассчитывал прожить нормальный форсайтский век — восемьдесят пять или больше. Ирэн к тому времени было бы семьдесят. А теперь ей будет тяжело его лишиться. Впрочем, у неё останется Джон, занимающий в её жизни больше места, чем он сам; Джон, который боготворит свою мать.

Под этим деревом, где старый Джолион, ожидая, когда покажется на лужайке идущая к нему Ирэн, испустил последнее дыхание, Джолион младший с усмешкой подумывал, не лучше ли теперь, когда у него все приведено в такой безупречный порядок, закрыть глаза и отойти. Недостойным казалось цепляться паразитом за бездеятельный остаток жизни, в которой он жалел только о двух вещах: о том, что в молодые годы долго был в разлуке с отцом, и о том, что поздно наступил его союз с Ирэн.

С того места, где он сидел, ему была видна купа яблонь в цвету. Ничто в природе так не волновало его, как плодовые деревья в цвету; и сердце его вдруг болезненно сжалось при мысли, что, может быть, он больше никогда не увидит их цветения. Весна! Нет, решительно не должен человек умирать, когда его сердце ещё достаточно молодо, чтобы любить красоту! Дрозды безудержно заливались в кустах, летали высоко ласточки, листья над головой сверкали; и поля всеми воображимыми оттенками ранних всходов, залитых косым светом, уходили вдаль, туда, где синей дымкой курился на горизонте далёкий лес. Цветы Ирэн на

рядках приобрели в этот вечер почти пугающую индивидуальность: каждый цветок по-своему утверждал радость жизни. Только китайские и японские художники да, пожалуй, Леонардо умели передавать это удивительное маленькое его в каждом написанном ими цветке, и птице, и зверьке — индивидуальность и вместе с ней ощущение рода, ощущение единства жизни. Вот были мастера!

«Я не сотворил ничего, что будет жить! — думал Джолион. — Я был дилетантом, я только любил, но не создавал. Всё же, когда я уйду, останется Джон. Какое счастье, что Джона не захватила война. Он легко мог бы погибнуть, как бедный Джолли в Трансваале, двадцать лет назад. Джон когда-нибудь что-нибудь будет делать, если век не испортит его: мальчик одарён воображением! Его новая прихоть заняться сельским хозяйством идёт от чувства и вряд ли окажется долговечной». И в эту самую минуту он увидел их в поле: Ирэн с сыном рука об руку шли со станции. Джолион медленно встал и через новый розарий направился им навстречу...

В тот вечер Ирэн зашла к нему в комнату и села у окна. Она сидела молча, пока он первый не заговорил:

- Что с тобою, любовь моя?
- Сегодня у нас была встреча.
- С кем?
- С Сомсом.

Сомс! Последние два года Джолион гнал это имя из своих мыслей, сознавая, что оно ему вредно. И теперь его сердце сделало опасный манёвр: оно как будто скатилось набок в груди.

Ирэн спокойно продолжала:

- Он был с дочерью в галерее, а потом в той же кондитерской, где мы пили чай.
- Джолион подошёл и положил руку ей на плечо.
- Каков он с виду?
 - Поседел, но в остальном такой же.
 - А дочка?
 - Хорошенькая. Так, во всяком случае, думает Джон.

Опять сердце Джолиона покатилося набок. Лицо у его жены было напряжённое и озабоченное.

- Ты с ним не... — начал Джолион.
 - Нет. Но Джон узнал её имя. Девочка уронила платок, а он поднял и подал ей.
- Джолион присел на кровать. Вот незадача!
- С вами была Джун. Она, не вмешалась?
 - Нет; но всё вышло очень странно, натянуто. Джон это заметил.
- Джолион перевёл дыхание и сказал:

— Я часто раздумывал, правы ли мы, что скрываем от него. Когда-нибудь всё равно узнает.

— Чем позже, тем лучше, Джолион. В молодости суждения так дешёвы и жёстки. В девятнадцать лет что думал бы ты о своей матери, если б она поступила, как я?

Да? В этом вся трудность! Джон боготворит свою мать; и ничего не знает о трагедиях жизни, о её непреложных требованиях, не знает ничего о горькой тюрьме несчастного брака, о ревности или о страсти — вообще ничего ещё не знает!

— Что ты ему сказала? — спросил он наконец.

— Что они наши родственники, но что мы с ними незнакомы; что ты чуждался своих родных или, скорей, они тебя; я боюсь, он приступит с расспросами к тебе.

Джолион улыбнулся.

— Кажется, это займёт место воздушных налётов, — сказал он. — Без них в конце концов скучновато.

Ирэн подняла на него глаза.

— Мы знали, что это придёт.

Он ответил с неожиданной силой:

— Я не допущу, чтобы Джин тебя порицал. Он этого не должен делать даже в мыслях. Он одарён воображением; и он поймёт, если изложить ему все должным образом. Я думаю, лучше мне рассказать ему все, прежде чем он узнает другим путём.

— Подождём, Джолион.

Это похоже на неё — ей чуждо предвидение, она никогда не поспешит навстречу опасности. Однако — кто знает! — может быть, она права. Нехорошо идти наперекор материнскому инстинкту. Может быть, правильней оставить мальчика в неведении, пока некоторый жизненный опыт не даст ему в руки пробный камень, который позволит ему произвести оценку той старой трагедии; пока любовь, ревность, желание не сделают его милосердней. Как бы там ни было, надо принять меры предосторожности — все возможные меры. И долго после того, как Ирэн ушла от него, он лежал без сна, обдумывая эти меры. Надо написать Холли, рассказать ей, что Джону пока ничего не известно о семейной истории. Холли тактична, ни она, ни её муж ничего не выдадут — она позаботится о том. Джон завтра поедет и возьмёт с собою письмо.

И так, с боем часов на конюшне, угас день, когда Джолион привёл в порядок свои материальные дела, и новый день начался для него в сумраке душевной неурядицы, которую нельзя было так просто разобрать и подытожить.

А Джон в своей комнате, некогда служившей ему детской, тоже лежал без сна во власти чувства, возможность которого оспаривается теми, кто его никогда не знал: любви с первого взгляда. Он ощутил, как оно зародилось в нём от блеска тех тёмных глаз, что посмотрели на него через плечо Юоны, зародилось вместе с убеждением, что эта девушка — его мечта; и то, что произошло потом, показалось ему одновременно и естественным и чудесным. Флёр! Одного её имени было почти достаточно для того, кто так безмерно был подвержен обаянию слов. В наш гомеопатический век, когда юноши и девушки получают совместное образование и с раннего возраста находятся в таком постоянном общении, что это почти убивает сознание пола, Джон был до странности старомоден. В новую школу, где он учился, принимали только мальчиков, а каникулы он проводил в Робин-Хилле с товарищами или наедине с родителями. Таким образом, ему никогда не прививалась, в предохранение от любовной заразы, небольшая доза яда. И теперь в ночной темноте лихорадка быстро разгоралась. Он лежал без сна, мысленно восстанавливая черты Флёр, припоминая её слова и в особенности это последнее «*Au revoir!*» — и нежное, и весёлое.

На рассвете он был ещё так далёк от сна, что вскочил с постели, надел теннисные туфли,

штаны, свитер и, тихо спустившись по лестнице, вылез через окно кабинета. Было уже светло; пахло влажной травой. «Флёр! — думал он. — Флёр!» Свет в саду был таинственно-бледный, и все спало, только птицы начинали чирикать. «Пойду в рощу», — подумал Джон. Он побежал по полям, достиг пруда как раз к восходу солнца и вошёл в рощу. Ковром устлала землю голубые колокольчики, лиственницы дышали тайной — казалось, самый воздух был проникнут ею. Джон жадно вдыхал его свежесть и при все более ярком свете смотрел на колокольчики. Флёр! Какие рифмы напрашивались к этому имени! И живёт она в Мейплдерхеме — тоже красивое название; это, кажется, где-то на Темзе? Надо будет сейчас отыскать по атласу. Он ей напишет. Но ответит ли она? О! Должна ответить! Она сказала: «*Au revoir!*» — не «Прощайте!» Какое счастье, что она уронила платок! Иначе он никогда бы с ней не познакомился. И чем больше он думал об этом платке, тем удивительней казалось ему его счастье. Флёр! Рифмуется с «костёр». Ритмические узоры теснились в мозгу; слова просились в сочетания; создавался стержень стихотворения.

Так простоял Джон более получаса, потом возвратился к дому и, раздобыв лестницу, влез в окно своей спальни — из чистого озорства. Затем, вспомнив, что окно в кабинете осталось открытым, он сошёл вниз и запер его, предварительно убрав лестницу и устранив таким образом все следы, которые могли бы выдать его чувство. Слишком было оно глубоко, чтобы открыть его кому бы то ни было, даже матери.

IV. МАВЗОЛЕЙ

Бывают дома, чьи души отошли в сумрак времени, оставив тела в сумраке Лондона. Не совсем так обстояло дело с домом Тимоти на Бэйсуотер-Род, ибо душа Тимоти одной ногой ещё пребывала в теле Тимоти Форсайта, и Смизер поддерживала атмосферу неизменной — атмосферу камфоры, и портвейна, и дома, где окна только два раза в сутки открываются для проветривания.

Для Форсайтов этот дом был теперь чем-то вроде китайской коробочки для пилюль — клеточки, одна в другой, и в последнюю заключён Тимоти. До него не добраться, или так, по крайней мере, утверждали те из родни, кто по старинной привычке или по рассеянности нет-нет, а заходили сюда проведать своего последнего дядю: Фрэнси, теперь уже совсем эмансипировавшаяся от бога (она открыто исповедовала атеизм) Юфимия, эмансипировавшаяся от старого Николаса, и Унифрид Дарти, тоже эмансипировавшаяся от своего «светского человека». Но в конце концов нынче все стали эмансипированными или говорят, что стали, а это, пожалуй, не совсем одно и то же.

Поэтому, когда Сомс на другой день после знаменательной встречи зашёл в этот дом по дороге на Пэддингтонский вокзал, вряд ли он рассчитывал увидеть Тимоти во плоти. Сердце его ёкнуло, когда он остановился на ярком солнце у свежесбеленного крыльца маленького дома, где жили некогда четверо Форсайтов, а теперь доживал только один, точно зимняя муха; дом, куда Сомс заходил бесчисленное число раз скинуть или принять балласт семейных сплетен, дом «стариков», людей другого века, другой эпохи.

Вид Смизер, по-прежнему затянутой в высокий, до подмышек, корсет, потому что тётя Джули и тётя Эстер не одобряли новой моды, появившейся в 1903 году, когда они сами сошли со сцены, вызвал бледную дружескую улыбку на губах Сомса; Смизер, во всём до последних мелочей верная старой моде, неоценимая прислуга — такие теперь перевелись — улыбнулась ему в ответ со словами:

— Ах, господи! Мистер Сомс! Сколько лет! Как же вы поживаете, сэр? Мистер Тимоти будет очень рад узнать, что вы заходили.

— Как он поживает?

— О, сэр, он для своих лет совсем молодцом; но он, конечно, необыкновенный человек. Я так и сказала миссис Дарти, когда она была у нас последний раз: вот порадовались бы на него мисс Форсайт, и миссис Джули, и мисс Эстер, если бы могли видеть, как он отлично управляется с печёным яблочком. Он, правда, совсем оглох, но это я считаю только к лучшему: иначе я просто ума не приложу, что бы мы делали с ним во время налётов.

— А-а, — сказал Сомс. — Что же всё-таки вы делали?

— Просто оставляли его в кровати, а звонок Отвели в погреб, так что мы с кухаркой слышали бы, если б он позвонил. Не могли ж мы сказать ему, что идёт война. Я ещё говорила тогда кухарке: «Если мистер Тимоти Позвонит, будь что будет, а я пойду вверх. С моими дорогими хозяйками сделался бы удар, если бы они узнали, что он звонил и никто не пришёл к нему на звонок». Но он прекрасно проспал все налёты. А в тот раз, когда цеппелины появились днём, он принимал ванну. Это вышло очень удачно, а то он мог бы заметить, что все люди на улице смотрят на небо: он часто глядит в окно.

— Так, так, — пробормотал Сомс. Смизер становилась чересчур болтлива. — Я обойду дом, посмотрю, не надо ли что-нибудь сделать.

— Пожалуйста, сэр. Но мне думается, у нас все в порядке, только вот в столовой пахнет мышами, и мы никак не можем избавиться от запаха. Странно, что они завелись, хоть там не бывает никогда ни крошки: мистер Тимоти как раз перед войной перестал спускаться вниз. Но с ними никогда не знаешь, где они заведутся, — противные создания.

— Он встаёт с постели?

— О да, сэр. Утром он прогуливается для моциона от кровати до окна, хотя выводить его в другую комнату мы не рискуем. И он очень доволен: каждый день аккуратно

пересматривает своё завещание. Это для него лучшая утеха.

— Вот что, Смизер: я хотел бы, если можно, повидать его; может быть, ему надо что-нибудь мне сказать.

Смизер зарделась от планшетки корсета до корней волос.

— Вот будет событие! — сказала она. — Если угодно, я провожу вас по дому, а кухарку пошлю тем временем доложить о вас мистеру Тимоти.

— Нет, вы ступайте к нему, — ответил Сомс. — Я сам осмотрю дом.

Нельзя при посторонних предаваться сантиментам, а Сомс чувствовал, что может впасть в сентиментальность, вдыхая воздух этих комнат, насквозь пропитанный прошлым. Когда Смизер, скрипя от волнения корсетом, оставила его, Сомс прошёл в столовую и потянул носом. По его мнению, пахло не мышами, а гниющим деревом, и он внимательно осмотрел обшивку стен. Сомнительно, стоит ли перекрашивать их, принимая во внимание возраст Тимоти. Эта комната всегда была самой современной в доме, и только слабая улыбка pokrивила губы и ноздри Сомса. Стены над дубовой панелью были окрашены в сочный зелёный тон; тяжёлая люстра свешивалась на цепи с потолка, разделённого на квадраты имитацией балок. На стенах картины, которые Тимоти купил как-то по дешёвке у Джобсона шестьдесят лет назад: три снайдеровских натюрморта¹⁷, два рисунка, слегка подцвеченные акварелью мальчик и девочка — очаровательные, помеченные инициалами «Дж. Р.». Тимоти тешился мыслью, что за этими буквами может скрываться Джошуа Рейнольдс¹⁸, но Сомс, которому рисунки эти очень нравились, выяснил, что они сделаны неким Джоном Робинсоном; да сомнительный Морленд¹⁹ — кузнец набивает подкову белой лошади. Вишнёвые плюшевые портьеры, десять тёмных стульев красного дерева, тяжёлых, с высокими спинками, с вишнёвым плюшем на сиденьях; турецкий ковёр, красного дерева обеденный стол, настолько же большой, насколько комната была маленькая, — вот столовая, которую он помнил с четырехлетнего возраста и которая с тех пор не изменилась ни душой, ни телом. Сомс задержался взглядом на рисунках и подумал: «На распродаже я их куплю».

Из столовой он прошёл в кабинет Тимоти. Он, насколько помнил, никогда не бывал в этой комнате. От пола до потолка тянулись полки с книгами, и Сомс с любопытством стал их рассматривать. Одна стена была, по-видимому, посвящена книгам для юношества, изданием которых Тимоти занимался два поколения назад; иногда попадалось по двадцать экземпляров одной и той же книги. Сомс читал их названия и трепетал: средняя стена уставлена была в точности теми же книгами, какие стояли в библиотеке его отца на Парк-Лейн, и отсюда он вывел заключение, что Джемс и его младший брат в один прекрасный день пошли вдвоём и купили по библиотечке. С большим интересом подошёл он к третьей стене. Она, очевидно, отображала вкусы самого Тимоти. Так и оказалось. Вместо книг — полки с фальшивыми корешками. Четвёртая стена была сплошь занята окном с тяжёлыми гардинами. Против него, обращённое к свету, стояло глубокое кресло с прилаженным к нему пюпитром красного дерева, на котором, словно в ожидании хозяина, лежал пожелтевший сложенный номер «Таймса» от шестого июля 1914 года день, когда Тимоти впервые не сошёл вниз, как бы в предчувствии войны²⁰. В углу стоял большой

¹⁷три снайдеровских натюрморта... — Имеются в виду натюрморты Снайдерса (1579—1657), знаменитого художника фламандской школы.

¹⁸ Джошуа Рейнольде (1723—1792) — выдающийся представитель английской школы портретистов XVIII в.

¹⁹ ...да сомнительный Морленд... — Речь идет о картине, относительно которой существует сомнение, принадлежит ли она кисти художника Морленда. Джордж Морленд (1763—1804) — английский художник, часто изображал на своих картинах домашних животных.

²⁰ ...номер «Таймса» от шестого июля 1914 года — день, когда Тимоти впервые не сошел вниз, как бы в предчувствии войны. — Речь идет о номере газеты «Таймс», вышедшей почти за месяц до вступления Англии в первую мировую войну (5 августа 1914 г.).

глобус — изображение тех стран земных, которых Тимоти никогда не посещал, глубоко убеждённый в нереальности всего, кроме Англии, и навсегда сохранивший ужас перед морем с того злополучного воскресенья 1836 года, когда он с Джули, Эстер, Суизином и Хетти Чесмен поехал в Брайтоне кататься на лодке и испытал сильную тошноту; а все из-за Суизина, который вечно что-нибудь затевал и которого, слава богу, тоже изрядно тошнило. Случай этот был Сомсу детально известен. Он слышал о нём раз пятьдесят не меньше, от всех участников поочерёдно. Он подошёл к глобусу и легонько толкнул его; раздался тонкий скрип, шар повернулся на дюйм, и Сомс узрел долгоногого паука, издохшего под сорок четвёртой параллелью.

«Мавзолей, — подумал он. — Джордж был прав». И он вышел и поднялся по лестнице. На первой площадке он остановился перед стеклянным шкафчиком с чучелами колибри, которые восхищали его в детстве. Они, казалось, не постарели ни на день, вися на своих проволоках над травой пампасов. Если открыть шкаф, птицы не защебечут, нет, но все сооружение, пожалуй, рассыплется в прах. Не стоит выносить его на аукцион. И внезапно возникло воспоминание, как тётя Энн, милая старая тётя Энн, подвела его за руку к шкафу и сказала: «Смотри, Сомс, какие они яркие и красивые, эти крошки-колибри. Милые пташки-щебетуны». Припомнился Сомсу и его ответ: «Они не щебечут, тётя». Ему было, верно, лет шесть, и был на нём чёрный бархатный костюмчик с голубым воротничком — он отлично помнил этот костюмчик. Тётя Энн — букли, добрые, тонкие, точно из паутины, руки, важная старческая улыбка, орлиный нос — красивая старая леди. Сомс поднялся выше и остановился у входа в гостиную. По обе стороны двери висели миниатюры. Вот их он непременно купит. Портреты его четырех тёток, дядя Суизин в юности, дядя Николае ребёнком. Все они были исполнены одной молодой дамой, другом их семьи, в 1830 году, когда миниатюры считались «хорошим тоном», и были прочны, так как написаны были на слоновой кости. Сомс неоднократно слышал рассказ об этой молодой даме: «Очень талантливая, дорогой мой; она была равнодушна к Суизину, заболела вскоре чахоткой и умерла; совсем как Ките²¹ — мы всегда это говорили».

Вот они все! Энн, Джули, Эстер, Сьюзен совсем ещё маленькой девочкой, Суизин с небесно-голубыми глазами, розовыми щёчками, жёлтыми локонами, в белом жилете — как живой, и Николае, купидон, закативший к небу глаза. И если подумать, дядя Ник был всегда такой — удивительный был человек до конца своих дней. Да, несомненно талантливая художница. И в миниатюрах всегда есть своя особая прелесть — *sachet*; это тихая заводь, которую не затрагивают бурные течения изменчивой эстетической моды. Сомс отворил дверь в гостиную. В комнате было прибрано, мебель стояла без чехлов, гардины были раздвинуты, точно его тётки ещё проживали здесь в терпеливом ожидании. И у него явилась мысль: когда Тимоти умрёт, можно было бы — и не только можно, а почти что должно — сохранить этот дом, как сохраняется дом Карлейля²², вывесить дощечку и показывать желающим. «Типичное жилище средневикторианского периода — один шиллинг за вход, каталог бесплатно». В конце концов, этот дом — самая совершенная и едва ли не самая мёртвая вещь в Лондоне наших дней. В своём роде это законченный памятник культуры. Стиль выдержан безупречно, нужно только — и он это сделает — убрать отсюда и перенести в его личную коллекцию эти четыре картины барбизонской школы, которые он сам подарил когда-то своим тёткам. Ещё не выцветшие небесно-голубые стены; зелёные портьеры, затканые красными цветами и папоротниками; вышитый гарусом экран перед камином;

21 ...заболела вскоре чахоткой... совсем как Ките... — Речь идет об английском поэте Джоне Китсе, который умер от туберкулеза в 1821 г. в возрасте двадцати пяти лет.

22 ...сохранить этот дом, как сохраняется дом Карлейля... — Имеется в виду дом в районе Челси, в Лондоне, где жил, начиная с 1834 г., и умер в 1881 г. английский историк и философ Томас Карлейль. Дом был превращен в мемориальный музей.

наполненный безделушками шкафчик красного дерева со стеклянными дверцами; расшитые бисером скамеечки для ног; на книжных полках — Ките, Шелли, Саути, Каупер²³, Колридж, байроновский «Корсар» (только «Корсар», а больше ничего) и викторианские поэты; горка маркетри с семейными реликвиями, обитая изнутри блеклым красным плюшем; первый веер тёти Эстер; пряжки от башмаков их деда с материнской стороны; три заспиртованных в бутылочке скорпиона; очень жёлтый слоновый клык, который прислал домой из Индии двоюродный дядя Эдгар Форсайт, торговавший джутом; пришпиленный к стенке жёлтый клочок бумаги, покрытый паутинными письменами, увековечившими бог весть какие события. И картины, теснящиеся на стенах, — все акварели, за исключением тех четырех барбизонцев, которые кажутся в этой обстановке иностранцами (они и есть иностранцы), — яркие, чисто жанровые картины: «На пчельнике», «Эй, паромщик!» и две в манере Фрита: игра в кости, криолины — подарок Суизина. Да! Много, много картин, на которые Сомс засматривался тысячу раз, высокомерный и зачарованный; чудесная коллекция блестящих, гладких золочёных рам.

И рояль, великолепно протёртый и, как всегда, герметически закрытый; и на рояле альбом засушенных водорослей — утеха тёти Джули. И кресла на золочёных ножках, которые в действительности крепче, чем на вид. И сбоку у камина пунцовая шёлковая кушетка, на которой тётя Энн, а после неё тётя Джули сидели, бывало, не сгибая спины, лицом к окну. А по другую сторону камина, спинкой к окну, единственное действительно удобное кресло для тёти Эстер. Сомс протёр глаза — ему чудилось, точно они и сейчас ещё здесь сидят. Ах, и запах, сохранившийся поныне, — запах чрезмерного обилия материй, стиранных кружевных занавесей, пачули в пакетиках» засохших пчелиных крылышек. «Да, — думал он, — теперь ничего подобного не найти. Это следует сохранить». Пусть смеются сколько угодно, но перед этой приличной жизнью с её твёрдыми устоями — для разборчивого глаза, и носа, и вкуса — каким жалким кажется наше время с подземкой и автомобилями, с непрерывным курением, закидыванием ноги на ногу, с голоплечими девицами, которых видно от пят до колен, а при желании от головы до пояса (что может быть, приятно для сатира, сидящего в каждом Форсайте, но плохо отвечает его представлениям о настоящей леди), девицами, которые, когда едят, цепляются носками туфель за ножки своих стульев, и громко хохочут, и щеголяют такими выражениями, как «старикан» и «пока», — ужас охватывал Сомса при мысли, что Флёр общается с подобными девицами; и не меньший ужас внушали ему женщины постарше, очень самостоятельные, энергичные и бойкие. Нет! У старых его тёток, если они и не открывали никогда ни широких горизонтов, ни собственных глаз, ни даже окон, были хотя бы хорошие манеры, устои и уважение к прошлому и будущему.

С чувством искреннего волнения Сомс затворил дверь и на цыпочках стал подниматься выше. По пути он заглянул в одно местечко: гм! полнейший порядок, тот же, что и в восьмидесятих годах, стены обиты жёлтой клеёнкой. На верхней площадке он остановился в нерешительности перед четырьмя дверьми. Которая из них ведёт в комнату Тимоти? Прислушался. Странный звук дошёл до его ушей: как будто ребёнок медленно возит по полу игрушечную лошадку. Наверно, Тимоти! Сомс постучал, и ему открыла дверь Смизер, очень красная и взволнованная.

Мистер Тимоти совершает свою прогулку, и ей не удалось привлечь его внимание. Если мистер Сомс будет так добр и пройдёт в заднюю комнату, он оттуда увидит его.

Сомс прошёл, куда ему указали, и стал наблюдать.

Последний из старых Форсайтов был на ногах. Очень медленно и степенно, с видом полной сосредоточенности он прохаживался взад и вперёд от изголовья кровати до окна — расстояние футов в двенадцать. Нижняя часть его квадратного лица, уже не бритая, как

²³ Каупер (Купер) Уильям (1731 — 1800) — английский поэт, один из наиболее известных представителей сентиментализма в английской поэзии XVIII в.

бывало, покрыта была белоснежной бородкой, подстриженной так коротко, как только можно, и подбородок его казался таким же широким, как лоб, над которым волосы тоже побелели, между тем как нос, и щеки, и лоб были совершенно жёлтые. Одна рука держала толстую палку, а другая придерживала полу егеровского халата, из-под которого выглядывали ноги в спальных носках и в комнатных егеровских туфлях. Выражением лица он напоминал обиженного ребёнка, который тянется к чему-то, чего ему не дают. Каждый раз на повороте он опирался на палку, а потом волочил её за собою, как бы показывая, что может обойтись и без опоры.

— Он с виду ещё крепок, — проговорил вполголоса Сомс.

— О да, сэр. А посмотрели бы вы, как он принимает ванну; он так любит купаться.

Эти громко сказанные слова навели Сомса на открытие;

Тимоти впал в детство.

— А вообще он проявляет к чему-нибудь интерес? — спросил он тоже громко.

— О да, сэр: к еде и к своему завещанию. Просто удовольствие смотреть, как он его разворачивает и переворачивает, не читая, конечно; и он то и дело спрашивает, какой сейчас курс на консоли, и я ему пишу на грифельной доске цифру, очень крупно. Я, конечно, пишу всегда одно и то же, как они стояли, когда он справился в последний раз в четырнадцатом году. Когда началась война, мы надоумили доктора запретить ему читать газеты. Ох, как он сперва огорчился! Но вскоре образумился, поняв, что чтение его утомляет; он удивительно умеет беречь энергию, как он это называл, когда ещё были живы мои дорогие хозяйки, — царствие им небесное. Уж как он, бывало, на них за это напускался; они всегда были такие деятельные, если вы помните, мистер Сомс.

— А что будет, если я войду? — спросил Сомс. — Он узнает меня? Я, как вы помните, составил его завещание в тысяча девятьсот седьмом году, после смерти мисс Эстер.

— Да, сэр, — замялась Смизер. — Не берусь сказать.

Может быть, узнает; он для своего возраста удивительный человек.

Сомс переступил порог и, выждав, когда Тимоти обернулся, громко сказал:

— Дядя Тимоти!

Тимоти сделал три шага и остановился.

— Эге? — сказал он.

— Сомс! — крикнул Сомс во весь голос, протягивая руку. — Сомс Форсайт!

— Нет! — произнёс Тимоти и, громко постукивая палкой, продолжал свою прогулку.

— Кажется, не выходит, — сказал Сомс.

— Да, сэр, — отозвалась Смизер, несколько приуныв, — видите ли, он не кончил ещё своей прогулки. Он никогда не мог делать два дела сразу. Днём он, верно, спросит меня, не приходили ли вы насчёт газа, и вот будет мне тогда задача объяснить ему!

— Не думаете ли вы, что при нём нужен был бы мужчина?

Смизер всплеснула руками.

— Мужчина! Ох нет! Мы с кухаркой отлично управляемся вдвоём. Попади он в чужие руки, он бы тотчас свихнулся. И моим хозяйкам совсем не понравилось бы, чтобы в доме жил посторонний мужчина. К тому же ведь он наша гордость!

— Врач, конечно, его навещает?

— Каждое утро. Он прописывает, что ему давать и поскольку, и мистер Тимоти так привык, что совсем не обращает внимания — только высовывает язык.

— Да, — сказал Сомс отворачиваясь. — Грустное всетаки зрелище.

— О, что вы, сэр! — с жаром возразила Смизер. — Не говорите! Теперь, когда он больше ни о чём не тревожится, он наслаждается жизнью, право. Как я часто говорю кухарке, мистеру Тимоти теперь лучше, чем когда бы то ни было. Понимаете, он если не гуляет, так принимает ванну или ест, а если не ест, так спит; так оно и идёт. Он не знает ни забот, ни печалей.

— Да, — сказал Сомс, — это, пожалуй, правильно. Ну, я пойду. Кстати, дайте-ка мне посмотреть его завещание.

— Для этого, сэр, мне нужно время; он его держит под подушкой; сейчас он бодрый и может заметить.

— Я хотел бы только знать, то ли это самое, что я составлял для него, — сказал Сомс. — Вы как-нибудь взгляните на число и дайте мне знать.

— Хорошо, сэр; но я знаю наверное, что это то самое, потому что мы с кухаркой были свидетельницами, как вы помните, и наши имена все ещё стоят на нём, а подписывались мы только раз.

— Отлично, — сказал Сомс.

Он действительно помнил. Смизер и Джэйн были самыми подходящими свидетельницами, так как в завещании Тимоти нарочно ничего не отказал им, чтобы им не было никакой корысти в его смерти. По мнению Сомса, эта «предосторожность была почти непристойна, но таково было желание Тимоти, и, в конце концов, тётя Эстер вполне обеспечила старых слуганок.

— Отлично, — сказал он, — прощайте, Смизер. Следите за ним и если он когда-нибудь что-нибудь скажет, запишите и дайте мне знать.

— О, непременно, мистер Сомс; можете на меня положиться. Так приятно было повидать вас. Кухарка будет в восторге, когда я ей расскажу.

Сомс пожал ей руку и пошёл вниз. Добрых две минуты он простоял перед вешалкой, на которую столько раз вешал свою шляпу. «Так все проходит, думал он. — Проходит и начинается сызнова. Бедный старик!» И он прислушался — вдруг отдастся в колодце лестницы, как волочит Тимоти свою лошадку; или выглянет из-за перил призрак старческого лица, и старый голос скажет: «Ах, милый Сомс, это ты! А мы только что говорили, что не видели тебя целую неделю!»

Ничего, ничего! Только запах камфоры да столб роящейся пыли в луче, проникшем сквозь полукруглое окно над дверью. Милый, старый дом! Мавзолей! И, повернувшись на каблуках. Сомс вышел и поспешил на вокзал.

V. РОДНАЯ ЗЕМЛЯ

Он на своей родной земле,
Его зовут... Вэл Дарти.

Такого рода чувство испытывал Вэл Дарти на сороковом году своей жизни, когда он в тот же четверг рано поутру выходил из старинного дома, купленного им на северных склонах сэссекских Меловых гор. Направлялся он в Ньюмаркет, где был в последний раз осенью 1899 года, когда удрал из Оксфорда на скачки. Он остановился в дверях поцеловать на прощание жену и засунуть в — карман бутылку портвейна.

— Не перетруждай ногу, Вэл, и не играй слишком рьяно.

Её грудь прижалась к его груди, глаза глядели в его глаза, и Вэл чувствовал, что и нога его и карман в безопасности. Он не должен зарываться; Холли всегда права, у неё врождённое чувство меры. Других это могло удивлять, но Вэл не видел ничего странного в том, что он, хоть и был наполовину Дарти, в течение двадцати лет сохранял нерушимую верность своей троюродной сестре с того дня, как романтически женился на ней в Южной Африке, в разгар войны; и, сохраняя верность, не испытывал скуки, не считал, что приносит жертву: Холай была такая живая, так всегда лукаво опережала его в смене настроения. Будучи в кровном родстве, они решили — вернее, Холли решила — не заводить детей, и она хоть и поблекла немного, но всё же сохранила свою внешность, свою гибкость, тон своих тёмных волос. Вала больше всего восхищало, что она живёт своей собственной жизнью, направляя при атом и его жизнь и с каждым годом совершенствуясь в верховой езде. Она не забросила музыку, очень много читала — романы, стихи, всякую всячину. Там, на их ферме в Южной Африке, она замечательно ухаживала за больными — за чернокожими женщинами

и их ребятами. Она по-настоящему умна, но не поднимает шума из-за этого, не важничает. Не отличаясь особой скромностью. Вал, однако, пришёл к сознанию, что Холли выше его, и он ей с лёгким сердцем прощал это — большая уступка со стороны мужчины. Следует также отметить, что, когда бы он ни смотрел на неё, Холли всегда это знала, она же часто смотрела на него, когда он этого не замечал.

Он поцеловал её на крыльце, потому что не должен был целовать её на платформе, хотя ока провожала его на станцию, чтобы отвести назад машину. Загорев и покрывшись морщинами под жарким солнцем колоний и в борьбе с постоянным коварством лошадей, связанный своей ногой, повреждённой в бурской войне (и, может быть, спасшей ему жизнь в мировой войне), Вэл, однако, мало изменился со времени своего сватовства — та же была у него открытая, пленительная улыбка, только ресницы стали, пожалуй, ещё темней и гуще, но так же мерцали сквозь них светло-серые глаза, да веснушки выступали резче, да волосы на висках начали седеть. Он производил впечатление человека, долго жившего — в солнечном климате деятельной жизнью лошади.

Резко поворачив машину на выезде из парка, он сказал:

— Когда приезжает маленький Джон?

— Сегодня.

— Тебе ничего не нужно для него? Я могу привезти в субботу.

— Ничего не нужно: но, может быть, ты приедешь одним поездом с Флёр в час сорок.

Вэл пустил форд галопом; он всё ещё правил машиной, как правят в новой стране по дурным дорогам: не соглашаясь на компромиссы и у каждой рытвины ожидая царствия небесного.

— Вот маленькая женщина, которая знает, чего хочет, — сказал он, — ты в ней это заметила?

— Да, — сказала Холли.

— Дядя Сомс и твой отец... Не вышло бы неловко!

— Она этого не знает, и Джон не знает, и, конечно, не надо им ничего рассказывать.

Всего только на пять дней, Вэла.

— Семейная тайна! Запомним.

Если Холли сочла это достаточно безопасным, значит так оно и есть. Хитро скосив на Вэла глаза, она сказала:

— Ты заметил, как она ловко назвалась к нам?

— Нет.

— Очень ловко. Какого ты мнения о ней. Вал?

— Хорошенькая и умная; но она, сдаётся мне, выбросит седока из седла на первом же повороте, если её разгорячить.

— Никак не решу, — пробормотала Холли, — типична ля она для современной молодой женщины. Новая стала родина, трудно что-нибудь понять.

— Тебе? Но ты всегда так быстро во всём разбираешься.

Холли засунула руку в карман его пальто.

— С тобою я другим всё становится ясно; — сказал Вал, точно почувствовав поощрение. — Что ты думаешь об этом бельгийце, Профоне?

— По-моему, довольно безобидный чертяка.

Вэл усмехнулся.

— Мне кажется, что для друга нашей семьи он странный субъект. Впрочем, наша семья идёт довольно-таки диким фарватером: дядя Сомс женился на француженке, твой отец — на первой жене Сомса. Наших дедушек хватил бы удар.

— Не только наших, дорогой.

— Машина явно просит кнута, — заметил вдруг Вэл, — на подъёме не желает подбирать под себя задние ноги. Придётся мне пустить её под гору во весь опор, не то я опоздаю на поезд.

В лошадях было нечто такое, что помешало ему по настоящему полюбить автомобиль,

и всегда сразу чувствовалось, правит ли фордом он или Холли. На поезд он поспел.

— Будь осторожна на обратном пути; дай ей волю, и она сбросит тебя на землю. До свидания, дорогая.

— До свидания, — отозвалась Холли и послала воздушный поцелуй.

В поезде, после пятнадцати минут колебания между мыслями о Холли, утренней газетой, любованием природой в этот ясный день и смутными воспоминаниями о Ньюмаркете, Вэл ушёл с головой в дебри маленькой квадратной книжечкой — сплошь имена, родословные, генеалогия лошадей, примечания о мастях и статях. Живший в нём Форсайт склонен был приобрести лошадь определённых кровей, но решительно изгонял свойственный Дартти азарт. Вернувшись в Англию после выгодной продажи своей африканской фермы и конского завода и заметив, что солнце светит здесь довольно редко, Вэл сказал самому себе: — Мне просто необходимо найти какой-то интерес к жизни, иначе эта страна нагонит на меня зелёную тоску. Охота не спасёт. Буду разводить и объезжать лошадей». С решительностью и остротой наблюдения, сообщаемой человеку длительным пребыванием в новой стране, Вэл установил слабые стороны современного коневодства. Людям сейчас импонирует мода и высокая цена. Нужно покупать за экстерьер, родословную побоку. А он тут сам готов поддаться гипнозу определённых кровей. Полуосознанная, слагалась у него мысль: «Этот проклятый климат заставляет человека бегать по кругу. Всё равно, я должен завести у себя лошадь линии Мэйфлай».

В таком настроении прибыл он в Мекку своих упований. Народу было немного, день выдался благоприятный для тех, кто смотрит на лошадей, а не в рот букмекеру, и Вэл прошёл прямо в паддок. Двадцать лет жизни в колониях освободили его от дендизма, привитого воспитанием, но сохранили в нём изящество наездника и наделили его острым глазом на то, что он называл «показным добродушием» некоторых англичан и «вертлявым попугайством» некоторых англичанок — в Холли не было ни того, ни другого, а Холли была для него образцом. Наблюдательный, быстрый, находчивый, Вэл во всякой сделке, в выпивке, в покупке лошади шёл прямо к цели; он наметил себе целью молодую мэйфлайскую кобылку, когда медлительный голос сказал где-то рядом:

— Мистер Вэл Дартти? Как поживает миссис Вэл Дартти? Надеюсь, здорова?

И Вэл увидел подле себя бельгийца, с которым познакомился у своей сестры Имоджин.

— Проспер Профон. Мы с вами познакомились на днях за завтраком, сказал голос.

— Как поживаете? — пробормотал Вэл.

— Очень хорошо, — отозвался Профон, улыбаясь неподражаемо медлительной улыбкой.

«Безобидный чертяка», — сказала о нём Холли. Н-да! Чёрная острая бородка придаёт ему сходство с Мефистофелем; но это Мефистофель сонный и добродушный, с красивыми и, как ни странно, умными глазами.

— Тут один человек хочет с вами познакомиться — ваш родственник, мистер Джордж Форсайт.

Вэл увидел грузную фигуру и чисто выбритое бычье, немного нахмуренное лицо с насмешливой улыбкой, притаившейся в серых навывкате глазах; он смутно помнил это лицо с давних времён, когда обедал иногда с отцом в «Айсиум-Клубе».

— Я когда-то хаживал на скачки с вашим отцом, — сказал Джордж. — Пополняете свой завод? Не купите ли у меня пару одров?

Вэл прикрыл усмешкой внезапно возникшее чувство, что коневодство потеряло под собою почву. Тут ни во что не верят — даже в лошадей. Джордж Форсайт и Проспер Профон! Сам дьявол не так разочарован в жизни, как эти двое.

— Я не знал, что вы увлекаетесь скачками, — сказал он мсье Профону.

— Я не увлекаюсь ими. Лошади меня не занимают. Я плаваю на яхте. Собственно, яхта меня тоже не занимает, но я люблю навещать Друзей. Могу предложить вам завтрак, мистер Вэл Дартти, так, маленький завтрак, если вас соблазнит: неплотный, просто лёгкую закуску в моём авто.

— Благодарю вас, — ответил Вэл, — очень любезно с вашей стороны. Я приду через четверть часа.

— Вен там. Мистер Форсайт тоже придёт. — Указывая пальцем, мсье Профон поднял руку в жёлтой перчатке. — Маленький завтрак в маленьком авто.

Он пошёл дальше, вылощенный, сонный и одинокий. Джордж Форсайт последовал за ним, элегантный, грузный, с лицом пересмешника.

Вэл остался. Он не сводил глаз с мэйфлайской кобылы. Конечно, Джордж Форсайт — старик, но этот Профон примерно одних с ним лет. Вал чувствовал себя совсем мальчишкой, точно мэйфлайская кобыла была игрушкой, над которой только что посмеялись двое взрослых. Животное утратило свою реальность.

«Маленькая кобылка! — чудился Валу голос Профона. — Что вы в ней нашли? Мы все умрём».

Джордж Форсайт, старый друг его отца, ещё играет на скачках! Линия Мэйфлай — чем она лучше всякой другой? Может, просто пойти и сыграть?

— Нет, чёрт возьми, — проворчал он вдруг, — если не стоит труда разводить лошадей, так, значит, вообще ничего не стоит делать. Зачем я сюда приехал? Куплю кобылу.

Он стал в стороне, наблюдая за движением публики из паддока к трибунам. Благообразные старички, зоркие осанистые дельцы, евреи, тренеры, которые выглядят так невинно, точно в жизни не видели лошади; высокие, медлительные, томные женщины или женщины бойкие, с громкими голосами; молодые люди, глядящие так, точно стараются принять все это всерьёз, среди них двое или трое одноруких.

«Здесь жизнь — игра, — подумал Вал. — Звонок, лошади стартуют, кто-то выиграл; опять звонок, новый старт, кто-то проиграл».

Однако, испугавшись своей собственной философии, он вернулся к воротам паддока посмотреть мэйфлайскую кобылу на галопе. Она шла прекрасно; и Вэл побрёл к «маленькому авто». «Маленький» завтрак оказался тем, о чём человек может грезить во сне, но что он редко получает в жизни; когда завтрак кончился, мсье Профон прошёл с Валом обратно в паддок.

— Ваша жена — милая женщина, — заметил он неожиданно.

— Самая милая женщина, какую я знаю, — сухо отве7ил Вэл.

— Да» — сказал Профон, — у неё милое лицо. Я люблю милых женщин.

Вэл посмотрел на него подозрительно, но что-то благодушное и прямое в тяжёлом мефистофельском лице его спутника обезоружило его на мгновение.

— В любое время, когда вы захотите приехать ко мне на яхту, я сделаю для неё маленький рейс.

— Благодарю, — сказал Вэл, снова насторожившись. — Она не любит моря.

— Я тоже не люблю, — сказал Профон.

— Зачем же вы плаваете на яхте?

В глазах бельгийца заиграла улыбка.

— О! Право, не знаю. Я все перепробовал: это моё последнее занятие.

— Оно обходится, верно, чертовски дорого. Мне, например, нужны были бы основания более веские.

Проспер Профон поднял брови и выдвинул тяжёлую нижнюю губу.

— Я сговорчивый человек, — сказал он.

— Вы были на войне? — спросил Вэл.

— Да-а. Войну я тоже испробовал. Был отравлен газом; это было мал-мало неприятно.

Он улыбнулся замысловатой и сонной улыбкой преуспевающего человека. Сказал ли он «мал-мало» вместо «немного» по ошибке или ради аффектации, Вэл не мог решить; от этого человека можно было, по-видимому, ждать чего угодно. В толпе покупателей, привлечённых мэйфлайской кобылой, которая вышла победительницей, мсье Профон сказал:

— Примете участие в аукционе?

Вэл кивнул головой. Рядом с этим сонным Мефистофелем он чувствовал потребность

верить во что-то. Он был обеспечен от крайних превратностей судьбы предусмотрительностью деда, оставившего ему тысячу фунтов годовой ренты, и ещё тысячью годовых, оставленных Холли её дедом, — однако у Вэла не было свободных средств, так как деньги, вырученные им от продажи африканской фермы, он почти целиком потратил на оборудование нового хозяйства в Сэссексе. И очень скоро у него явилась мысль: «К чёрту! Мне это не по карману». Намеченный им предел — шестьсот фунтов — был уже перекрыт; Вэл перестал набавлять. Мэйфлайская кобыла пошла с молотка за семьсот пятьдесят гиней. Вэл с огорчением повернулся, чтобы уйти, когда над ухом у него раздался медлительный голос мсье Профона:

— Ну вот, я купил эту маленькую кобылку, но мне она не нужна: возьмите её и отдайте вашей жене.

Вэл с новым подозрением посмотрел на него, но увидел в его глазах такое добродушие, что, право, не мог обидеться.

— Я заработал на войне немного денег, — начал мсье Профон в ответ на этот взгляд. — У меня были акции оружейных заводов. Мне нравится отдавать деньги. Я всегда зарабатываю. А мне самому не много надо. Я люблю отдавать их моим друзьям.

— Я куплю у вас кобылу за ту цену, которую вы отдали, — сказал с внезапной решимостью Вэл.

— Нет, — ответил мсье Профон. — Возьмите её так. Мне она не нужна.

— Но, чёрт возьми, не могу же я...

— Почему? — улыбнулся мсье Профон. — Я друг вашей семьи.

— Семьсот пятьдесят гиней — это не ящик сигар, — возразил нетерпеливо Вэл.

— Прекрасно; вы сохраните её для меня до той минуты, когда она мне понадобится, а пока делайте с ней, что хотите.

— Если она остаётся вашей, — сказал Вэл, — не возражаю.

— Вот и отлично, — проговорил мсье Профон и отошёл.

Вэл посмотрел ему вслед: «Безобидный чертяка!» Да, как будто — и вдруг опять подумалось: нет! Вэл заметил, как он подошёл к Джорджу Форсайту, и затем потерял его из виду.

В эти дни после скачек он ночевал у своей матери в доме на Грин-стрит.

Уинифрид Дарти в шестьдесят два года удивительно сохранилась, если принять во внимание, что тридцать три года она прожила с Монтегью Дарти, пока её не избавила от него — почти что к счастью — французская лестница. Возвращение любимого сына из Южной Африки после стольких лет доставило ей огромную радость; приятно было видеть, что он так мало изменился, чувствовать симпатию к его жене. До замужества, в конце семидесятых годов, Уинифрид шла в авангарде свободомыслящих ревнительниц наслаждения и моды; но теперь она должна была признать, что современные девицы далеко превзошли молодёжь её века. Например, они, по-видимому, смотрят на брак как на эпизод, и Уинифрид иногда жалела, что в своё время не придерживалась тех же взглядов; второй, третий, четвёртый эпизод, может быть, дал бы ей в спутники жизни не такого блистательного пьяницу; правда, в конце концов он оставил ей Вэла, Имоджин, Мод и Бенедикта (без пяти минут полковника, невредимо прошедшего через войну), и никто из них пока не развёлся. Постоянство детей часто изумляло её, помнившую их отца; но Уинифрид любила тешиться мыслью, что все они настоящие Форсайты и пошли в неё, за исключением разве Имоджин. И откровенно смущала Уинифрид «дочурка» её брата, Флёр. Девочка так же беспокойна, как любая современная девица. «Маленький огонь на сквозном ветру», — сказал о ней как-то за десертом Проспер Профон, но она не вертлява и говорит не громко. Стойкая в своём форсайтизме. Уинифрид бессознательно отвергала новые веяния, не одобряла повадок современной девушки и её девиза: «Была не была! Трать — завтра мы будем нищие!» Её успокаивала в племяннице одна черта: раз чего-нибудь пожелав, Флёр не отступалась, пока не получит своего, а дальше... Но Флёр, конечно, слишком ещё молода, сейчас об этом нельзя судить. Она к тому же прехорошенькая, да ещё унаследовала от матери её французский вкус и умение носить

вещи: каждый оборачивался при виде Флёр, что очень льстило Уинифрид, ценительнице элегантности и стиля, так жестоко её обманувших в случае с Монтегью Дарти.

Говоря о ней с Вэлом за завтраком в субботу, Уинифрид не могла обойти молчанием их семейную тайну.

— Эта история с твоим тестем и твоей тётёй Ирэн, Вэл... Все это, конечно, давно быльём поросло, но не нужно, чтобы Флёр что-нибудь узнала. Дяде Сомсу это было бы очень неприятно. Не проговоришься.

— Хорошо. Но это трудновато: к нам приезжает младший брат Холли, будет жить у нас, изучать сельское хозяйство. Он, верно, уже приехал.

— Ах! — воскликнула Уинифрид. — Как это некстати! Какой он из себя?

— Я видел его только раз я Робин-Хилле, когда мы приезжали домой в тысяча девятьсот девятом году; он был голый и раскрашен в жёлтые и синие полосы, славный был мальчуган.

Уинифрид нашла это «очень милым» и добавила успокоительно:

— Ну, ничего. Холли очень благоразумна; она сумеет всё уладить. Я не стану ничего говорить твоему дяде. Зачем его зря тревожить? Такая радость для меня, дорогой мой мальчик, что ты опять со мной теперь, когда я старею.

— Стареешь? Брось! Ты такая же молодая, как была. Мама, этот Профом он вполне приличный человек?

— Проспер Профон? О! Я в жизни не встречала более занимательного собеседника!

Вэл что-то промышчал и рассказал историю с мэйфлайской кобылой.

— Совсем в его стиле, — проговорила Уинифрид. — Он делает самые неожиданные вещи.

— Н-да, — веско сказал Вал. — Навей семье с этой породой не везло, с такими безответственными людьми.

Это была правда, и Уинифрид добрую минуту молчала в унылое задумчивости, прежде чем ответила:

— Да, конечно! Но он иностранец, Вал: не надо судить слишком строго.

— Правильно. Буду пользоваться его кобылой. И какнибудь с ним рассчитаюсь.

Вскоре за тем он пожелал матери всего хорошего и, приняв от неё поцелуй, момчался к своему букмекеру, в «Айсиум-Клуб» и на вокзал.

VI. ДЖОН

Миссис Вэл Дарти после двадцати лет жизни в Южной Африке страстно влюбилась — к счастью, в нечто ей родное, ибо предметом её страсти был вид, открывавшийся из её окон: холодный ясный свет на зелёных косогорах. Снова была перед нею Англия! Англия ещё более прекрасная, чем та, что грезилась ей во сне. В самом деле, случай привёл Вэла в такой уголок, где Меловые горы в солнечный день поистине очаровательны. Как дочь своего, отца, Холли не могла не оценить необычность их контуров и сияние белых обрывов; подниматься просёлком в гору по дну лощины или брести дорогой на Чанктонбери или Эмберли было подлинным наслаждением, которое она не стала бы делить с Вэлом: Валу любоваться природой мешал инстинкт Форсайта, учивший всегда что-нибудь от неё получать — например, подходящее поле для проездки лошадей.

Мягко и умело правя фордом на пути домой, Холли дала себе обещание воспользоваться приездом Джона и в первый же день повести его на гребень холмов — показать ему свой любимый вид в свете майского дня.

Она ждала младшего брата с материнской нежностью, не израсходованной целиком на Вэла. В те три дня, которые она прогостила в Робин-Хилле вскоре по приезде на родину, ей не пришлось видеть мальчика — он был ещё в школе, — так что у неё, как и у Вэла, сохранился в памяти только светловолосый ребёнок в жёлто-синей татуировке, игравший у пруда.

Те три дня в Робин-Хилле были отмечены грустью, волнением, неловкостью. Воспоминания о покойном брате; воспоминания о сватовстве Вала; свидание с постаревшим отцом, которого она не видела двадцать лет; что-то похоронное в его иронии и ласковости, не ускользнувшее от чуткой дочери; а главное — присутствие мачехи, которую она смутно помнила как «даму в сером» тех давних дней, когда сама она была ещё девочкой, и дедушка был жив, и мадемуазель Бос так сердилась, что вторгшаяся в их жизнь незнакомка стала обучать Холли музыке, — все это смущало и мучило душу, жаждавшую найти в Робин-Хилле прежний покой. Но Холли умела не выдавать своих чувств, и наружно всё шло хорошо.

Отец поцеловал её на прощание, и она отчётливо ощутила, что губы его дрожат.

— Правда, дорогая, — сказал он, — война не изменила Робин-Хилла? Если б только ты могла привезти с собою Джолли! Как тебе нравится этот спиритический бред? Дуб, я боюсь, когда умрёт, так умрёт навсегда.

По теплоте её объятия он, верно, угадал, что выдал себя, потому что тотчас перешёл опять на иронию.

— Нелепое слово «спиритизм»: чем больше им занимаются, тем вернее доказывают, что овладели всего лишь материей.

— То есть? — спросила Холли.

— Как же! Взять хотя бы фотографирование привидений. Для фотографии нужно прежде всего, чтобы свет падал на что-то материальное. Нет, всё идёт к тому, что мы станем называть всякую материю духом или всякий дух материей — одно из двух.

— Но ведь ты не веришь в загробную жизнь, папа?

Джолион поглядел на дочь, и её глубоко поразило грустно-своенравное выражение его лица.

— Дорогая, мне хотелось бы что-то получить от смерти. Я уже заглянул в неё. Но, сколько ни стараюсь, я не могу найти ничего такого, чего нельзя было бы с тем же успехом объяснить телепатией, работой подсознания или эманацией из материальных складов нашего мира. Хотел бы, но не могу. Желания порождают мысли, но доказательств они не дают.

То ощущение, которое явилось у Холли, когда она ещё раз прижала губы ко лбу отца, подтвердило его теорию, что всякая материя превращается в дух, — лоб показался каким-то нематериальным.

Но ярче всего запомнилось Холли, как однажды она незаметно для мачехи наблюдала за ней, когда та читала письмо от Джона. Это было, решила Холли, прекраснейшее, что она видела в жизни. Ирэн, увлечённая письмом своего мальчика, стояла у окна, где свет ложился косо на её лицо и на тонкие седые волосы; губы её чуть шевелились, тёмные глаза смеялись, ликуя; одна рука держала письмо, другая прижата была к груди. Холли тихо удалилась, как от видения совершенной любви, уверенная, что Джон, несомненно, очень мил.

Увидев, как он выходит из станционного здания, неся в обеих руках по чемодану, она утвердилась в своём предрасположении. Он был немного похож на Джолли — давно утраченного кумира её детства, но только в нём чувствовалось больше горячности и меньше выдержки, глаза посажены были глубже, а волосы были ярче и светлее — он ходил без шляпы; в общем очень привлекательный «маленький братец».

Его застенчивая вежливость подкупала женщину, привыкшую к самоуверенным манерам современной молодёжи; он был смущён, что она везёт его домой, а не он её. Нельзя ли ему сесть за руль? В Робин-Хилле автомобиля не держали, то есть, конечно, со времени войны. Он правил только раз и тут же врезался в насыпь — Холли должна позволить ему поучиться. В его смехе, мягком и заразительном, была большая прелесть, хоть это слово и признано теперь устаревшим. Когда они приехали домой, Джон вытащил смятое письмо. Холли его прочла, пока он умывался, совсем коротенькое письмо, которое, однако, должно было стоить её отцу многих мучений:

«Дорогая моя,

Ты и Вэл не забудете, надеюсь, что Джон ничего не знает о нашей семейной истории. Его мать и я, мы полагаем, что он ещё слишком для этого молод. Мальчик очень хороший, он зеница её ока. *Verbum sapientibus*²⁴.

Любящий тебя отец Дж. Ф.»

Вот и все; но, прочитав письмо, Холли невольно пожалела, что пригласила Флёр.

После чая она исполнила данное себе обещание и повела Джона в горы. Брат и сестра долго беседовали, сидя над старой меловой ямой, поросшей крыжовником и ежевикой. Горлицы и ветреницы звездилась по зелёному косогору, заливались жаворонки и дрозды в кустах, порою чайка, залетев с морского берега, кружила, белая, в бледнеющем небе, по которому уже поднимался расплывчатым диском месяц. Сладостный запах был разлит в воздухе, точно незримые маленькие создания бегали вокруг и давили стебли душистых трав.

Джон, приумолкший было, сказал неожиданно:

— Чудно! Ничего не прибавишь. Чайка парит, колокольчик овцы...

— «Чайка парит, колокольчик овцы! Ты, дорогой мой, поэт.

Джон вздохнул.

— Ох! Трудная это дорожка.

— Пробуй. Я тоже пробовала в твоём возрасте.

— Правда? И мама тоже говорит: «Пробуй»; но я такой никудышный. Почитаешь мне свои стихи?

— Дорогой мой, — мягко сказала Холли, — я девятнадцать лет замужем, а стихи я писала, когда только ещё хотела выйти замуж.

Джон опять вздохнул и отвернул лицо: та щека, что была видна Холли, покрылась прелестным румянцем. Неужели Джон «сбил с ноги», как сказал бы Вэл. Уже? Но если так, тем лучше: он не обратит внимания на Флёр. Впрочем, с понедельника он приступит к работе на ферме. Холли улыбнулась. Кто это — Берне, кажется, пахал землю? Или только Пётр-Пахарь²⁵? В наши дни чуть ли не все молодые люди и очень многие молодые женщины пишут стихи, судя по множеству книг, которые она читала там, в Южной Африке, выписывая их через Хетчеса и Бэмпхарда; и, право, очень неплохие стихи — много лучше тех, которые писала когда-то она сама. Она рано начала — поэзия по-настоящему вошла в обиход несколько позже, вместе с автомобилями. Ещё один долгий разговор после обеда в низкой комнате у камина, в котором потрескивали дрова, — и для неё ничего почти не оставалось скрытого в Джоне, кроме разве чего-нибудь подлинно важного. Холли распрошлась с ним у дверей его спальни, дважды проверив сначала, все ли у него в порядке, и вынесла убеждение, что полюбит брата и что Вэлу он понравится. Он был горяч, но не порывист; превосходно умел слушать и мало говорил о себе. Он, по-видимому, любил отца и боготворил свою мать. Играл он предпочитал верховую езду, греблю и фехтование, он спасал бабочек от огня и не терпел пауков, хотя не убивал их, а выбрасывал за дверь в клочке бумаги. Словом, он был мил. Она пошла спать, думая о том, как страшно он будет страдать, если кто-нибудь ранит его. Но кто его ранит?

Джон между тем не спал и сидел у окна с карандашом и листом бумаги. Он писал своё первое «настоящее» стихотворение — при свече, так как лунного света было недостаточно: его хватало только на то, чтобы ночь за окном казалась трепетной и как бы выгравированной на серебре. В такую ночь Флёр могла бы идти, оглядываться и вести за собой в горную даль. Роясь в глубине своего изобретательного мозга, Джон заносил слова на бумагу, и вычёркивал их, и снова вписывал, и делал всё необходимое, чтобы завершить произведение искусства, и переживал такое чувство, какое должен испытывать весенний ветер, пробуя

²⁴ Умный поймёт с полуслова (лат.)

²⁵ Петр Пахарь — герой английской аллегорической поэмы «Видение Петра Пахаря» Уильяма Лэнгленда (начало второй половины XIV в.).

свои первые песни среди наступающего цветения. Джон принадлежал к числу тех редких мальчиков, которым удалось пронести через школьные годы привитую дома любовь к красоте. Ему, конечно, приходилось таить её про себя, не выдавая даже учителю рисования; но она жила в нём, целомудренная и взыскательная. Стихотворение показалось ему настолько же хромым и ходульным, насколько ночь казалась крылатой. Но всё-таки Джон его сохранил. «Дрянь, — решил он, — но когда нужно выразить невыразимое, всё же лучше, чем ничего». И не без огорчения он подумал: «Этого я не смогу показать маме». Спал он удивительно крепко, когда наконец заснул, захлёстнутый волной новых впечатлений.

VII ФЛЁР

Во избежание неловких расспросов Джону было сказано только:

— Вэл привезёт с собой на воскресенье одну знакомую. По той же причине Флёр было сказано только:

— У нас гостит один молодой человек.

Оба стригунка, как мысленно называл их Вэл, встретились, таким образом, совершенно неподготовленными. Холли так представила их друг другу:

— Это Джон, мой маленький брат; Флёр — наша родственница, Джон.

Джон, вошедший через террасу прямо с яркого солнечного света, был так потрясён этим счастливым чудом, что не мог произнести ни слова, и Флёр успела спокойно сказать «здравствуйте» таким тоном, как будто они никогда не виделись раньше; невообразимо быстрый кивок головы дал мальчику понять, что это — их первая встреча. Джон в упоении склонился к её руке и сделался тише могилы. Он сообразил, что лучше молчать. Однажды, в раннюю пору своей жизни, когда его застали врасплох за чтением при свете ночника, он сказал растерянно: «Я только переворачивал страницы, мама». И мать ответила ему: «Джон, с твоим лицом лучше не выдумывать басен — никто не поверит».

Эти слова раз и навсегда подорвали уверенность, необходимую для успешной лжи. И теперь он слушал быстрые и восторженные замечания Флёр о том, как всё вокруг прелестно, угощал её оладьями с вареньем и ушёл, как только представилась возможность. Говорят, что в белой горячке больной видит навязчивый предмет, по преимуществу тёмный, который внезапно меняет свою форму и положение. Джон видел такой навязчивый предмет; у предмета были тёмные глаза, довольно тёмные волосы, и он менял положение, но отнюдь не форму. Сознание, что между ним и его «навязчивым предметом» установилось взаимное тайное понимание (хоть он и не разгадал, в чём было дело), наполняло мальчика таким трепетом, что он был как в лихорадке и начал переписывать начисто своё стихотворение, которое он, конечно, никогда не осмелится ей показать. Его заставил очнуться топот копыт, и, высунувшись в окно, он увидел Флёр верхом в сопровождении Вала. Понятно, она не теряет времени даром, но зрелище это наполнило Джона досадой: он-то теряет время. Если бы он не сбежал в робком восторге, его тоже пригласили бы на прогулку. И он сидел у окна и следил, как всадники скрылись, появились вновь на подъёме дороги, опять исчезли и ещё раз вынырнули на минуту, чётко вырисовываясь на гребне холма. «Болван я! — думал он. — Всегда упускаю случай».

Почему он не умеет держаться уверенно? И, подперев подбородок обеими руками, он рисовал себе поездку, которую мог бы совершить вместе с ней. Она приехала всего лишь на два дня, а он упустил из них три часа. Ну кто среди всех его знакомых, кроме него самого, сваял бы такого дурака? Никто.

К обеду он оделся пораньше и спустился в столовую первым. Он Дал себе слово больше не зевать — и всё-таки прозевал Флёр, которая пришла последней. За обедом он сидел напротив неё, и это было пыткой: невозможно было ничего сказать из страха, что скажешь лишнее, невозможно смотреть на неё так, как хотелось бы; и вообще возможно ли держаться естественно с девушкой, с которой ты в своём воображении уже побывал далеко за холмами, и притом всё время сознавать, что и ей и всем остальным ты кажешься

форменным остолопом? Да, это была пытка. А Флёр говорила так хорошо, перепархивая на быстрых крыльях с одной темы на другую! Удивительно, как она усвоила это искусство, которое ему казалось неодолимо трудным. Право, она должна считать его безнадёжным тупицей.

Взгляд сестры, устремлённый на него с некоторым удивлением, принудил его наконец взглянуть на Флёр. Но тотчас её глаза, широкие и живые, как будто взмолились: «О! Ради бога, не надо!» — и вынудили его перевести взгляд на Вэла; но усмешка в его глазах заставила Джона уставиться на свою котлету, у которой, к счастью, не было ни глаз, ни улыбки, и он поспешил её съесть.

— Джон собирается стать фермером, — услышал он голос Холли, — фермером и поэтом.

Он с упрёком посмотрел на сестру, увидел её забавно поднятую бровь, совсем как у их отца, засмеялся и почувствовал себя значительно лучше.

Вэл рассказал о своей встрече с Проспером Профоном как нельзя более кстати, потому что во время рассказа он глядел на Холли, а Холли на него, тогда как Флёр, слегка нахмурившись, казалось, рассматривала какую-то свою затаённую мысль, и Джон получил наконец возможность поглядеть на неё. На ней было белое платье, очень простое и отлично сшитое; руки были обнажены, в волосах белая роза. В этот быстрый миг, когда он впервые посмотрел на неё свободно после такого напряжённого ожидания, Джон увидел её словно реющей в воздухе, как мы видим в темноте стройную белую яблоню; он «ловил» её, как строчку стихотворения, вспыхнувшую в мозгу, как мелодию, которая выплывет вдалеке и замрёт.

Он смущённо гадал, сколько ей лет, — она так хорошо владела собой и казалась настолько опытней его самого. Почему надо скрывать, что они уже встречались? Джону вспомнилось лицо его матери, растерянное и оскорблённое, когда она ответила: «Да, они нам родственники, но мы с ними незнакомы». Мать его так любит красоту. Неужели же, узнав Флёр, она не будет восхищаться ею? Невозможно!

Оставшись после обеда вдвоём с Вэлом, Джон почтительно потягивал портвейн и отвечал на расспросы своего новоявленного зятя. Что касается верховой езды (у Вэла она всегда стояла на первом плане), то Джону предоставлялся молодой караковый жеребец, только мальчик должен сам седлать его к рассёдлывать и вообще ухаживать за ним после поездки. Джон сказал, что ко всему этому он привык и дома, и убедился, что сразу поднялся в мнении своего хозяина.

— Флёр, — заметил Вал, — ещё не умеет ездить как следует, во она ловкая. Конечно, её отец не отличает лошади от колеса. А твой папа ездит верхом?

— Раньше ездил; но теперь он, вы понимаете, он.

Мальчик запнулся на слове «стар». Отец его был стар, я всё-таки не стар, нет, конечно нет.

— Понимаю, — сказал Вал. — Я знал в Оксфорде твоего брата, давным-давно, того, который погиб в бурскую войну. Мы с ним однажды подрались в университетском саду. Странная это была история, — добавил он задумчиво. — Она вызвала немало последствий.

У Джона широко раскрылись глаза; всё наталкивало его на исторические изыскания. Но с порога послышался ласковый голос сестры: «Идите к нам!» — и он вскочил, ибо сердце его настойчиво рвалось к настоящему.

Так как Флёр заявила, что «в такой чудесный вечер грех сидеть дома», все четверо вышли. Роса индевела в лунном свете, и старые солнечные часы отбрасывали длинную тень. Две самшитовые изгороди, квадратные в тёмные, встречались под прямым углом, отгораживая плодовый сад. Флёр свернула в проход между ними.

— Идёмте! — позвала она.

Джон оглянулся на остальных и последовал на девушкой. Она, как призрак, бежала между деревьями. Всё было так красиво над нею и точно пенилось, я пахло старыми стволами и крапивой. Флёр скрылась. Джон подумал, что потерял её, когда вдруг чуть не

сшиб её с ног на бегу: она стояла неподвижно.

— Правда, чудесно? — воскликнула она, и Джон ответил:

— Да.

Она потянулась, сорвала с яблони цветок и, теребя его пальцами, сказала:

— Можно называть вас просто Джон? И на ты?

— Ну ещё бы!

— Прекрасно. Но ты знаешь, что между нашими семьями — кровная вражда?

Джон обомлел:

— Вражда? Почему?

— Романтично и глупо, не правда ли? Вот почему я сделала вид, будто мы раньше не встречались. Давай встанем завтра пораньше и пойдём гулять вдвоём до утреннего завтрака, чтобы покончить с этим. Я не люблю тянуть канитель, а ты?

Джон пробормотал восторженное согласие.

— Итак, в шесть часов. Знаешь, твоя мама, по-моему, очень красива.

Джон горячо подхватил:

— Да, очень.

— Я люблю красоту во всех её видах, — продолжала Флёр, — но только непременно, чтобы она волновала. Греческое искусство я не признаю.

— Как! Даже Евригада?

— Еврипида²⁶? Ой, нет! Не выношу греческих трагедий, они такие длинные. Красота, по-моему, всегда быстрая. Я, например, люблю посмотреть на какую-нибудь картину и убежать. Я не выношу много вещей разом. Вот посмотри, — она высоко держала на лунном свете свой яблоневый цветок. — По-моему, это лучше, чем весь сад.

И вдруг другой, свободной, рукой она схватила руку Джона.

— Тебе не кажется, что самое несносное в мире — осторожность? Понюхай лунный свет.

Она бросила цветок ему в лицо. Джон с упоением согласился, что самое скверное в мире — осторожность, и, склонившись, поцеловал пальцы, сжимавшие его руку.

— Мило и старомодно, — спокойно сказала Флёр. — Ты невозможно молчалив, Джон. Я люблю и молчание, когда оно внезапно, — она выпустила его руку. — Ты не подумал тогда, что я нарочно уронила платок?

— Нет! — воскликнул Джон, глубоко поражённый.

— А я, конечно, нарочно его уронила. Повернём назад, а то подумают, что мы и теперь уединились нарочно.

И опять она, как призрак, побежала между стволами. Джон последовал за ней, с любовью в сердце, с весной в сердце, а надо всем рассыпалось в лунном свете белое неземное цветение. Они вышли тем же путём, как вошли; вид у Флёр был самый непринуждённый.

— Там в саду чудно! — томно сказала она Холли.

Джон хранил молчание, безнадежно надеясь, что, может быть, оно покажется ей внезапным.

Она непринуждённо и сдержанно пожелала ему спокойной ночи, и ему подумалось, что разговор в саду был только сном.

У себя в спальне Флёр скинула платье и, завернувшись в затейливо бесформенный халат, все ещё с белой веточкой в волосах, точно гейша, села на кровать, поджав под себя ноги, и начала писать при свече:

«Дорогая Черри!

Я, кажется, влюблена. Свалилось как снег на голову, но ощущается где-то

²⁶ Еврипид — древнегреческий драматург (480—406 гг. до н. э.).

глубже. Он — мой троюродный брат, совсем дитя, на шесть месяцев старше и на десять лет моложе меня. Мальчики всегда влюбляются в старших, а девушки в младших или же в сорокалетних стариков. Не смейся, но я отроду не видела ничего правдивее его глаз; он божественно молчалив. Наша первая встреча в Лондоне произошла очень романтично, под сенью восповичевской Юоны. А сейчас он спит в соседней комнате, яблони в цвету, залиты лунным светом, а завтра утром, пока все спят, мы пойдём на Меловые горы — в гости к феям. Между нашими семьями — кровная вражда, что, по-моему, восхитительно. Да! И, может быть, мне придётся идти на хитрости, попросить, чтобы ты меня пригласила к себе, так ты поймёшь, зачем. Папа не хочет, чтобы мы были знакомы, но я с этим не примирюсь. Жизнь слишком коротка. У него красавица мать: темноглазая, с прелестными серебряными волосами и молодым лицом. Я гощу у его сестры, которая замужем за моим двоюродным братом; все это очень запутанно, но я намерена выудить из неё завтра всё, что смогу. Мы часто с тобой говорили, что любовь портит весёлую игру. Вздор! Только с нею и начинается подлинная игра. И чем раньше ты это испытаешь, дорогая, тем лучше для тебя.

Джон не просто «Джон», а уменьшительное от Джوليон — традиционное имя Форсайтов) из породы тех, которые то вспыхивают, то гаснут; росту в нём пять футов десять дюймов²⁷, и он ещё растёт и, кажется, хочет быть поэтом. Если ты станешь смеяться надо мной, я рассорюсь с тобой навсегда. Я предвижу всевозможные затруднения, но ты знаешь: если я чего-нибудь всерьёз захочу, я добьюсь своего. Один из основных признаков любви — это то, что воздух чудится населённым, подобно тому, как чудится нам лицо на луне; кажется, будто танцуешь, и в то же время какое-то странное ощущение где-то над корсетом, точно запах апельсинового дерева в цвету. Это моя первая любовь и, я предчувствую, последняя, что, конечно, нелепо по всем законам природы и нравственности. Если ты намерена глумиться надо мной, я тебя убью, а если ты кому-нибудь расскажешь, я тебе этого никогда не прощу. Верь, не верь, а у меня, кажется, не хватит духу отослать это письмо. Как бы то ни было, сейчас я над ним засыпаю. Итак, спокойной ночи, моя Черри-и-и!

Твоя Флёр».

VIII. ИДИЛЛИЯ НА ЛОНЕ ПРИРОДЫ

Когда двое молодых Форсайтов миновали первый перевал и обратили свои лица на восток, к солнцу, в небе не было ни облачка, а холмы искрились росой. На перевал они поднялись почти бегом и немного запыхались; если и было им что сказать, они всё же не говорили и шли под пение жаворонков, в неловком молчании утренней прогулки натошак. Уйти украдкой было забавно, но на вольной высоте ощущение заговора пропало и сменилось немотой.

— Мы допустили глупейшую ошибку, — сказала Флёр, когда они прошли с полмили. — Я голодна.

Джон извлёк из кармана плитку шоколада. Они разломали её пополам, и языки у них развязались. Они говорили о своём домашнем укладе и о прошлой своей жизни, которая здесь, среди одиночества холмов, казалась волшебнореальной. В прошлом Джона оставалось неизбежным лишь одно — его мать, в прошлом Флёр — её отец; их лица неодобрительно смотрели издали на детей, и дети говорили о них мало.

Дорога спустилась в ложбину и опять вынырнула в направлении к Чанктонбери-Ринг; блеснуло вдалеке море, ястреб парил между ними и солнцем, так что его кровавокоричневые крылья казались огненно-красными. Джон до страсти любил птиц, любил сидеть подолгу неподвижно, наблюдая за ними; и так как у него был острый взгляд и память на вещи,

²⁷ ...росту в нем пять футов десять дюймов... — то есть приблизительно 178 см.

которые его занимали, пожалуй, стояло его послушать, если речь заходила о птицах. Но на Чанктонбери-Ринг не слышно было птиц, большой храм его буковой рощи был пуст — он стоял безжизненный и холодный в этот ранний час; приятным показалось, пройдя рощу, снова выйти на солнце. Очередь была за Флёр. Она заговорила о собаках, о том, как с ними гнусно обращаются. Не жестоко ли сажать их на цепь! Она бы секла людей, которые так поступают. Джон был удивлён этим проявлением гуманности. Оказалось, что Флёр знала собаку, которую какойто фермер, их сосед, во всякую погоду держал на цепи в углу своего птичьего двора — так что в конце концов она надорвала голос от лая!

— Подумай, как обидно! — с жаром сказала девушка. — Ведь если бы она не лаяла на каждого прохожего, её бы не держали на цепи. Человек — подлая тварь. Я два раза потихоньку спускала её; оба раза она меня чуть не укусила, а после просто бесновалась от радости; но потом она неизменно прибегала домой, и её опять сажали на цепь. Будь моя воля, я посадила б на цепь её хозяина, — Джон заметил, как сверкнули её зубы и глаза. — Я выжгла бы ему на лбу клеймо: «Зверь». Была бы ему наука!

Джон согласился, что средство превосходное.

— Всеми виной, — сказал он, — инстинкт собственности, который изобрёл цепи. Последнее поколение только и думало, что о собственности; вот почему разыгралась война.

— О! — воскликнула Флёр. — Мне никогда не приходило это на ум. Твои родные и мои поссорились из-за собственности. А она ведь есть у нас у всех — твои родные, мне кажется, богаты.

— О да! К счастью! Не думаю, чтоб я сумел зарабатывать деньги.

— Если б ты умел, ты бы мне не нравился.

Джон с трепетом взял её под руку.

Флёр смотрела прямо вперёд и напевала:

Джонни. Джонни, пастушок,
Хвать свинью — и наутёк?

Рука Джона робко обвилась вокруг её талии.

— Довольно неожиданно! — спокойно сказала Флёр. — Ты часто это делаешь?

Джон опустил руку. Но Флёр засмеялась, и его рука снова легла на её талию. Флёр запела:

О, кто по горной той страхе
За такой помчится на коне.
О, кто отважится за мной
Дорогой горной той?

— Подпевай, Джон!

Джон запел. К ним присоединились жаворонки, колокольчики овец, утренний звон с далёкой церкви в Стэйнинге. Они переходили от мелодии к мелодии, пока Флёр не заявила:

— Боже! Вот когда я по-настоящему проголодалась!

— Ах, мне так совестно!

Она заглянула ему в лицо.

— Джон, ты — прелесть!

И она локтем прижала к себе то руку, обнимавшую её. Джон едва не зашатался от счастья. Жёлто-белая собака, гнавшаяся за зайцем, заставила его отдёрнуть руку. Они смотрели вслед, пока заяц и собака не скрылись под горой. Флёр вздохнула:

— Слава богу, не поймают! Которые час? Мои остановились. Забыла завести.

Джон посмотрел на часы.

— Чёрт возьми! И мои стоят.

Пошли дальше, взявшись за руки.

— Если трава сухая, — предложила Флёр, — присядем да минутку.
Джон скинул куртку, и они уселись на ней вдвоём.
— Понюхай! Настоящий дикий тмин.
Он снова обнял её, и так они сидели молча несколько минут.
— Ну и ослы! — вскричала Флёр и вскочила. — Мы безобразно опоздаем, вид у нас будет самый дурацкий, и они все насторожатся. Вот что, Джон: мы просто вышли побродить перед завтраком, чтобы нагулять аппетит, и заблудились. Хорошо?
— Да, — согласился Джон.
— Это важно. Нам будут чинить всевозможные препятствия. Ты хорошо умеешь лгать?
— Кажется, не слишком. Но я постараюсь.
Флёр нахмурилась.
— Знаешь, я думаю, нам не позволят дружить.
— Почему?
— Я тебе уже объясняла.
— Но это глупо!
— Да; но ты не знаешь моего отца.
— Я думаю, что он тебя очень любит.
— Видишь ли, я — единственная дочь. И ты тоже единственный — у твоей матери. Такая обида! От единственных детей ждут слишком многого. Пока переделаешь все, чего от тебя ждут, успеешь умереть.
— Да, — пробормотал Джон, — жизнь возмутительно коротка. А хочется жить вечно и все познать.
— И любить всех и каждого?
— Нет, — воскликнул Джон, — любить я желал бы только раз — тебя!
— В самом деле? Как ты это быстро! Ах, смотри, вот меловая яма; отсюда недалеко и до дому. Бежим!
Джон пустился за нею, спрашивая себя со страхом, не оскорбил ли он её.
Овраг — заброшенная меловая яма — был полон солнца и жужжания пчёл. Флёр откинула волосы со лба.
— Ну, — сказала она, — на всякий случай тебе разрешается меня поцеловать, Джон.
Она подставила щёку. В упоении он запечатлел поцелуй на горячей и нежной щеке.
— Так помни: мы заблудились; и по мере возможности предоставь объяснения мне; я буду смотреть на тебя со злостью для большей верности; и ты постарайся и гляди на меня зверем!
Джон покачал головой:
— Не могу!
— Ну, ради меня; хотя бы до дневного чая.
— Догадаются, — угрюмо проговорил Джон.
— Как-нибудь постарайся. Смотри! Вот мы и дома! Помахай шляпой. Ах, у тебя её нет!
Ладно, я крикну. Отойди от меня подальше и притворись недовольным.
Пять минут спустя, поднимаясь на крыльцо и прилагая все усилия, чтобы казаться недовольным, Джон услышал в столовой звонкий голос Флёр:
— Ох, я до смерти голодна. Вот мальчишка! Собирается стать фермером, а сам заблудился. Идиот!

IX. ГОЙЯ

Завтрак кончился, и Сомс поднялся в картинную галерею в своём доме близ Мейплдерхема. Он, как выражалась Аннет, «предался унынию». Флёр ещё не вернулась домой. Её ждали в среду, но она известила телеграммой, что приезд переносится на пятницу, а в пятницу новая телеграмма известила об отсрочке до воскресенья; между тем, приехала её тётка, её кузены Кардиганы и этот Профон, и ничего не ладилось, и было скучно, потому что

не было Флёр. Сомс стоял перед Гогэном — самым больным местом своей коллекции. Это безобразное большое полотно он купил вместе с двумя ранними Матиссами²⁸ перед самой войной, потому что вокруг пост-импрессионистов подняли такую шумиху. Он раздумывал, не избавит ли его от них Профон бельгиец, кажется, не знает, куда девать деньги, — когда услышал за спиною голос сестры: «По-моему, Сомс, эта вещь отвратительна», и, оглянувшись, увидел подошедшую к нему Уинифрид.

— Да? — сказал он сухо. — Я отдал за неё пятьсот фунтов.

— Неужели! Женщины не бывают так сложены, даже чернокожие.

Сомс невесело усмехнулся:

— Ты пришла не за тем, чтобы мне это сообщить.

— Да. Тебе известно, что у Вэла и его жены гостит сейчас сын Джолиона?

Сомс круто повернулся.

— Что?

— Да-а, — протянула Уинифрид, — он будет жить у них всё время, пока изучает сельское хозяйство.

Сомс отвернулся, но голос сестры неотступно преследовал его, пока он шагал взад и вперёд по галерее.

— Я предупредила Вэла, чтобы он ни ему, ни ей не проговорился о старых делах.

— Почему ты мне раньше не сказала?

Уинифрид повела своими полными плечами.

— Флёр делает, что захочет. Ты её всегда баловал. А потом, дорогой мой, что здесь страшного?

— Что страшного? — процедил сквозь зубы Сомс. — Она... она...

Он осёкся. Юнона, носовой платок, глаза Флёр, её вопросы и теперь эти отсрочки с приездом — симптомы казались ему настолько зловещими, что он, верный своей природе, не мог поделиться опасениями.

— Мне кажется, ты слишком осторожен, — начала Уинифрид. — Я бы на твоём месте рассказала ей всю историю. Нелепо думать, что девушки в наши дни те же, какими были раньше. Откуда они набираются знаний, не могу сказать, но, по-видимому, они знают все.

По замкнутому лицу Сомса прошла судорога, и Уинифрид поспешила добавить:

— Если тебе тяжело говорить, я возьму на себя.

Сомс покачал головой. Пока ещё в этом не было абсолютной необходимости, а мысль, что его обожаемая дочь узнает о том старом позоре, слишком уязвляла его гордость.

— Нет, — сказал он, — только не теперь. И если будет можно — никогда.

Уинифрид смолчала. Она все более и более склонялась к миру и покою, которых Монтегью Дартти лишал её в молодости. И так как вид картин всегда угнетал её, она вскоре за тем сошла вниз, в гостиную.

Сомс прошел в тот угол, где висели рядом его подлинный Гойя и копия с фрески «La Vendimia». Появление у него картины Гойи служило превосходной иллюстрацией к тому, как человеческая жизнь, яркокрылая бабочка, может запутаться в паутине денежных интересов и страстей. Прадед высокогородного владельца подлинного Гойи приобрел картину во время очередной испанской войны — в порядке откровенного грабежа. Высокородный владделец пребывал в неведении относительно ценности картины, пока в девяностых годах прошлого века некий предприимчивый критик не открыл миру, что испанский художник по имени Гойя был гением. Картина представляла собой не более как рядовую работу Гойи, но в Англии она была чуть ли не единственной, и высокогородный владделец стал известным человеком. Обладая разнообразными видами собственности и той аристократической культурой, которая не жаждет только чувственного наслаждения, но зиждется на более

²⁸ ...он купил вместе с двумя ранними Матиссами... — Имеются в виду картины, относящиеся к раннему периоду творчества французского художника Анри Матисса (1869—1954).

здоровом правиле, что человек должен знать все и отчаянно любить жизнь, — он держался твердого намерения, покуда жив, сохранять у себя предмет, доставляющий блеск его имени, а после смерти завещать его государству. К счастью для Сомса, палата лордов в 1909 году²⁹ подверглась жестоким нападкам, и высокородный владелец встревожился и обозлился. «Если они воображают, — решил он, — что могут грабить меня с обоих концов, они сильно ошибаются. Пока меня не трогают и дают спокойно наслаждаться жизнью, государство может рассчитывать, что я оставлю ему в наследство некоторые мои картины. Но если государство намерено травить меня и грабить, будь я трижды проклят, если не распродам к черту всю свою коллекцию. Одно из двух: или мою собственность, или патриотизм, а того и другого сразу они от меня не получат». Несколько месяцев он вынашивал эту мысль, потом в одно прекрасное утро, прочитав речь некоего государственного мужа³⁰, дал телеграмму своему агенту, чтобы тот приехал и привез с собою Бодкина. Осмотрев коллекцию, Бодкин, чье мнение о рыночных ценах пользовалось среди знатоков наибольшим весом, заявил, что при полной свободе действий, продавая картины в Америку, Германию и другие страны, где сохранился интерес к искусству, можно выручить значительно больше, чем если продавать их в Англии. Патриотизм высокородного владельца, сказал он, всем хорошо известен, но в его коллекции что ни картина, то уникам. Высокородный владелец набил этим мнением свою трубку и раскуривал его одиннадцать месяцев. На двенадцатом месяце он прочитал еще одну речь того же государственного мужа и дал агенту телеграмму: «Предоставить Бодкину свободу действий». Вот тогда у Бодкина и зародилась идея, спасшая Гойю и еще два уникама для отечества высокородного владельца. Одной рукой Бодкин выдвигал картины на иностранные рынки, а другой составлял список частных английских коллекционеров. Добившись в заморских странах предложения наивысшей цены, какой, по его мнению, можно было ожидать, он предлагал картину и установленную цену вниманию отечественных коллекционеров, приглашая их из чувства патриотизма заплатить больше. В трех случаях (включая случай с Гойей) из двадцати одного эта тактика увенчалась успехом. Спросят, почему? Один из коллекционеров был пуговичным фабрикантом и, заработав большие деньги, желал, чтобы его супруга именовалась леди Баттонс³¹. Посему он купил за высокую цену один из уникамов и преподнес его в подарок государству. Это, как поговаривали его друзья, было «одной из ставок в его большой игре». Другой коллекционер ненавидел Америку и купил картину-уникам, «чтобы насолить распроклятым янки». Третьим коллекционером был Сомс, который, будучи, пожалуй, трезвее прочих, купил картину после поездки в Мадрид, так как пришел к убеждению, что Гойя пока что идет в гору. Сейчас, правда, он был не слишком в моде, но слава его еще впереди; и, глядя на этот портрет, напоминавший своей прямоотой и резкостью Гогарта³² и Манэ³³, но отличавшийся особенной — острой и странной — красотой рисунка. Сомс все больше утверждался в

²⁹ ...палата лордов в 1909 году подверглась жестоким нападкам...— Имеется в виду конституционный конфликт 1909—1910 гг. между палатой общин, где большинство принадлежало либералам, и палатой лордов — цитаделью консерваторов. Конфликт возник вследствие беспрецедентной попытки лордов отклонить бюджет, внесенный правительством либералов; спор закончился лишением палаты лордов права налагать «вето» на законы, касающиеся денежных средств.

³⁰ ...прочитав речь некоего государственного мужа...— Вероятно, имеется в виду Ллойд Джордж (1863—1945), который во время конституционного кризиса произносил «ультралевые» речи.

³¹ Buttons — по-английски «пуговицы».

³² Хогарт Уильям (1697—1764) — английский художник-сатирик.

³³ Мане Эдуар (1832—1883) — французский художник, один из основоположников импрессионизма в живописи

уверенности, что не сделал ошибки, хоть и уплатил большую цену — самую большую, какую доводилось ему платить. А рядом с портретом висела копия с фрески «La Vendimia». Вот она — маленькая проказница — глядит на него с полотна сонномечтательным взглядом, тем взглядом, который Сомс любил у нее больше всякого другого, потому что он сообщал ему чувство сравнительного спокойствия.

Он всё ещё глядел на картину, когда запах сигары зашекетал ему ноздри и за спиной послышался голос:

— Итак, мистер Форсайт, что вы думаете делать с этой маленькой коллекцией?

Противный бельгиец, мать которого — точно не довольно и фламандской крови — была армянкой! Преодолев невольное раздражение, Сомс спросил:

— Вы знаете толк в картинах?

— Да, у меня у самого собрано кое-что.

— Есть у вас пост-импрессионисты?

— Да-а! Я их люблю.

— Каково ваше мнение об этой вещи? — сказал Сомс, указывая на Гогэна.

Мсье Профон выставил вперёд нижнюю губу и заострённую бородку.

— Очень недурно, — сказал он. — Вы хотите это продать?

Сомс подавил инстинктивно намернувшееся: «Нет, собственно», — ему не хотелось прибегать с иностранцем к обычным уловкам.

— Да, — сказал он.

— Сколько вы за неё хотите?

— То, что отдал сам.

— Отлично, — сказал мсье Профон. — Я с удовольствием возьму у вас эту маленькую картинку. Пост-импрессионисты очень нежизненны, но они забавны. Я не слишком интересуюсь картинами, хотя у меня есть кое-что, совсем маленькое собрание.

— А чем вы интересуетесь?

Мсье Профон пожал плечами.

— Жизнь очень напоминает драку мартышек из-за пустого ореха.

— Вы молоды, — сказал Сомс.

Профону, видно, хочется обобщений, но, право же, он мог бы и не напоминать, что собственность утратила свою былую прочность.

— Я ни о чём не тревожусь, — отвечал с улыбкой мсье Профон. — Мы рождаемся на свет и умираем. Половина человечества голодает. Я кормлю маленькую ораву ребятишек на родине моей матери; но что в том пользы? Я мог бы с тем же успехом бросать деньги в реку.

Сомс смерил его взглядом и вернулся к своему Гойе. Непонятно было, чего хочет бельгиец.

— На какую сумму выписать мне чек? — продолжал мсье Профон.

— Пятьсот, — коротко сказал Сомс, — но я не хотел бы навязывать вам картину, если она так мало вас интересует.

— О, не беспокойтесь, — ответил мсье Профон. — Я буду счастлив приобрести эту вещь.

И он выписал чек вечным пером с тяжёлой золотой отделкой. Сомс тревожно наблюдал за процедурой. Каким образом узнал этот господин, что он хочет продать Гогэна? Мсье Профон протянул ему чек.

— Англичане очень странно относятся к картинам. И французы тоже, да и мои соотечественники. Очень странно.

— Я вас не понимаю, — деревянным голосом сказал Сомс.

—словно это шляпы, — загадочно произнёс мсье Профон. — Большие и маленькие, кверху поля или книзу — все по моде. Очень странно.

Он улыбнулся и поплыл прочь из галереи, синий и крепкий, как дым его превосходной сигары.

Сомс принял чек с таким чувством, словно Профон поставил под вопрос истинную

ценность собственности. «Космополит», — думал он, наблюдая, как Профон и Аннет сходят с веранды и направляются к реке. Что нашла его жена в этом бельгийце? Сомс не понимал — разве что ей приятно поговорить на родном языке; и тотчас промелькнуло в его мыслях то, что Профон назвал бы «маленьким сомнением»: не слишком ли красива Аннет, чтобы безопасно расхаживать с подобным «космополитом»? Даже на таком расстоянии Сомс видел синий дымок сигары мсье Профона, клубившийся в ровном свете солнца; я его серые замшевые ботинки и серую фетровую шляпу: мсье изысканный щёголь. И видел он также, как быстро его жена повернула голову, так прямо сидевшую над соблазнительной шеей и плечами. Этот поворот шеи всегда казался Сомсу немного показным и каким-то опереточным — не вполне приличным для леди. Гуляющие шли по узкой дорожке в нижнем конце сада. К ним присоединился молодой человек во фланелевом костюме — верно, какой-нибудь воскресный гость, приехавший по реке. Сомс вернулся к своему Гойе. Он ещё смотрел на Флёр-виноградаршу, встревоженный новостью, которую сообщила ему Уиннфрид, когда голос его жены сказал:

— Мистер Майкл Монт, Сомс. Ты его приглашал посмотреть картины.

Тот бойкий молодой человек с выставки на Корк-стрит!

— Как видите, сэр, я к вам с налётом! Я живу всего в четырех милях от Пэнгбориа³⁴. Прекрасная погода, не правда ли?

Оказавшись лицом к лицу с результатами своей экспансивности, Сомс сощурил глаза на гостя. Губы у молодого человека были большие, изогнутые точно с них не сходила усмешка. И почему он не отрастит подлиннее остатки своих идиотских усиков, которые придают ему вид шута из мюзик-холла? Зачем современная молодёжь унижает свой класс этими щёточками на верхней губе или фатоватыми крошечными бакенбардами? Уф! Претенциозные кретины! Но в прочих отношениях Сомс нашёл гостя вполне приемлемым, фланелевый костюм его был безукоризненно чист.

— Рад вас видеть, — сказал он.

Молодой человек поглядел по сторонам, потом остановился, поражённый:

— Вот это картина!

Сомс вряд ли мог бы разобраться в тех смешанных чувствах, которые вспыхнули в нём, когда он увидел, что замечание относилось к копии Гойи.

— Да, — сухо сказал он, — это не Гойя. Это только копия. Я заказал её, потому что девушка с фрески напоминает мне мою дочь.

— Верно! Мне и то показалось, что я узнаю это лицо, сэр. Она здесь?

Откровенность молодого человека почти обезоружила Сомса.

— Она приедет после чая. Не хотите ли осмотреть картины?

И Сомс начал обход, никогда не надоедавший ему. Он не ждал большого понимания от человека, принявшего копию за подлинник, но, переходя от отдела к отделу, от периода к периоду, поражался откровенным и метким замечаниям Монта. Сам от природы пронизательный и даже чувствительный под маской сдержанности. Сомс недаром тридцать восемь лет уделил своей коллекционерской страсти, и его понимание картин не ограничивалось знанием их рыночной цены. Он являлся своего рода промежуточным звеном между художником и покупающей публикой. Искусство для искусства и всякая такая материя, конечно, пустая болтовня. Но эстетизм и хороший вкус необходимы. Если известное количество любителей, обладающих хорошим вкусом, признают вещь, то она приобретает твёрдую рыночную ценность, или, иными словами, становится «произведением искусства». Разрыва, в сущности, нет. И он так привык к овечьему стаду робких и незрячих посетителей, что не мог не заинтересоваться гостем, который, не колеблясь, говорил Мауве: «Эх, хороши стога» или о Якобе Марисе: «Да, не пожалел красок. Вот Маттейс Марис³⁵, тот

³⁴ Пэнгборн — небольшой город на реке Темзе, графство Беркшир, в западном направлении от Лондона..

³⁵ . Маттейс Мэрис (1839—1917) — голландский художник-пейзажист, брат Якоба Мэриса (см. прим. к с.

настоящий мастер, правда, сэръ? Его поверхность хоть копай лопатой». Но только когда молодой человек свистнул перед Уистлером³⁶ со словами: «Как вы думаете, сэръ, он когда-нибудь видел в натуре голую женщину?» — Сомс заметил!

— Кто вы сами, мистер Монт, если разрешите спросить?

— Я, сэръ? Раньше я думал сделаться художником, во этому помешала война. Там, в окопах, знаете ли, я тешился мечтой о бирже, чтобы было тепло и уютно и не слишком шумно. Но этому помешало заключение мира; на акциях сейчас далеко не уедешь, правда ведь? Я только год как демобилизован. Что вы мне посоветуете, сэръ?

— Есть у вас средства?

— Как сказать, — ответил молодой человек. — У меня есть отец. Я защищал его жизнь во время войны, так что теперь он обязан поддерживать мою жизнь. Хотя, конечно, возникает вопрос, оставят ли ему его собственность. Что вы на этот счёт думаете, сэръ?

Сомс улыбнулся бледной оборонительной улыбкой.

— Старика чуть ли не удар хватает, когда я говорю, что ему, может быть, придётся работать. Он, понимаете ли, землевладелец; роковая болезнь.

— Вот мой подлинный Гойя, — сухо сказал Сомс.

— Чёрт побери! Вот был гений! Я видел раз в Мюнхене одну вещь Гойи, от которой прямо обалдел: зловреднейшая старуха в роскошнейших кружевах³⁷. Да, этот не шёл навстречу вкусам публики. В своё время был, наверно, вроде бомбы; условностям от него досталось. Перед ним и Веласкес³⁸ бледнеет — вы не находите?

— Веласкеса у меня нет, — сказал Сомс.

Молодой человек посмотрел на него внимательно.

— Да, — сказал он, — такую роскошь могут позволить себе только государства да спекулянты. Почему бы всем обанкротившимся государствам не продать спекулянтам насильственным порядком своих Веласкесов, Тицианов и прочие шедевры, а потом издать закон, что всякий, кто владеет картиной старых мастеров (смотри прилагаемый список), обязан вывесить её в какой-либо национальной галерее? Пожалуй, стоило бы.

— Не сойти ли нам вниз, к чаю? — предложил Сомс.

Уши молодого человека словно опали, прижавшись плотнее к черепу. «Он не лишён такта», — подумал Сомс, выходя следом за ним из галереи.

Гойя с его сатирической необычайной любовью к деталям, его своеобразной линией и смелостью светотени мог бы в точности воспроизвести группу, собравшуюся внизу на веранде за чайным столом Аннет. Быть может, он один из всех художников мог бы отдать должное солнечным лучам, струившимся сквозь увитый плющом трельяж; матовой бронзе, старинному хрусталу, тонким ломтикам лимона в бледном янтаре чая; отдать должное самой Аннет, одетой в чёрные кружева, — в её красоте было что-то от белокурой испанки, хоть ей и не хватало одухотворённости женщин этого редкого типа; отдать должное седоволосой, затянутой в корсет степенности Уинифрид; седой и худощавой корректности Сомса; живому Майклу Монту, остроухому и остроглазому; смуглой, лениво улыбающейся, начинающей полнеть Имоджин; Просперу Профону, чья улыбка словно говорила: «Право, мистер Гойя, стоит ли изображать эту маленькую компанийку? », и, наконец, Джеку Кардигану, чьи невозмутимо сияющие глаза и полнокровный загар выдавали

10)

³⁶ Уистлер Джемс (1834—1903) — американский художник, поборник импрессионизма в Англии.

³⁷ ...зловреднейшая старуха в роскошнейших кружевах. — Речь идет о портрете испанской королевы Марии-Луизы, супруги испанского короля Карла IV.

³⁸ Веласкес (1599—1660) — испанский художник, один из величайших представителей реализма в живописи.

его руководящий принцип: «Я — англичанин и живу, чтобы быть здоровым».

— Странно, кстати сказать, что Имоджин, которая девушкой торжественно обещала однажды у Тимоти не выходить замуж за хорошего человека, потому что все они так скучны, — что эта Имоджин вышла замуж за Джека Кардигана, в котором здоровье настолько стёрло все следы первородного греха, что она могла бы удалиться на покой с десятью тысячами других англичан и не найти различия между ними и тем, кого она избрала разделять с нею ложе. «О, Джек здоров до ужаса! — говорила она про него к великой радости матери. — За всю свою жизнь он не проболел ни единого дня. Он проделал всю войну, не получив ни царапинки. Вы не представляете себе, до чего он здоров и жизнеспособен». И правда, он был настолько приспособлен к жизни, что не замечал, когда его жена флиртовала с другими мужчинами, что отчасти было весьма удобно. Однако она его любила, насколько можно любить спортивную машину, и любила двух Кардиганчиков, сделанных по его образцу. Её глаза лукаво сравнивали его сейчас с Проспером Профном; кажется, не было такой «маленькой» игры или спорта, которых мсье Профон не испробовал бы — от кеглей до охоты на акул — и которые не надоели бы ему. Имоджин мечтала иногда, чтобы они надоели также и Джеку, который продолжал играть и говорить об игре с увлечением школьницы, только что научившейся хоккею; она не сомневалась, что в возрасте дядюшки Тимоти Джек будет играть в детский гольф на ковре в её спальне и «утирать кому-нибудь нос».

Сейчас он рассказывал, как сегодня утром обставил у последней лунки профессионала-гольфера — прелестный человек, и очень неплохо играл; и как он после второго завтрака прошёл на вёслах до самого Кэвершема; рассказывая, он пробовал соблазнить Проспера Профона на партию в теннис после чая: спорт — полезная штука, делает человека жизнеспособным.

— Но зачем вам жизнеспособность? — сказал мсье Профон.

— Да, сэр, — проговорил Майкл Монт, — к чему вы хотите быть приспособленным в жизни?

— Джек, — радостно подхватила Имоджин, — к чему ты приспособлен?

Джек Кардиган глядел во все глаза и дышал здоровьем. Вопросы жужжали, как комары, и он поднял руку, как бы отмахиваясь от них. Во время войны он был, конечно, приспособлен к тому, чтобы убивать немцев; а теперь он или не знал, к чему, или же из скромности уклонялся от объяснения своих руководящих принципов.

— Но он прав, — сказал неожиданно мсье Профон, — нам ничего не осталось, как только приспособляться.

Это изречение, слишком глубокомысленное для воскресного чая, прошло бы без ответа, не будь здесь неугомонного Майкла Монта.

— Правильно! — воскликнул он. — Вот великое открытие, которым мы обязаны войне. Мы воображали, что прогрессируем, а теперь мы знаем, что только меняемся.

— К худшему, — с улыбкой сказал мсье Профон.

— Какой вы весёлый, Проспер, — прошептала Аннет.

— Идёмте на теннис! — сказал Джек Кардиган. — Вам нужно разогнать хандру. А вы играете, мистер Монт?

— С грехом пополам — гоняю мячи.

Сомс встал, побуждаемый подсознательной тревогой о будущем, определявшей всю его жизнь.

— Когда придет Флёр... — услышал он слова Джека Кардигана.

Да! Почему она не едет? Через гостиную, через холл и веранду он вышел на аллею и стоял, прислушиваясь, не зашуршит ли по гравию автомобиль. Было по-воскресному тихо; сирень щедро напоила воздух своим ароматом. Белые облака, как лебязьи перья, золотились на солнце. Остро вспомнился день, когда родилась Флёр и он мучительно ждал, а её жизнь и жизнь её матери колебались в его руках. Он спас её тогда, чтобы она стала цветком его жизни. А теперь!.. Неужели она непременно должна доставлять ему тревогу?.. Мучение и

тревогу? Не нравится ему, как сложились дела! Вечерней песней вторгся в его раздумье дрозд — большая, тяжёлая птица на той акации. Последние годы Сомс живо интересовался птицами в своём саду; нередко вдвоём с Флёр ходил он по дорожкам и наблюдал за ними — глаза у неё острые, как иголки, она знает каждое гнездо. Он увидел её собаку, пойнтера, улётшую на солнышке посреди аллеи, позвал: «Что, приятель, ты тоже ждёшь её?» Собака медленно подошла, недовольно виляя хвостом, и Сомс машинально потрепал её по шее. Собака, птица, сирень — всё было для него частицей Флёр, не больше и не меньше. «Я слишком её люблю, — думал он, — слишком люблю!» Он был похож на судовладельца, путившего в море незастрахованные корабли. Был снова незастрахован, как в те давние дни, когда, немой и ревнивый, блуждал в пустыне Лондона, томясь по той женщине — по своей первой жене, матери этого проклятого мальчишки. Ага, вот и автомобиль! Но везёт только вещи, а где же Флёр?

— Мисс Флёр идёт пешком, сэр, по дороге вдоль реки.

Пешком всю дорогу, несколько миль? Сомс воззрился на шофёра. По лицу слуги начала расплываться улыбка. Чего он ухмыляется? Сомс тотчас отвернулся со словами: «Отлично, Симз!» — и вошёл в дом. Снова поднялся он в галерею к своим картинам. Отсюда открывался вид на реку, и Сомс не отводил глаз от дорожки, забывая, что Флёр может появиться на ней не ранее как через час. Пошла пешком! И шофёр ухмыляется почему-то! Тот мальчишка... Он резко отвернулся от окна. Не может он за ней шпионить! Если она желает скрывать от него свои тайны, пусть скрывает; шпионить он не станет. В сердце его была пустота, и горечь подступила к самому рту. Отрывистые выкрики Джека Кардигана, гоняющего мячи, да смех молодого Монта вторгались в тишину. Сомс лелеял надежду, что они там загоняют Профона. А девушка на «La Vendimia» стояла подбоченясь, и мечтательно-сонные её глаза смотрели мимо него. «Я делал для тебя всё, что мог, — думал он, с тех дней, когда ты была ростом не выше моего колена. Ты... ты не захочешь причинить мне боль!»

Но девушка Гойи не отвечала, сверкая красками, едва начинавшими блекнуть. «В этом нет настоящей жизни, — подумал Сомс. — Почему она не идёт?»

Х. ТРИО

В Уонсдоне, у подножия Меловых гор, конец недели, превратившись в девять дней, до предела натянул переплетённые нити между четырьмя Форсайтами из третьего, или, по другому счёту, из четвёртого поколения. Никогда ещё Флёр не была так fine, Холли так наблюдательна, Вэл так поглощён своими конюшнями, Джон так молчалив и так взволнован. Сведения по сельскому хозяйству, которые он приобрёл за истёкшую неделю, можно было бы взять на кончик кожа и лёгким дуновением пустить по ветру. По природе своей глубоко ненавидя всякую интригу и в своём преклонении перед Флёр считая «ребяческим вздором» необходимость скрываться, он досадовал и бунтовал, но всё же подчинялся, по мере возможности вознаграждая себя в те редкие минуты, когда оставался с нею вдвоём. В четверг, когда они, переодевшись к обеду, стояли рядом в гостиной в амбразуре окна. Флёр сказала:

— Джон, я еду домой в воскресенье, поездом три сорок, с Пэджюгтонского вокзала; если в субботу тебе нужно навестить своих, ты мог бы в воскресенье приехать, проводить меня, а потом вернуться сюда последним поездом. Ведь тебе всё равно нужно побывать дома?

Джон кивнул головой.

— Что угодно, лишь бы побыть с тобою, — сказал он, — но почему я должен делать вид, точно...

Флёр провела мизинцем по его ладони.

— У тебя нет чутья, Джон. Ты должен предоставить все мне. С нашими родными дело обстоит очень серьёзно. Нам нужно соблюдать тайну, если мы хотим быть вместе.

Дверь отворилась, и Флёр добавила громко:

— Джон, ты просто болван.

В груди Джона точно что-то перевернулось: невыносимо было притворяться, скрывать чувство такое естественное, такое всеподавляющее и сладкое.

В пятницу, около одиннадцати часов вечера, Джон уложил свои вещи и свесился в окно, полугрустно, полу радостно замечтавшись о Пэддингтоне, когда услышал лёгкий стук в дверь как будто ногтем. Он вскочил и прислушался, Снова тот же звук. Да, несомненно ноготь! Джон открыл. В комнату вошло прелестное видение.

— Я хотела показать тебе мой маскарадный наряд, — сказала видение и стало в позу около кровати.

Джон, затаив дыхание, прислонился к двери. На голове у видения была белая кисея; белая косынка лежала вокруг обнажённой шеи на винно-красном платье с пышными сборами у гибкой талии. Девушка подбоченилась одной рукой, другая рука была поднята под прямым углом и держала веер, касавшийся затылка.

— Вместо веера должна быть корзина винограда, — прошептало видение, но здесь у меня её нет. Это мой костюм по Гойе. Поза взята с картины. Нравится тебе?

— Это — сон!

Видение сделало пируэт.

— Потрогай, посмотри.

Джон стал на колени и почтительно притронулся к подолу.

— Виноградный цвет, — раздался шёпот, — «La Vendimia» — сбор винограда.

Пальцы Джона с двух сторон легко коснулись её талий; он поднял глаза, полные влюблённого восторга.

— О Джон! — прошептало видение, нагнулось, поцеловало его в лоб. Опять сделало пируэт и, скользнув за дверь, исчезло.

Джон стоял на коленях, голова его упала на постель. Сколько времени пробыл он в этом положении, он и сам не знал. Стук ногтем в дверь, шаги, шуршание юбок, как во сне, не смолкали; и перед его сомкнутыми глазами стояло видение и улыбалось ему и шептало, и медлил в воздухе слабый запах нарцисса. А на лбу, в том месте, где его поцеловали, держался лёгкий холодок, словно от прикосновения цветка. Любовь наполняла его душу, любовь юноши к девушке, любовь, которая так мало знает и так много таит надежд, которая ни за что на свете не спустится с высот и должна превратиться со временем в сладкое воспоминание, испепеляющую страсть, скучный брак или, единожды на много случаев, — в сбор винограда, обильного и сладкого, с румянцем заката на гроздьях.

И здесь и в другом месте довольно было сказано о Джоне Форсайте, чтобы показать, какое большое расстояние лежало между ним и его прапрадедом, первым Джолионом, владельцем приморской фермы в Дорсете. Джон был чувствителен, как девушка, — чувствительней девяти из десяти современных девушек; силой воображения он не уступал «несчастненьким» своей сводной сестры Джун; и, как сын своего отца и своей матери, он, естественно, был впечатлителен и привязчив. И всё же в самых глубинах его существа было нечто от старого основателя их рода — тайное упорство души, боязнь выказать свои чувства, твёрдая решимость не признавать себя побеждённым. Впечатлительным и привязчивым мальчишкам с богатым воображением обычно трудно приходится в школе, но Джон инстинктивно скрывал подлинную свою природу и был среди товарищей лишь в меру несчастлив. До сих пор он только с матерью был совершенно откровенен и естествен; когда в субботу он ехал домой в Робин-Хилл, на сердце у него было тяжело, потому что Флёр сказала ему, что он не должен быть откровенным и естественным с той, от кого он никогда ничего не скрывал, не должен даже ей рассказывать про их вторичную встречу, если только не убедится, что ей это известно и так. Ему казалось это до того невыносимым, что он готов был дать телеграмму и под каким-нибудь предлогом остаться в Лондоне. И первое, что он услышал от матери, было:

— Итак, ты встретил там нашу маленькую приятельницу из кондитерской, Джон.

Какова сна при более близком знакомстве?

С облегчением и с ярким румянцем на щеках Джон ответил:

— О, она очень славная, мама.

Она локтем прижала его руку.

Джон никогда ещё так не любил свою мать, как в эту минуту, опровергавшую, по-видимому, опасения Флёр и возвратившую его душе свободу. Он повернул голову и посмотрел на мать, но что-то в её улыбающемся лице что-то такое, что, может быть, лишь он один мог уловить, — остановило закипавшие в нём слова. Может ли страх сочетаться с улыбкой? Если да, то на её лице он прочёл страх. И совсем иные слова сорвались с губ Джона: о сельских работах, о Холли, о Меловых горах. Он говорил быстро, ожидая, что она сама переведёт разговор на Флёр. Но этого не случилось. И отец его также не упомянул о девушке, хотя и ему известно было, конечно, об их встрече. Как обкрадывало, как калечило действительность это умалчивание о Флёр, когда он был весь полон ею и когда мать его вся полна была своим Джоном, а его отец весь полон его матерью! Так провели они втроем субботний вечер.

После обеда мать села за рояль; она, казалось, нарочно играла его самые любимые вещи, и он сидел, обняв руками одно колено и позабыв пригладить взъерошенные волосы. Он глядел на мать, пока она играла, но видел Флёр — Флёр в озарённом луною яблоневом саду. Флёр над залитой солнцем меловой ямой. Флёр в её фантастическом наряде, — вот она покачивается, шепчет, склоняется над ним, целует в лоб. Слушая, он на минуту совсем забыл о себе и взглянул на отца, сидевшего в другом кресле. Почему у отца такие глаза, такое грустное, непонятное выражение? С чувством смутного раскаяния Джон встал и пересел на ручку кресла, в котором сидел отец. Отсюда он не мог видеть его лица; и снова увидел Флёр — в белых и тонких руках матери, скользивших по клавишам, в профиле её лица, в её серебряных волосах и в глубине комнаты у открытого окна, за которым шагала майская ночь.

Когда Джон поднялся к себе, чтобы лечь спать, мать пришла к нему в комнату. Она остановилась у окна и сказала:

— Удивительно разрослись эти кипарисы, которые посадил твой дедушка. При свете месяца они мне кажутся всегда особенно прекрасными. Мне жаль, что ты не знал своего дедушку, Джон.

— Когда ты выходила замуж за папу, он — был ещё жив? — спросил неожиданно Джон.

— Нет, дорогой; он умер в тысяча восемьсот девяносто втором году очень старым, восьмидесяти пяти лет, если не ошибаюсь.

— Папа похож на него?

— Похож немного, но тоньше и не такой внушительный.

— Да, я это знаю по портрету дедушки. Кто его писал?

— Один из «несчастненьких» нашей Джун; но портрет неплохой.

Джон осторожно взял мать под руку.

— Мама, расскажи мне о ссоре в нашей семье.

Он почувствовал, как задрожала её рука.

— Нет, дорогой; это пусть когда-нибудь расскажет тебе отец, если найдёт возможным.

— Значит, ссора была серьёзная? — пресекающим голосом сказал Джон.

— Да.

В наступившем молчании ни мать, ни сын не знали, что дрожало сильнее — локоть ли, или сжимавшие его пальцы.

— Некоторые люди, — сказала мягко Ирэн, — находят, что луна на ущербе имеет злобный вид; а для меня она всегда пленительна. Посмотри на тени кипарисов. Джон, папа говорит, что мы с тобою можем поехать на два месяца в Италию. Хочешь?

Джон выпустил её локоть, и рука его повисла: так остры и так смутны были его переживания. Ехать с матерью в Италию! Две недели назад он лучшего и не желал бы; а

теперь это наполнило его отчаянием; что-то подсказывало ему, что неожиданное предложение сделано в связи с Флёр. Он проговорил запинаясь:

— О, конечно; но только, право, не знаю... Как же, ведь я только что принялся за дело? Мне хотелось бы подумать.

Её голос отозвался холодно и ласково:

— Да, милый, подумай. Но лучше теперь, чем когда ты возьмёшься всерьёз за сельское хозяйство. С тобою, в Венеции — как было бы хорошо!

Джон обхватил её за талию, ещё гибкую и упругую, точно у девушки.

— А как же ты оставишь папу одного? — сказал он робко, чувствуя себя виноватым.

— Папа сам предложил; он считает, что ты должен посмотреть хотя бы Италию, прежде чем остановишься на чем-нибудь определённом.

Чувство вины умерло в Джоне: он знал — да, знал, — что его отец и мать говорили не откровеннее, чем он сам. Его хотят удалить от Флёр. Сердце его ожесточилось. И, словно понимая происходившее в нём, мать сказала:

— Спокойной ночи, дорогой. Выспись хорошенько и подумай. Но, право, было бы чудесно!

Она прижала его к груди так порывисто, что он не мог разглядеть её лица. Он стоял, чувствуя себя так, как, бывало, в детстве, когда напроказит; ему было больно оттого, что он не испытывал сейчас прилива любви к ней, и оттого, что сознавал свою правоту.

А Ирэн, помедлив минуту у себя, прошла в гардеробную, отделявшую её спальню от спальни мужа.

— Ну как?

— Он подумает, Джолион.

Наблюдая усталую улыбку на её губах, Джолион сказал спокойно:

— Ты бы лучше позволила мне рассказать ему все, и мы бы с этим покончили. В конце концов, Джон по своим инстинктам настоящий джентльмен. Он только должен понять...

— Только! Он не поймёт; это невозможно.

— Я в его возрасте понял бы.

Ирэн схватила его за руку.

— Ты всегда был большим реалистом, чем Джон; и ты никогда не был таким невинным.

— Это правда, — сказал Джолион. — Но не странно ли? Ты и я, мы могли бы, не стыдясь, рассказать нашу историю всему свету; а перед собственным нашим мальчиком мы немеем.

— Нам было безразлично, осуждает нас свет или нет.

— Джон не может нас осудить!

— Может, Джолион! Он влюблён, я чувствую, что он влюблён. И он скажет самому себе: «Моя мать вышла когда-то замуж без любви! Как она могла?» Ему это покажется преступным, да так оно и было!

Джолион погладил её руку, и улыбка искривила его губы.

— Ах, зачем только мы рождаемся молодыми? Если б мы рождались старыми и с каждым годом молодели бы, мы понимали бы, как что происходит, и отбросили бы нашу проклятую нетерпимость. Но знаешь, если мальчик в самом деле влюблён, никакая Италия не заставит его забыть. Мы, Форсайты, упрямый народ; и он поймёт чутьём, зачем его отсылают. Одно лишь может его излечить — то потрясение, которое он испытает, если ему все рассказать.

— И всё-таки дай мне попробовать.

Джолион молчал. В этом выборе между дьяволом и морской пучиной, между болью страшного разоблачения и горем двухмесячной разлуки с женой он втайне больше доверял дьяволу, чем морю; но если Ирэн предпочитает море, он должен примириться. В конце концов, это будет для него подготовкой к той разлуке, которой нет конца. Он обнял её, поцеловал в глаза и сказал:

— Как хочешь, любимая.

XI. ДУЭТ

«Маленькое волнение» любви поразительно разрастается, когда ей грозит опасность. Джон прибыл на Пэдингтонский вокзал за полчаса до срока и, как ему казалось, с опозданием на добрую неделю. Он стоял около условленного книжного киоска в толпе воскресных дачников, и даже грубая шерсть клетчатого костюма не могла скрыть взволнованное биение его сердца. Он читал названия романов на прилавке и наконец купил один из них, чтобы избежать косога взгляда продавца. Роман назывался «Сердце стези!», что должно было иметь какой-то смысл, хотя, по всей видимости, не имело. Купил он, кроме того, «Зеркало дамы» и «Земледельца». Каждая минута длилась час и полна была воображаемых ужасов. Когда прошло девятнадцать таких минут, Джон увидел Флёр в сопровождении носильщика, катившего багаж. Она подошла быстро, спокойно. Она поздоровалась с ним, как с братом.

— Первый класс, — сказала она носильщику, — угловые места, одно против другого.

Джон дивился её поразительному самообладанию.

— Нельзя ли нам занять целое купе? — спросил он шёпотом.

— Не выйдет. Поезд с частыми остановками. Разве что после Мэйденхеда. Держись непринуждённо, Джон.

Джон скривил лицо в хмурую гримасу. Они вошли в купе — и с ними двое каких-то болванов, черт бы их побрал! От смущения он дал на чай носильщику уйму денег. Подлец не заслужил и пенни за то, что привёл их сюда, да ещё с таким видом, точно все понял!

Флёр спряталась за «Зеркало дамы». Джон в подражание ей — за «Земледельца». Поезд тронулся. Флёр уронила «Зеркало дамы» и наклонилась вперёд.

— Ну? — сказала она.

— День тянулся, точно две недели!

Она кивнула в знак согласия, и у Джона сразу просветлело лицо.

— Держись непринуждённо, — шепнула Флёр и прыснула со смеху.

Джон почувствовал обиду. Как может он держаться непринуждённо, когда над ним нависла угроза Италии? Он намеревался сообщить ей новость осторожно, но тут выложил сразу:

— Меня хотят на два месяца отправить с мамой в Италию!

Флёр опустила ресницы, чуть побледнела и прикусила губу.

— О! — сказала она.

Вот и все, но этого было довольноно.

Это «О!» было как быстро отдёргнутая рука в фехтовании при подготовке к неожиданному выпаду. Выпад тотчас последовал.

— Ты должен ехать!

— Ехать? — повторил Джон придушенным голосом.

— Конечно!

— Но — на два месяца! Это ужасно!

— Нет, — сказала Флёр, — на полтора. Ты меня тем временем забудешь. Мы встретимся в Национальной галерее на следующий день после вашего приезда.

Джон засмеялся.

— А что, если ты забудешь меня? — пробормотал он под грохот колёс.

Флёр покачала головой.

— Какой-нибудь другой мерзавец... — проговорил Джон.

Она носком придавила ему ногу.

— Никаких других мерзавцев! — сказала она, поднимая «Зеркало дамы».

Поезд остановился; двое попутчиков сошли, вошёл один новый.

— «Я умру, — думал Джон, — если мы так и не останемся одни».

Поезд покотился дальше. Флёр опять наклонилась вперёд.

— Я ни за что не отступлю, — сказала она, — а ты?

Джон горячо тряхнул головой.

— Никогда! — воскликнул он. — Ты будешь мне писать?

— Нет. Но ты можешь писать мне — в мой клуб.

У неё свой клуб... — удивительная девушка!

— Ты пробовала нажать на Холли? — прошептал он.

— Да, но ничего не выведала. Я боялась нажимать слишком сильно.

— Что бы это могло быть? — воскликнул Джон.

— Что бы ни было, я узнаю.

Последовало долгое молчание, которое нарушила, наконец Флёр:

— Мэйденхед, держись. Джон!

Поезд остановился. Единственный попутчик вышел. Флёр опустила шторы на окне.

— Живо! — сказала она. — Смотри в своё окно! Сделай самое зверское лицо, какое только можешь.

Джон раздул ноздри и нахмурился; он отроду, кажется, так не хмурился! Одна старая дама отступила, другая — молоденькая — взялась за ручку двери. Ручка повернулась, но дверь не подалась. Поезд тронулся, молодая дама бросилась к другому вагону.

— Какое счастье! — воскликнул Джон. — Замок заупрямился.

— Да, — сказала Флёр, — я придержала дверь.

Поезд шёл. Джон упал на колени.

— Следи за дверью в коридор, — прошептала Флёр, — и живо!

Их губы встретились. И хотя поцелуй длился всего каких-нибудь десять секунд, душа Джона покинула его тело и унеслась в такую даль, что когда он снова сидел против этой спокойной и сдержанной девицы, он был бледен как смерть. Он услышал её вздох, и этот звук показался ему самой дорогою вестью — чудесным признанием, что он кое-что значит для неё.

— Шесть недель совсем не долго, — сказала она, — а тебе нетрудно будет свести поездку к шести неделям: — надо только не терять голову, когда будешь там, и делать вид, что не думаешь обо мне.

Джон обомлел.

— Как ты не понимаешь, Джон! Их необходимо в этом убедить. Если мы не исправимся к твоему приезду, они оставят свои причуды. Жаль только, что вы едете в Италию, а не в Испанию. В Мадриде на картине Гойи есть девушка, папа говорит, что она похожа на меня. Но она совсем не похожа — я знаю, у нас есть копия с неё.

Для Джона это было словно луч солнца, пробившийся сквозь туман.

— Мы поедem в Испанию, — сказал он. — Мама не станет возражать, она никогда не была в Испании. А мой отец очень высокого мнения о Гойе.

— Ах да, ведь он художник?

— Он пишет только акварелью, — честно признался Джон.

— Когда мы приедem в Рэдинг, Джон, ты выйдешь первым и подождешь меня у Кэвершемского шлюза. Я отправлю машину домой, и мы пойдём пешком по дорожке вдоль реки.

Джон в знак благодарности поймал её руку, и они сидели молча, забыв о мире и одним глазом косясь на коридор. Но поезд бежал, казалось, с удвоенной скоростью, и шум его почти заглушало бурное дыхание Джона.

— Подъезжаем, — сказала Флёр. — Береговая дорожка возмутительно открытая. Ещё разок! О, Джон, не забывай меня!

Джон ответил поцелуем. И вскоре можно было видеть, как разгорячённого вида юноша выскочил из вагона и торопливо зашагал по платформе, шаря по карманам в поисках билета.

Когда наконец Флёр догнала его на берегу, немного дальше Кэвершемского шлюза, он сделал над собой усилие и привёл себя в относительное равновесие. Если разлука неизбежна,

что ж, он не будет устраивать сцен. Ветер с ясной реки переворачивал наизнанку листья раки, и они серебрились на солнце и провожали двух заговорщиков слабым шелестом.

— Я объяснила нашему шофёру, что меня укачало в поезде, — сказала Флёр. — У тебя был достаточно естественный вид, когда ты выходил на платформу?

— Не знаю. Что ты называешь естественным?

— Для тебя естественно выглядеть сосредоточенно счастливым. Когда я увидела тебя в первый раз, я подумала, что ты ни капли не похож на других людей.

— В точности то же я подумал о тебе. Я сразу понял, что не буду любить никого, кроме тебя.

Флёр засмеялась.

— Мы до нелепости молоды. А юные грёзы любви несовременны, Джон. К тому же они поглощают массу времени и сил. Сколько весёлых похождений предстоит тебе в жизни! Ведь ты ещё и не начал; даже стыдно, право. И я; Как подумаешь...

На Джона нашло смущение. Как она может говорить такие вещи сейчас, перед самой разлукой!

— Если ты так говоришь, я не могу уехать. Я скажу маме, что должен работать. Подумай, что творится в мире.

— Что творится?

Джон глубоко засунул руки в карманы.

— Да, именно: подумай, сколько людей умирают с голоду.

Флёр покачала головой.

— Нет, я не желаю портить себе жизнь из-за ничего.

— Из-за ничего! Но положение отчаянное, и ведь нужно как-то помочь.

— Ох, всё это я знаю. Но людям нельзя помочь, Джон; они безнадежны. Только их вытаскают из ямы — они тотчас лезут в другую. Смотри, они все ещё дерутся, строят козни, борются, хотя ежедневно умирают кучами. Идиоты!

— Тебе их не жалко?

— Жалко? Конечно, жалко, но я не намерена из-за этого страдать: что в том пользы?

Они замолчали, взволнованные: перед каждым впервые обнажилась на мгновение природа другого.

— По-моему, люди — скоты и идиоты, — упрямо повторила Флёр.

— По-моему, они просто несчастные, — сказал Джон.

Между ними словно произошла ссора в этот высокий и страшный час, когда в последних просветах между ракетами им уже виделась разлука.

— Ладно, ступай спасай своих несчастных и не думай обо мне.

Джон застыл на месте. На лбу у него проступила испарина. Он весь дрожал; Флёр тоже остановилась и хмуро глядела на реку.

— Я должен хоть во что-нибудь верить, — сказал Джон в смертельной тоске. — Все люди созданы, чтобы наслаждаться жизнью.

Флёр засмеялась.

— Да, но ты сам-то смотри не упусти своё. Впрочем, может быть, по твоим понятиям, наслаждение заключается в том, чтобы мучить самого себя. Таких немало, что и говорить.

Она была бледна, глаза её стали темнее, губы тоньше. Флёр ли это смотрела на воду? У Джона явилось чувство нереальности, точно он переживает сцену из романа, где влюблённому приходится выбирать между любовью и долгом. Но вот она оглянулась на него. Ничего не могло быть упоительней этого быстрого взгляда. Он подействовал на Джона, как натянутая цепь на собаку, — заставил его рвануться к девушке, виляя хвостом и высунув язык.

— Нечего нам глупить, — сказала она, — времени слишком мало. Смотри, Джон, отсюда тебе будет видно, где я переправлюсь через реку. Вон там, за поворотом, у опушки леса.

Джон увидел конёк крыши, две-три дымовые трубы»; заплату стены между деревьями

— и у него упало сердце.

— Мне нельзя больше мешкать. Лучше не заходить дальше той изгороди, там слишком открыто. Дойдём до неё и распрощаемся.

Они молча шли бок о бок, рука об руку, приближаясь к изгороди, где полным цветом распустился боярышник, белый и розовый.

— Мой клуб — «Талисман», Стрэттон-стрит. Пикадилли. Туда можно писать совершенно безопасно, и я бываю там довольно аккуратно раз в неделю.

Джон кивнул. Лицо его застыло, глаза глядели на неподвижную точку в пространстве.

— Сегодня двадцать третье мая, — сказала Флёр, — девятого июля я буду стоять перед «Вакхом и Ариадной»³⁹ в три часа; придёшь?

— Приду.

— Если тебе так же скверно, как мне, значит все хорошо. Пусть пройдут эти люди!

Муж и жена, гулявшие с детьми, шли мимо по-воскресному чинно.

Последний из них прошёл наконец в калитку.

— Семейный жанр! — сказала Флёр и прислонилась к цветущей изгороди. Ветви боярышника раскинулись над её головой, и розовая кисть прильнула к щеке. Джон ревниво протянул руку, чтобы отстранить её.

— Прощай, Джон.

Мгновение они стояли, крепко сжимая Друг Другу руки, Потом губы их встретились в третий раз, а когда разомкнулись, Флёр отпрянула и, метнувшись за калитку, убежала. Джон стоял там, где она его оставила, прижимался лбом к той розовой кисти. Ушла! На вечность — на семь недель без двух дней! А он тут упускает последнюю возможность смотреть на неё! Он бросился к калитке. Флёр быстро шла, чуть не наступая на пятки отставшим детям. Она обернулась, помахала ему рукой, потом заторопилась вперёд, и медленно шествовавшая семья заслонила её от его глаз.

Вспомнилась смешная песенка:

Пэддингтонский вздох — самый горький, ох!
Испустил он похоронный пэддингтонский вздох...

И он в смятении заспешил назад к Рэдингскому вокзалу. Всю дорогу до Лондона и от Лондона до Уонсдона он держал на коленях раскрытое «Сердце стези!» и слагал в уме стихотворение, до того переполненное чувством, что строки нипочём не желали рифмоваться.

ХII. КАПРИЗ

Флёр спешила. Быстрое движение было необходимо: она опаздывает, и когда придёт, ей понадобится весь её ум. Уже миновала она острова, станцию, гостиницу и направилась к перевозу, когда увидела у берега лодку, в которой стоял во весь рост, держась за прибрежные кусты, какой-то молодой человек.

— Мисс Форсайт, — сказал он, — разрешите мне вас перевезти. Я нарочно для этого приехал.

Она в полном недоумении вскинула глаза.

— Ничего странного нет: я пил чай у ваших родителей.

И решил, что помогу сократить вам дорогу. Мне как раз по пути, я собрался назад в Пэнгборн⁴⁰. Меня зовут Монт. Я вас видел на выставке, помните? Когда ваш отец пригласил

³⁹ «Вакх и Ариадна» — картина Тициана, хранящаяся в лондонской Национальной галерее.

⁴⁰ Пэнгборн — небольшой город на реке Темзе, графство Беркшир, в западном направлении от Лондона.

меня посмотреть его картины.

— Ах да, — сказала Флёр, — помню — платок.

Она в долгу перед этим молодым человеком, он дал ей Джона; и, приняв протянутую руку, Флёр вошла в лодку. Ещё взволнованная, ещё не отдышавшись, она сидела молча; но спутник её отнюдь не молчал. Флёр в жизни не слышала, чтобы человек так много наговорил в такой короткий срок. Он сообщил ей свой возраст — двадцать четыре года; свой вес — десять стонов одиннадцать ⁴¹; своё местожительство — неподалёку; описал свои переживания под огнём и своё самочувствие во время газовой атаки; раскритиковал «Юнону», высказав кстати своё собственное понимание этой богини; упомянул о копии Гойи, добавив, что Флёр не слишком на неё похожа; дал беглый обзор экономического положения Англии; назвал мсье Профона — или как его бишь? — «милейшим человеком»; заметил, что у её отца есть несколько «весьма замечательных» картин, но есть и «ископаемые»; выразил надежду, что ему разрешат заехать за ней и покатать её по реке — на него вполне можно положиться; спросил её мнение о Чехове, высказал ей своё; изъявил желание пойти как-нибудь вместе на русский балет; признал имя Флёр Форсайт просто очаровательным; выругал своих родителей за то, что они в добавление к фамилии Монт дали ему имя Майкл; набросал портрет своего отца и сказал, что если она соскучилась по хорошей книге, то пусть прочтёт книгу Иова⁴²; его отец похож на Иова, когда у Иова ещё была земля.

— У Иова не было земли, — возразила Флёр, — у него были только стада овец и коров, и он кочевал с места на место.

— Жаль, что мой родитель не кочует с места на место, — подхватил Майкл Монт. — Не подумайте только, что я зарюсь на его землю. Скучно в наши дни владеть землёй. Вы не согласны?

— В нашей семье никто не владел землёй, — сказала Флёр. — У нас всякая другая собственность. Кажется, один из дядей моего отца в Дорсете владел когда-то сентиментальной фермой, потому что оттуда ведёт начало наш род; но она требовала больше расходов, чем давала ему благ.

— Он её продал?

— Нет, сохранил.

— Почему?

— Потому что никто не покупал.

— Тем лучше для старика.

— Нет, для него это было не лучше. Отец говорит, что его это огорчало. Его звали Суизин.

— Сногшибательное имя!

— А вы знаете, что мы не приближаемся, а удаляемся? Река, как-никак, течёт.

— Великолепно! — воскликнул Монт, рассеянно погружая в воду весла. Приятно встретить остроумную девушку.

— Ещё приятнее встретить просто умного молодого человека.

Монт поднял руку, точно собираясь выдрать себя за волосы.

— Осторожней! — вскричала Флёр. — Весло!

— Ничего. Весло пускай висит.

— Вы намерены грести или нет? — строго проговорила Флёр. — Я хочу домой.

— Но когда вы попадёте домой, я вас больше не увижу сегодня. Fini⁴³, как сказала француженка, прыгнув в кровать по окончании молитвы. Неужели вы не благословляете

⁴¹ ...десять стонов, одиннадцать фунтов... — около 70 кг.

⁴² ...пусть прочтет книгу Иова... — Имеется в виду библейская книга Иова.

⁴³ Конечно (фр.)

судьбу, что она дала вам француженку мать и такое имя, как ваше?

— Я люблю своё имя, но его мне дал отец. Мать хотела назвать меня Маргаритой.

— Что, конечно, было бы абсурдно. С вашего разрешения я буду звать вас Ф. Ф., а вы зовите меня М. М, Согласны? Это в духе современности.

— Я согласна на что угодно, только бы мне попасть домой.

Лодку качнуло — Монт слишком глубоко погрузил весло.

— Фу, какое свинство! — сказал он вместо ответа.

— Пожалуйста, гребите.

— Слушаюсь. — Он сделал несколько взмахов вёслами, глядя на неё с пламенной скорбью. — Вы же знаете, — воскликнул он, остановившись, — я приехал, чтоб увидеть вас, а не картины вашего отца!

Флёр встала.

— Если вы не будете грести, я выскочу и поплыву.

— Честное слово? Тогда мне придётся прыгнуть в воду вслед за вами.

— Мистер Монт, уже поздно, и я устала; прошу вас, доставьте меня на берег немедленно.

Когда она ступила на пристань в своём саду, гребец встал во весь рост и глядел на неё, схватившись за волосы обеими руками.

Флёр улыбнулась.

— Не надо! — вскричал неукротимый Монт. — Я знаю, вы хотите сказать: «Сгиньте, проклятые космы!»

Флёр обернулась и помахала ему рукой. «Прощайте, мистер М. М. », бросила она через плечо и скрылась среди розовых кустов. Она взглянула на свой браслет с часами, потом на окна дома. Странно, дом показался ей необитаемым. Седьмой час! Голуби слетались к своему насесту, я косые лучи солнца, задев голубятню и белоснежные их перья, разбивались о вершины деревьев. Стук бильярдных шаров доносился с веранды, выдавая присутствие Джека Кардигана; тихо шелестел листьями эвкалипт — экстравагантный южанин в этом старом английском саду. Флёр поднялась по ступенькам и хотела уже войти в дом, но остановилась, прислушиваясь к голосам из гостиной налево. Мать! И мсье Профон! Сквозь трельяж, отделявший бильярдную от веранды, донеслись слова: «Ну не буду, Аннет!»

Знает ли отец, что этот господин называет её мать «Аннет»? Приняв раз и навсегда сторону отца — как дети всегда принимают ту или иную сторону в семье, в которой создались натянутые отношения, — Флёр стояла в нерешительности. Говорила её мать своим тихим, вкрадчивым, металлическим голосом; Флёр уловила одно только слово «demain»⁴⁴ и ответ Профона: «Прекрасно». Флёр нахмурилась. Лёгкий звук нарушил молчание. Затем голос Профона сказал: «Я пойду немного прогуляюсь».

Флёр бросилась через стеклянную дверь в будуар. Профон вышел из гостиной на веранду и спустился в сад. Снова стук бильярдных шаров, замолкший было, словно нарочно, чтоб она могла слышать и другие звуки. Она встряхнулась, прошла в холл и отворила дверь в гостиную. Мать её, закинув ногу на ногу, сидела на диване между окнами; её голова покоилась на подушке, губы были полуоткрыты, веки полуопущены. Она была чрезвычайно красива.

— А! Это ты, Флёр! Отец начал уже беспокоиться.

— Где он?

— В своей галерее. Ступай к нему наверх.

— Что ты делаешь завтра, мама?

— Завтра? Еду в Лондон с тётёй Уинифрид.

— Так я и думала. Не купишь ли ты мне кстати совсем простенький зонтик?

— Какого цвета?

44 «Завтра» (фр.)

— Зелёный. Гости все, надеюсь, уезжают?

— Да, все. Ты останешься с отцом, чтоб он не заскучал. Ну, поцелуй меня.

Флёр прошла через всю комнату, наклонилась, приняла поцелуй в лоб и вышла, заметив мимоходом отпечаток тела на диванных подушках в другом углу. Бегом кинулась она наверх.

Флёр отнюдь не была дочерью старого покроя, требующей, чтобы родители подчиняли свою жизнь тем нормам, какие предписывались ей самой. Она притязала на право управлять своей жизнью, но не жизнью других; к тому же в ней уже заработало безошибочное чутьё на всё, что могло принести ей выгоду. В потревоженной домашней атмосфере у сердца, поставившего ставку на Джона, было больше шансов на выигрыш. Тем не менее, она чувствовала себя оскорблённой, как бывает оскорблён цветок порывом ветра. Если этот человек в самом деле целовал её мать, то это — это серьёзно, и отец должен знать. «Demain», «Прекрасно!» Мать едет завтра в город! Флёр зашла в свою спальню и высунулась в окно, чтобы охладить лицо, странно вдруг разгоревшееся. Джон теперь, верно, подходит к станции. Что знает папа о Джоне? Возможно, что все или почти что все.

— Она переделалась, чтобы казалось, точно она дома уже довольно давно, и побежала наверх, в галерею.

Сомс все ещё упрямо стоял перед холстом Альфреда Стивенса⁴⁵ — самой любимой своей картиной. Он не обернулся, когда открылась дверь, но Флёр поняла, что он слышал и что он обижен. Она тихо подошла к нему сзади, обняла его за шею и, перегнув голову через его плечо, прижалась щекой к его щеке. Такое вступление всегда приводило к успеху, но на этот раз не привело, и Флёр приготовилась к худшему.

— Явилась наконец, — сказал он каменным голосом.

— Это всё, что дочка услышит от злого отца? — тихонько сказала Флёр. И потёрлась щекой о его щеку.

Сомс попробовал покачать головой.

— Зачем ты заставляла меня так тревожиться, откладывая приезд со дня на день?

— Дорогой мой, ведь это было совсем невинно.

— Невинно! Много ты знаешь, что невинно, а что нет, Флёр уронила руки.

— Хорошо, дорогой; в таком случае ты, может быть, объяснишь мне все, как есть.

Откровенно и начистоту.

Она отошла и села на подоконник.

Её отец отвернулся от картины и пристально смотрел на носки своих ботинок. Он весь как будто посерел. «У папы изящные маленькие ноги», — подумала Флёр, уловив брошенный на неё украдкой взгляд.

— Ты единственное моё утешение, — сказал вдруг Сомс, — и ты так себя ведёшь.

У Флёр забилось сердце.

— Как, дорогой?

Опять Сомс бросил на неё беглый взгляд, в котором сквозила, однако, нежность.

— Ты понимаешь, о чём я говорю, — сказал он. — Я не хочу иметь ничего общего с той ветвью нашей семьи.

— Да, милый, но я не понимаю, почему я тоже не должна.

Сомс повернулся на каблуках.

— Я не вдаюсь в объяснение причин; ты должна мне верить, Флёр.

Тон, которым были сказаны эти слова, произвёл на Флёр впечатление, но она думала о Джоне и молчала, постукивая каблуком по дубовой обшивке стены. Невольно она приняла модную позу: ноги перекручены, подбородок покоится на согнутой кисти одной руки, другая рука, придавив грудь, поддерживает локоть; в её теле не оставалось ни одной линии, которая не была бы вывернута, и всё-таки оно сохраняло какую-то своеобразную грацию.

⁴⁵ Альфред Стивенс (1828—1906) — бельгийский художник.

— Мои пожелания были тебе известны, — продолжал Сомс, — и тем не менее ты пробыла там лишних четыре дня.

И этот мальчик, как я понимаю, провожал тебя сегодня.

Флёр не сводила глаз с его лица.

— Я тебя ни о чём не спрашиваю, — сказал Сомс, — не допытываюсь о твоих делах.

Флёр встала и склонилась в окно, подперев руками подбородок. Солнце закатилось за деревья, голуби сидели, притихшие, по карнизу голубятни; высоко взлетал стук бильярдных шаров, и слабые лучи света падали на траву из нижнего окна: Джек Кардиган зажёт электричество.

— Тебя успокоит, — вдруг сказала Флёр, — если я дам тебе обещание не видеться с ним — ну, скажем, ближайшие шесть недель?

Она не была подготовлена к странной дрожи в его пустом и ровном голосе.

— Шесть недель? Шесть лет, шестьдесят лет! Не обольщайся. Флёр, не обольщайся напрасно.

Флёр обернулась в тревоге.

— Папа, что же это такое?

Сомс подошёл к ней так близко, что ему стало видно её лицо.

— Скажи, — проговорил он, — ведь это каприз, ведь ты не так глупа, чтобы питать к нему

какие-нибудь чувства? Это было бы чересчур!

Он рассмеялся.

Флёр, никогда не слышавшая у него такого смеха, подумала: «Значит, причина серьёзная. О, что же это такое?» И, мягко взяв его под руку, она бросила:

— Да, конечно, каприз. Только я люблю свои капризы и не люблю твоих, дорогой.

— Моих! — горько сказал Сомс и отвернулся.

Свет за окном холодел и стелил по реке как мел белесые отблески. Деревья утратили все веселье окраски. Флёр ощутила вдруг голодную тоску по лицу Джона, по его рукам, по его губам: снова чувствовать его губы на своих губах! Крепко прижав руки к груди, она выдавила из горла лёгкий смешок.

— О-ля-ля! Маленькая неприятность, как сказал бы Профон. Папа, не люблю я этого человека.

Она увидела, как он остановился и вынул что-то из внутреннего кармана.

— Не любишь? Почему?

— Престо так: каприз!

— Нет, — сказал Сомс, — не каприз! — он разорвал пополам то, что держал в руке. — Ты права. Я тоже его не люблю!

— Смотри! — тихо проговорила Флёр. — Вот он идёт! Ненавижу его ботинки: они у него бесшумные.

В сумеречном свете двигалась фигура Проспера Профона. Он засунул руки в карманы и тихонько насвистывал в бородку; затем остановился и взглянул на небо, словно говоря: «Я невысокого мнения об этой маленькой луне».

Флёр отошла от окна.

— Он похож на жирного кота, правда? — прошептала она.

Громче донёсся снизу резкий стук бильярдных шаров, как будто Джек Кардиган перекрыл и кота, и луну, и капризы, и все трагедии своим победным кличем: «От красного в лузу!»

Мсье Профон снова зашагал, напевая в бородку дразнящий мотив. Откуда это? Ах да — из «Риголетто»: «Donna e mobile»⁴⁶, Что ещё мог он петь? Флёр стиснула локоть отца.

— Рыщет! — шепнула она, когда мсье Профон скрылся за углом дома.

⁴⁶ «Сердце красавицы склонно к измене» (итал.).

Унылый час, отделяющий день от ночи, миновал. Вечер настал — тихий, медлительный и тёплый; запах боярышника и сирени ластился к чистому воздуху над рекой. Распелся внезапно дрозд. Джон уже в Лондоне; он идёт по Хайдпарку, по мосту через Серпантайн, и думает о ней! Лёгкий шелест за спиною заставил её обернуться: отец опять рвал в руках бумагу. Флёр заметила, что то был чек.

— Не продам я ему моего Гогэна, — сказал он. — Не понимаю, что в нём находят твоя тётка и Имоджин.

— Или мама.

— Мама? — повторил Сомс.

«Бедный папа! — подумала Флёр. — Он никогда не кажется счастливым, по-настоящему счастливым. Я не хотела бы доставлять ему лишние огорчения, но, конечно, придётся, когда возвратится Джон. Ладно, на сегодня хватит!»

— Пойду переоденусь, — сказала она.

Когда она очутилась одна в своей спальне, ей вздумалось надеть маскарадный костюм. Он был сделан из золотой парчи; золотистые шаровары были туго перехвачены на щиколотках; за плечами висел пажеский плащ; на ногах — золотые туфельки, на голове — шлем с золотыми крылышками; и все — а в особенности шлем — усеяно было золотыми бубенчиками, так что каждый поворот головы сопровождался лёгким треньканьем. Флёр оделась; грустно стало ей, что Джон не может её видеть; показалось даже обидно, что на неё не смотрит хотя бы тот весёлый молодой человек, Майкл Монт. Но прозвучал гонг, и она сошла вниз.

В гостиной она произвела сенсацию. Уинифрид нашла её наряд «презабавным». Имоджин была в восхищении. Джек Кардиган объявил костюм «замечательным, очаровательным, умопомрачительным и сногшибательным». Мсье Профон с улыбкой в глазах сказал: «Славное маленькое платьице!» Мать, очень красивая в чёрных кружевах, поглядела на неё и ничего не сказала. Осталось только отцу наложить пробу здравого смысла:

— Зачем ты это надела? Ты пришла не на танцы.

Флёр повернулась на каблучках, и бубенчики затренькали.

— Каприз!

Сомс смерил её внимательным взглядом и, отвернувшись, предложил руку сестре. Джек Кардиган повёл её мать. Проспер Профон — Имоджин. Флёр пошла одна, звеня своими бубенчиками.

«Маленькая луна» вскоре зашла, спустилась майская ночь, мягкая и тёплая, окутывая своими красками виноградного цветенья и своими запахами капризы, интриги, страсти, желания и сожаления миллионов мужчин и женщин. Был счастлив Джек Кардиган, похрапывая в белое плечо Имоджин, жизнеспособный, как блоха; или Тимоти в своём «мавзоле», слишком старый для всего на свете, кроме младенческого сна. А многие, многие лежали, не смыкая глаз, или видели сны, и мир дразнил их во сне противоречиями и неполадками.

Упала роса, и цветы свернулись; паслись на заливных лугах коровы, языком нащупывая невидимую траву; и овцы лежали на меловых холмах неподвижно, словно камни. Фазаны на высоких деревьях в пэнгборнских, лесах, жаворонки в травяных своих гнёздах над заброшенной каменоломней близ Уонсдона, ласточки под карнизами дома в Робин-Хилле и лондонские воробьи — все в ласковом безветрии спокойно спали, не видя снов. Мэйфлайская кобыла, верно ещё не обжившаяся в новом жилище, почёсывалась на своей соломе; и редкие ночные охотники — летучие мыши, совы, бабочки — вылетали, сильные, в тёплую тьму; но мозг всей дневной природы погрузился в покой ночи, бесцветный и тихий. Одни только люди, оседлав чудных коньков любви или тревоги, жгли колеблющееся пламя мечты и мысли в эти часы одиночества.

Флёр, склонившись в окно, слышала приглушённый бой часов в холле двенадцать ударов, слышала мелкий плеск рыбы, внезапный шелест осиновых листьев в порывах ветра,

поднимавшегося над рекой, далёкий грохот ночного поезда и время от времени слышала звуки, которым в темноте не дашь названия, — мягкие и тёмные проявления несчётных эмоций человека и зверя, птицы и машины, или, может быть, усопших Форсайтов, Дарти, Кардиганов, затевающих ночную прогулку в тот мир, который некогда был своим для их духов, облечённых в плоть. Но Флёр не прислушивалась к этим звукам; дух её, отнюдь не стремившийся расстаться с телом, летал на быстрых крыльях от вагона железной дороги к боярышнику над плетнём, он тянулся за Джоном, гнался за его запретным образом, за звуком его голоса, который стал для неё табу. И она раздула ноздри, стараясь воссоздать — из полуночных речных ароматов то мгновение, когда рука Джона проскользнула между цветком боярышника и её щекой. Долго в причудливом наряде сидела она на окне, готовая в своей отваге спалить крылья о свечу жизни, — между тем как мотыльки, рвущиеся к лампе на её туалетном столе, крылом задевали её щёку, не зная, что в доме Форсайта не бывает открытого огня. Но под конец даже её стало клонить ко сну, и, забыв о своих колокольчиках, она проворно спрыгнула с подоконника.

В открытое окно своей комнаты, смежной со спальней Аннет, Сомс, тоже не спавший, услышал их тонкое лёгкое треньканье — звон, какой могли бы производить звезды или падающая с цветка роса, если б можно было слышать подобные звуки.

«Каприз! — подумал Сомс. — Нет, не могу рассказать. Она своенравная. Что мне делать? Флёр!»

Далеко за полночь он лежал без сна и думал свою думу.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I. МАТЬ И СЫН

Сказать, что Джон Форсайт сопровождал мать в Испанию неохотно, было бы не совсем точно. Он шёл, как благонравная собака пошла бы на прогулку со своей хозяйкой, оставляя на дорожке облюбованную баранью кость. Он шёл, оглядываясь на кость. Форсайты, если отнять у них баранью кость, обычно дуются. Но дуться было не в характере Джона. Он боготворил свою мать, и, как-никак, это было его первое путешествие. Италия превратилась в Испанию совсем легко — он только сказал: «Поедем лучше в Испанию, мама; в Италии ты бывала много раз; мне хотелось бы, чтобы мы оба увидели что-то новое».

В нём уживалась с наивностью хитрость. Он ни на минуту не забывал, что намерен свести намеченные два месяца к шести неделям, а потому не должен показывать виду, что ему этого хочется. Для человека, оставившего на дороге столь лакомую кость, одержимого столь навязчивой идеей, он оказался, право, неплохим товарищем по путешествию: не спорил о том, куда и когда ехать, был глубоко равнодушен к еде и вполне отдавал должное стране, такой чуждой для большинства путешественников-англичан. Флёр проявила глубокую мудрость, отказавшись ему писать: в каждое новое место он приезжал без жара и надежды и мог сосредоточить все своё внимание на ослах, на перезвоне колоколов, на священниках, патио, нищих, детях, на горластых петухах, на сомбреро, живых изгородях из кактуса, на старых белых горных деревьях, на козах и оливках, на зеленеющих равнинах, певчих птицах в крошечных клетках, на продавцах воды, закатах, дынях, мулах, на больших церквах и картинах и курящихся жёлто-серых горах чарующего края.

Уже наступила летняя жара, и мать с сыном наслаждались отсутствием соотечественников: Джон, в чьих жилах, насколько ему было известно, не текло ни единой капли неанглийской крови, часто чувствовал себя глубоко несчастным в присутствии земляков. Ему казалось, что они дельны и разумны и что у них более практический подход к вещам, чем у него самого. Он признался матери, что чувствует себя крайне необщественным животным так приятно уйти от всех, кто может разговаривать о том, о чём принято разговаривать между людьми. Ирэн ответила просто:

— Да, Джон, я тебя понимаю.

Одиночество дало ему несравненный случай оценить то, что редко понимают сыновья: полноту материнской любви. Сознание, что он должен что-то скрывать от неё, несомненно делало его преувеличенно чувствительным; а знакомство с южанами заставляло больше прежнего восхищаться самым типом её красоты, которую в Англии постоянно называли испанской; но теперь он узнал, что это не так: красота его матери не была ни английской, ни французской, ни испанской, ни итальянской — она своя, особенная! И, как никогда раньше, оценил он также чуткость своей матери. Он, например, не мог бы сказать, заметила ли она его увлечение фреской Гойи «La Vendimia» и знала ли она, что он возвращался украдкой к этой фреске после завтрака и потом ещё раз на следующее утро, чтобы добрых полчаса простоять перед ней во второй и в третий раз. То, конечно, была не Флёр, но виноградарша Гойи достаточно на неё походила, чтобы вызвать в сердце мальчика боль, столь милую влюблённым, напоминая то видение, что стояло в ногах его кровати, подняв руку над головой. Держать в кармане открытку с репродукцией этой фрески, постоянно её вытаскивать и любоваться ею стало для Джона одной из тех дурных привычек, которые рано или поздно открываются глазу наблюдателя, обострённому любовью, страхом или ревностью. А наблюдательность его матери обостряло и то, и другое, и третье. В Гренаде его поймали с поличным. Он сидел на раскалённой от зноя каменной скамье в саду на валу Альгамбры⁴⁷, откуда ему полагалось любоваться видом: он думал, что мать его засмотрелась на горшки с левкоями между стриженными акациями, как вдруг раздался её голос:

— Это твой излюбленный Гойя, Джон?

Он с некоторым опозданием удержал движение, какое мог бы сделать школьник, пряча шпаргалку, и ответил:

— Да.

— Бесспорно, очаровательная вещь. Но я предпочитаю «Quitasol»⁴⁸. Твой отец был бы, верно, без ума от Гойи; вряд ли он его видел, когда ездил в Испанию в девяносто втором году.

В 1892 году — за девять лет до его рождения! Какова была прежняя жизнь его отца и матери? Если они вправе интересоваться его будущим, то и он вправе интересоваться их прошлым. Он поднял глаза на мать. Но что-то в её лице — следы трудно прожитой жизни, таинственная печать волнений, опыта и страдания с его неизмеримой глубиной и дорого купленным покоем — обращало любопытство в дерзость. Его мать прожила, должно быть, удивительно интересную жизнь. Она так прекрасна и так... так... Но Джон не умел выразить того, что чувствовал в ней. Он встал и принялся глядеть вниз, на город, на равнину, сплошь покрытую зелеными, на кольцо сверкающих в закатном солнце гор. Жизнь его матери была, как прошлое этого старого мавританского города: наполненное большим содержанием, глубокое, отдалённое; перед нею его собственная жизнь кажется младенцем — безнадежная невинность и неведение! Говорят, в тех горах на западе, что поднимаются прямо из сине-зелёной равнины, как из моря, жили некогда финикияне⁴⁹ — тёмный, странный, таинственный народ — высоко над землёй! Жизнь матери была для него такой же тайной, как это финикийское прошлое для города в долине, где кричали петухи и где изо дня в день

⁴⁷ . Альгамбра — расположенная на высоком холме над Гренадой резиденция мавританских властителей, выдающийся архитектурный памятник XIII в.

⁴⁸ Quitasol (и с п.) — зонтик. — Речь идет о картине Гойи «Дама с зонтиком».

⁴⁹ Финикияне — народ, населявший в древности страну у восточного берега Средиземного моря. Финикияне были хорошими моряками и торговцами, захватили колонии в западной части Средиземного бассейна; в Испанию их привлекли залежи серебряной руды.

весело шумели и визжали на улицах дети. Было обидно, что она знает о нём все, а он о ней ничего — только, что она любит его и его отца и что она прекрасна. Ребяческое неведение (он не был даже на войне — даже в этом преимуществе, которым пользуются все и каждый, ему отказано!) умаляло Джона в его собственных глазах.

В ту ночь с балкона своей спальни он глядел вниз на городские крыши словно соты из янтаря, слоновой кости и золота; а потом долго лежал без сна, прислушиваясь к переключке часовых после боя часов, и в голове его складывались строки:

Голос, в ночи звенящий, в сонном и старом испанском
Городе, потемневшем в свете бледнеющих звёзд,
Что говорит голос — долгий, звонко-тоскливый?
Просто ли сторож кличет, верный покой суля?
Просто ли путника песня к лунным лучам летит?
Нет, влюблённое сердце плачет, лишённое счастья,
Просто зовёт: «Когда?»

Слово «лишённое» казалось ему холодным и невыразительным, но «не знавшее» было слишком определённно, а никакого другого ритмически сходного слова он не мог подобрать к словам «влюблённое сердце плачет». Был третий час ночи, когда он кончил, и только в четвёртом часу он уснул, предварительно прочитав про себя эти стихи не менее двадцати четырех раз. На следующий день он их записал и вложил в одно из тех писем к Флёр, которые считал своим долгом настроить, перед тем как спуститься к завтраку, — это развязывало его и делало более общительным.

В полдень того же дня, сидя на террасе отеля, Джон внезапно почувствовал тупую боль в затылке, странное ощущение в глазах и тошноту. Солнце слишком горячо приласкало его. Следующие три дня он провёл в полумраке и тупом болезненном безразличии ко всему, кроме льда на голове и улыбки матери. А мать не выходила из его комнаты и ни на миг не ослабляла своей бесшумной бдительности, которая казалась Джону ангельской. Но бывали минуты, когда ему делалось нестерпимо жалко самого себя и очень хотелось, чтобы Флёр могла его видеть. Несколько раз он страстно прощался в мыслях с нею и с землёй, и слёзы выступали у него на глазах. Он даже придумал, какую весть пошлёт ей через свою мать, которая до смертного часа будет раскаиваться, что замышляла их разлучить, — бедная мама! Однако он не преминул также сообразить, что теперь у него есть законный предлог для скорейшего возвращения домой.

Каждый вечер в половине седьмого начиналась «гасгача» колоколов: водопадом обрушивался звон, поднимаясь из города в долине и вновь низвергаясь разноголосицей перезвона. Отслушав гасгачу на четвёртый день своей болезни, Джон сказал неожиданно:

— Я хочу назад, в Англию, мама, солнце слишком печёт.

— Хорошо, дорогой. Как только тебе можно будет тронуться в путь.

Джону сразу сделалось лучше — и гнусней на душе.

Прошло пять недель со дня их отъезда из Лондона, когда они пустились в обратную дорогу. Мыслям Джона вернулась их былая ясность, только он вынужден был носить широкополую шляпу, под которую мать его подшила в несколько слоёв оранжевого и зелёного шёлка, и ходил он теперь предпочтительно по теневой стороне. Сейчас, когда долгая борьба скрытности между ними близилась к концу, Джон всё тревожней спрашивал себя, замечает ли мать, как ему не терпится скорее вернуться к тому, от чего она его оторвала. Обречённые испанским провидением провести сутки в Мадриде в ожидании поезда, они, естественно, ещё раз посетили Прадо. На этот раз Джон с нарочитой небрежностью лишь мимоходом остановился перед «Виноградаршей» Гойи. Теперь, когда он возвращался к Флёр, можно было глядеть не так внимательно. Задержалась перед картиной его мать. Она сказала:

— Лицо и фигура девушки очаровательны.

Джон выслушал со смущением. Поняла она или нет? Но он лишний раз убедился, что далеко уступает ей и в самообладании и в чуткости. Каким-то своим, интуитивным путём, тайна которого ему была недоступна, она умела нащупывать пульс его мыслей; она знала чутьём, на что он надеется, чего боится и чего желает. Обладая, не в пример большинству своих сверстников, совестью, Джон испытывал чувство отчаянной неловкости и вины. Он хотел, чтобы мать была с ним откровенна, он почти надеялся на открытую борьбу. Но не было ни борьбы, ни откровенности, в упорном молчании ехал он с матерью на север. Так впервые он узнал, насколько лучше, чем мужчина, умеет женщина вести выжидательную игру. В Париже пришлось опять задержаться на денёк. Джон совсем приуныл, потому что «денёк» растянулся в целых два дня из-за каких-то дел в связи с портнихой; точно его мать, прекрасная во всяком платье, нуждалась в нарядах! Счастливейшей минутой за все их путешествие была для него та, когда он, покидая Францию, ступил на палубу парохода.

Стоя у борта рука об руку с сыном, Ирэн сказала:

— Боюсь, наше путешествие не доставило тебе большого удовольствия. Но ты был очень со мною мил.

Джон украдкой пожал ей руку.

— О нет, мне было очень хорошо — только под конец подвела голова.

Теперь, когда путешествие пришло к концу, минувшие недели засветились для Джона неизъяснимой прелестью, он в самом деле испытывал то мучительное наслаждение, которое попробовал передать в стихах о голосе, звенящем в ночи; нечто подобное чувствовал он в раннем детстве, когда жадно слушал Шопена и хотелось плакать. Он удивлялся, почему не может сказать ей так же просто, как она ему: «Ты была очень со мною мила». Не странно ли, что так трудно быть ласковым и естественным? Он сказал взамен:

— Нас, верно, укачает.

Их действительно укачало, и в Лондон они приехали ослабевшие, после шести недель и двух дней отсутствия, за всё это время ни разу не упомянув о предмете, который едва ли не всечасно занимал их мысли.

II. ОТЦЫ И ДОЧЕРИ

В разлуке с женой и сыном, оторгнутыми от него испанской авантюрой, Джолион убедился, как нестерпимо в Робин-Хилле одиночество. Философ, когда у него есть все, чего он хочет, не похож на философа, которому многого не хватает. Все же, приучив себя к смирению — или хотя бы к идее смирения, — Джолион заставил бы себя примириться с одиночеством, не вмешайся в это дело Джун. Он подал теперь в разряд «несчастненьких» и значит был на ее попечении. Она поспешно завершила спасение одного злополучного гравера, оказавшегося в то время у нее на руках, и через две недели после отъезда Ирэн и Джона появилась в Робин-Хилле. Маленькая леди жила теперь в Чизике, в крошечном домике с большим ателье. Представительница Форсайтов лучшего периода, когда ни перед кем не приходилось отчитываться, она сумела все же приспособиться к сокращению своих доходов таким образом, что это удовлетворяло и ее, и ее отца. Так как арендная плата за корк-стритскую галерею, которую он ей купил, составляла ту же сумму, что и причитавшийся с нее повышенный подоходный налог, дело разрешилось очень просто: Джуи перестала выплачивать отцу аренду. Восемнадцать лет галерея доставляла владельцу голые убытки, а сейчас, как-никак, можно было надеяться, что она начнет окупаться, так что для отца, по мнению Джун, не было никакой разницы. Благодаря этой уловке она сохранила свои тысячу двести фунтов годового дохода, а сократив расходы на стол и заменив двух обедневших бельгиек, составлявших штат ее прислуги, одной еще более обедневшей австрийкой, она располагала фактически прежним избытком для поддержки гениев. Прогостив три дня в Робин-Хилле, она увезла отца с собою в город. За эти три дня она прощупала тайну, которую Джолион скрывал два года, и тотчас решила его лечить. В самом деле, она знала для этой цели самого подходящего человека. Он сделал чудо с Полом Постом

— замечательным художником, опередившим футуризм; и она рассердилась на отца, когда он высоко поднял брови, так как не слышал ни о враче, ни о художнике. Конечно, без «веры» он никогда не поправится! Нелепо не верить в человека, который вылечил Пола Поста так, что он только теперь опять заболел от чрезмерного усердия к работе или, может быть, к наслаждениям. Великое новшество этого целителя заключается в том, что он вступает в союз с природой. Он специально изучает нормальные симптомы здоровой природы, а когда у пациента не наблюдается какого-либо из естественных симптомов, он ему дает соответствующий яд, вызывающий симптом, — и больной поправляется! Джун возлагала на своего врача неограниченные надежды. Отец ее живет в Робин-Хилле явно неестественной жизнью — необходимо пробудить симптомы. Он, как чувствовала Джун, утратил связь с современностью, а это неестественно; сердце его нуждается в стимулирующих средствах. В маленьком доме в Чизике Джун, со своей австрийкой (благодарная душа, столь преданная хозяйке за свое спасение, что теперь ей грозила, опасность расхвораться от непосильной работы) всячески «стимулировали» Джолиона в порядке подготовительного лечения. Однако брови его никак не могли опуститься. То вдруг австрийка разбудит его в восемь часов, когда ему только что удалось заснуть; или Джун отберет у него «Тайме», потому что неестественно читать «такую ерунду» — он должен интересоваться «подлинной жизнью». Он пребывал в непрестанном удивлении перед ее изобретательностью, особенно по вечерам. Ради его блага, как заявила она, хоть он подозревал, что и сама она кое-что для себя извлекает из такого метода лечения, Джун собирала у себя весь двадцатый век, поскольку он светил отраженным светом гения; и век торжественно проходил перед ним по ателье в фокстроте или в другом, еще более «заумном» танце — в уанстепе, ритм которого так не соответствовал музыке, что брови Джолиона почти терялись в волосах от, изумления перед тем испытанием, коему подвергалась сила води танцующих. Зная, что в Ассоциации акварелистов он, по общей оценке, занимал место позади каждого, кто претендовал на звание художника, Джолион усаживался в самый что ни на есть темный уголок и вспоминал ритмы, на которых когда-то был воспитан. А если Джун подводила к нему какую-нибудь девицу или молодого человека, он смиренно поднимался до их уровня — насколько — это было для него возможно — и думал: «Боже мой! Им это должно казаться таким скучным». Питая, как некогда его отец, постоянное сочувствие к молодежи, он все же устал становиться на ее точку зрения. Но все это его «стимулировало», и он не переставал изумляться неукротимой энергии своей дочери. Время от времени на её ассамблеях появлялась, презрительно сморщив нос, сама гениальность; и Джун всегда представляла её отцу. Это, по её убеждению, было для него особенно полезно, ибо гениальность является естественным симптомом, который у её отца всегда отсутствовал, — так она считала при всей своей любви к нему.

Уверенный, насколько это возможно для мужчины, что Джун его родная дочь, Джолион часто дивился, откуда она у него такая: красного золота волосы, теперь заржавевшие своеобразной сединой; открытое, живое лицо, так не похожее на его собственную физиономию, тонкую и сложную; маленькая, лёгкая фигурка, когда самой, как и большинство Форсайтов, был высокого роста. Часто задумывался он, какого происхождения этот вид: датского, может быть, или кельтского? Скорее кельтского, полагал он, судя по её воинственности и пристрастию к лентам на лбу и свободным платьям. Без преувеличения можно сказать, что он её предпочитал «людям двадцатого века», которыми она была окружена, хотя они по большей части были молоды. Но Джун стала проявлять усиленное внимание к его зубам, ибо этим естественным симптомом он ещё в какойто мере обладал. Её дантист не замедлил открыть «присутствие чистой культуры *staphylococcus aureus*» (которая, несомненно, может вызвать нарывы) и хотел удалить ещё оставшиеся у него зубы и снабдить его взамен двумя полными комплектами неестественных симптомов. Врождённое упрямство Джолиона встало на дыбы, и в этот вечер в ателье Джун он попытался обосновать свои возражения. У него никогда не бывало никаких нарывов, и ему хватит как-нибудь до конца жизни собственных зубов. Бесспорно, согласилась Джун, ему

хватит их до конца жизни, если он их не удалит. Но если он вставит новые зубы, то сердце его будет крепче и жизнь длиннее. Это упорство, заявила Джун, симптоматично для всего его поведения: он не желает бороться. Когда он соберётся к врачу, вылечившему Пола Поста? Джолион выразил своё глубокое сожаление, но он отнюдь не собирался к врачу. Джун возмутилась. Пондриддж, сказала она, великий целитель и прекрасный человек, и ему так трудно сводить концы с концами и добиваться признания своих теорий. И мешает ему как раз то безразличие к своему здоровью и предрассудки, какие проявляет её отец. Было бы так хорошо для них обоих!..

— Я вижу, — сказал Джолион, — ты хочешь убить двух зайцев сразу.

— Скажи лучше — вылечить! — вскричала Джун.

— Это, дорогая моя, одно и то же.

Джун настаивала на своём. Нечестно говорить такие вещи, не испробовав лечения.

Джолион боялся, что если он испробует, то уже вовсе не сможет говорить.

— Папа! — воскликнула Джун. — Ты безнадежен.

— Не спорю, — сказал Джолион. — Но я хотел бы оставаться безнадежным как можно дольше. Я не намерен трогать спящих собак, дитя моё. Не лают ну и хорошо.

— Это значит закрывать перед наукой все пути! — кричала Джун. — Ты не представляешь, до чего Пондриддж предан своему делу. Для него наука выше всего.

— Как для мистера Пола Поста его искусство, не так ли? — возразил Джолион и затянулся папироской из слабого табака, которым он теперь себя ограничил. — Искусство для искусства, наука для науки. Мне хорошо знакомы эти господа энтузиасты, маньяки эгоцентризма. Они зарежут вас, не моргнув глазом. Я, как-никак, Форсайт и предпочитаю держаться от них подальше, Джун.

— Папа, — сказала Джун, — если б только ты понимал, как устарели твои доводы. В наши дни никто не может позволить себе быть половинчатым.

— Боюсь, — промолвил с улыбкой Джолион, — это единственный естественный симптом, которым мистеру Пондридджу нет нужды меня снабжать. Нам с рождения дано быть сторонниками крайностей или держаться середины; хоть должен сказать, уж ты не сердись, что половина тех, кто проповедует крайности, на самом деле очень умеренны. Насколько можно требовать, настолько я здоров, — надо на атом успокоиться.

Джун молчала, узнав в своё время на опыте, как непреклонен бывает её отец в своей мягкой настойчивости, когда дело коснётся свободы его действий.

Джолион сам не понимал, как он мог проговориться дочери, почему Ирэн увезла Джона в Испанию. Он не слишком полагался на скромность Джун. Джун задумалась над этим известием, и её раздумье завершилось резким спором между нею и отцом, спором, который открыл Джолиону коренную противоположность между действенным темпераментом его дочери и пассивностью его жены. Он убедился даже, что не прошла ещё горечь от той их давнишней борьбы за Филипа Боснии, в которой пассивное начало так знаменательно восторжествовало над активным.

Джун считала глупым, считала трусостью скрывать от Джона прошлое.

— Чистейший оппортунизм, — заявила она.

— Который, — мягко вставил Джолион, — является творческим принципом действительной жизни, дорогая.

— Ох, — воскликнула Джун, — ты не можешь искренно защищать Ирэн в том, что она скрывает от Джона правду, папа! Если бы все предоставить тебе, ты рассказал бы.

— Может быть, но я сделал бы это просто потому, что так или иначе Джон всё равно узнает, и это будет хуже, чем если мы ему расскажем сами.

— Тогда почему же ты всё-таки не рассказываешь? Опять «спящие собаки»?

— Дорогая, — сказал Джолион, — ни за что на свете я не пошёл бы против инстинкта Ирэн. Джон её сын.

— И твой тоже, — возразила Джун.

— Как можно сравнивать отцовский инстинкт с материнским?

— Как хочешь, а, по-моему, с твоей стороны это малодушие.

— Возможно, — согласился Джолион, — возможно.

Вот и все, чего она добилась от отца; но дело это не выходило у неё из головы. Джун на выносила мысли о «спящих собаках». Её подмывало дать делу толчок, чтобы так или иначе разрешить его. Джуну надо все рассказать, чтобы чувство его или зачахло, не распутившись, или же, расцветши назло прошлому, принесло плоды. И она решила повидаться с Флёр и составить себе собственное мнение. Если Джун на что-нибудь решалась, вопросы щепетильности отступали на второй план. В конце концов, она Сомсу двоюродная племянница, и оба они интересуются живописью. Она придёт к нему и заявит, что ему следует купить какой-нибудь холст Пола Поста или, может быть, скульптуру Бориса Струмоловского. Отцу она, конечно, ничего не скажет. В ближайшее воскресенье она пустилась в путь, и вид у неё был столь решительный, что на вокзале в Рэдинге ей с трудом удалось достать такси. Берега реки были очаровательны в эти дни июня — её месяца, — и Джун отнюдь не была бесчувственна к их очарованию. За всю жизнь не познав любовного союза, она чуть не до сумасшествия любила природу. Подъехав к изысканному уголку, где поселился Сомс, она отпустила такси, так как намеревалась, покончив с делом, насладиться прохладой реки и роши. Таким образом, перед его дверьми она предстала скромным пешеходом и послала Сомсу свою карточку. Джун знала, что если нервы её трепещут, значит она делает что-то стоящее труда. А когда нервы не трепещут, тогда она знала, что пошла по линии наименьшего сопротивления и что благородство ни к чему её не обязывает. Её ввели в гостиную, на убранстве которой, хоть и чуждом ей по стилю, лежала печать требовательного вкуса. Подумав: «Слишком затейливо — много выкрутасов», она увидела в чёрной раме старинного зеркала фигуру девушки, входившей с веранды. Вся в белом, с белыми розами в руках, отражённая в серебряно-сером озере стекла, она казалась видением — точно прелестный призрак явился из зелёного сада.

— Здравствуйте, — сказала Джун и обернулась. — Я родственница вашего отца.

— Ах да, я вас видела тогда в кондитерской.

— С моим младшим братом. Ваш отец дома?

— Сейчас придёт. Он вышел прогуляться.

Джун слегка прищурила синие свои глаза и вздёрнула решительный подбородок.

— Вас зовут Флёр, да? Я слышала о вас от Холли. Что вы думаете о Джоне?

Девушка подняла розы к лицу, посмотрела на них и ответила спокойно:

— Очень милый мальчик.

— Нисколько не похож ни на меня, ни на Холли, не правда ли?

— Нисколько.

«Выдержанная», — подумала Джун.

И вдруг девушка сказала:

— Не можете ли вы рассказать мне, почему наши семьи не ладят между собой?

Поставленная перед вопросом, на который сама же советовала своему отцу ответить, Джун смолчала — потому ли, что эта девушка сама чего-то добивалась от неё, или просто потому, что не всегда человек поступает на деле так, как поступил бы в теории.

— Вы знаете, — продолжала девушка, — вернейший способ заставить человека выведать худшее — это держать его в неведении. Мой отец сказал, что ссора произошла из-за собственности. Но я не верю: и у нас и у них всего вдоволь. Они не вели бы себя, как мещане.

Джун вспыхнула. Это слово в применении к её отцу и деду оскорбило её.

— Мой дедушка, — сказала она, — был очень великодушен, и отец тоже; оба они нисколько не мещане.

— Так что ж это было? — повторила Флёр.

Видя, что эта юная представительница семьи Форсайтов упорно добивается своего, Джун сразу решила помешать ей и добиться чего-нибудь для себя.

— Почему вы хотите знать?

Девушка понюхала розы.

— Я потому хочу знать, что от меня это скрывают.

— Хорошо. Ссора действительно произошла из-за собственности, но собственность бывает разная.

— Час от часу не легче. Теперь я действительно должна узнать.

По решительному личику Джун пробежала судорога.

Волосы, выбившиеся из-под круглой шапочки, растрепались. Сейчас она казалась совсем юной, словно помолодела от встречи.

— Зн-аете, — сказала она, — я видела, как вы бросили платок. Между вами и Джоном что-нибудь есть? Если да, откажитесь от этого.

Девушка побледнела, но всё-таки улыбнулась.

— Если есть способ меня принудить, то во всяком случае не такой.

В ответ на это смелое заявление Джун протянула руку.

— Вы мне нравитесь; но я не люблю вашего отца; я никогда его не любила. Ведь мы можем говорить откровенно?

— Вы приехали, чтоб сказать ему это?

Джун засмеялась.

— Нет, я приехала, чтоб видеть вас.

— Как мило с вашей стороны!

Девушка хорошо парировала удары.

— Я в два с половиной раза старше вас, — сказала Джун, — но я вам вполне сочувствую. Возмутительно, когда человеку ставят палки в колёса.

Флёр опять улыбнулась.

— Право, мне думается, вы должны все мне рассказать.

Как упорно этот ребёнок гнёт свою линию!

— Это не моя тайна. Но я испробую всё, что от меня зависит, потому что, по-моему, и вы и Джон должны это внять. А теперь я с вами прощусь.

— Вы не подождёте папу?

Джун покачала головой.

— Как мне попасть на тот берег?

— Я вас перевезу на лодке.

— Вот что, — порывисто сказала Джун, — когда будете в Лондоне, загляните ко мне. Возьмите мой адрес. По вечерам у меня обычно собирается молодёжь. Но отцу лучше не говорите.

Девушка кивнула в знак согласия.

Наблюдая, как она управляетя с вёслами, Джун думала: «Она прехорошенькая и отлично сложена. Никогда бы я не подумала, что у Сомса будет такая красивая дочь. Они с Джоном составили бы очаровательную пару».

Инстинкт подбора пар, не нашедший в своё время удовлетворения, никогда не засыпал в Джун. Она стояла, наблюдая, как Флёр гребёт обратно; девушка выпустила весло, чтобы махнуть рукой на прощание, и с болью в сердце Джун побрела лугами над рекой. Молодое тянется к молодому, как гонятся стрекозы друг за дружкой, и любовь, как солнце, прогревает их насквозь. Её молодость! Давным-давно, когда Фил и она... А с тех пор ничего! Ни в ком не нашла она того, чего искала. И так упустила жизнь. Но какая петля затягивается вокруг этих двух юных существ, если они и вправду любят друг друга, как думает Холли, как опасаются её отец и Ирэн и даже, по-видимому, Сомс. Какая петля и какие препятствия! И тяга к будущему, живое презрение к минувшему — то, из чего образуется активное начало, — заговорили в сердце женщины, всегда считавшей, что то, чего хочешь сам, важнее того, чего не хотят другие. С высокого берега в тёплой тишине лета она глядела на кувшинки, следила за листьями ветлы, за всплесками рыб; вдыхая запах травы и таволги, думала, как принудить каждого быть счастливым. Джон и Флёр! Бедные неоперившиеся утятки — жёлтенькие, несчастненькие! Как их жалко! Несомненно, можно что-то сделать. С

таким положением нельзя мириться. Джун пошла дальше и пришла к вокзалу разгорячённая и сердитая.

В тот же вечер, следуя своей склонности к прямому действию, из-за которой многие её избегали, она сказала отцу:

— Папа, я ездила посмотреть на Флёр. Я её нахожу очень привлекательной. Нехорошо нам прятать голову под крыло.

Джолион, поражённый, отставил свой ячменный кофе и сгрёб в кулак бородку.

— Но ты именно это и делаешь, — сказал он. — Представляешь ты себе, чья она дочь?

— Мёртвое прошлое пусть хоронит своих мертвецов.

Джолион встал.

— Есть вещи, которые нельзя похоронить.

— Я не согласна, — сказала Джун. — Это то, что стоит на пути ко всякому счастью и прогрессу. Ты не понимаешь нашего века, папа. Он отбрасывает всё изжитое. Почему тебя так страшит, что Джон узнает все о своей матери? Кто теперь придаёт значение таким вещам? Брачные законы и посейчас те же, какими были в то время, когда Ирэн и Сомс не могли получить развода и пришлось вмешаться тебе. Мы ушли вперёд, а законы остались на старом месте. Поэтому никто с ними не считается. Брак без приличной возможности его расторжения — это одна из форм рабовладения; человек не должен быть собственностью человека. Теперь каждый это понимает. Если Ирэн нарушила подобный закон, что в этом дурного?

— Не мне возражать, — сказал Джолион, — но дело совсем не в том. Дело в человеческом чувстве.

— Конечно! — вскричала Джун. — В человеческом чувстве этих двух молодых созданий.

— Моя дорогая, — ответил Джолион мягко, но чувствуя, что теряет терпение, — ты говоришь вздор.

— Отнюдь не вздор. Если окажется, что они действительно друг друга любят, зачем же делать их несчастными во имя прошлого?

— Ты не переживала этого, прошлого. А я пережил — через чувства моей жены; пережил собственными своими нервами и своим воображением, как только может это пережить истинно любящий человек.

Джун тоже встала и беспокойно зашагала по комнате.

— Если б ещё, — сказала она вдруг, — Флёр была дочерью Филадельфия Босини, я скорее могла бы тебя понять. Его Ирэн любила, а Сомса она не любила никогда.

Джолион издал странный грудной звук — вроде того, каким итальянская крестьянка понукает своего мула. Сердце его бешено заколотилось, но он не обратил на это внимания, увлечённый своими чувствами.

— Твои слова показывают, как мало ты поняла. Ни я, ни Джон, насколько я его знаю, не осудили бы любовного прошлого. Но брачный союз без любви омерзителен. Эта девушка — дочь человека, который некогда обладал матерью Джона, как рабыней-негритянкой. Этого призрака тебе не прогнать; и не пробуй, Джун! Ведь ты требуешь от нас, чтоб мы смотрели спокойно, как Джон соединится с плотью от плоти человека, который владел матерью Джона против её воли. Незачем смягчать выражения; надо выяснить раз навсегда. А теперь прекратим разговор, или мне придётся просидеть так всю ночь.

И Джолион прижал руку к груди, повернулся к дочери спиной и, отойдя к окну, стал глядеть на Темзу.

Джун, по природе своей неспособная увидеть шершня, пока он её не ужалит, не на шутку встревожилась. Она подошла и взяла Джолиона под руку. Отнюдь не убеждённая, что он прав, а сама она ошибается — такое признание противоречило бы её природе, — она была глубоко потрясена очевидным обстоятельством, что эта тема очень ему вредна. Она потёрлась щекой о его плечо и ничего не сказала.

Переправив гостью, Флёр не причалила сразу к пристани, а зашла в камыши, в полосу

яркого света. Тихая прелесть дня на мгновение, зачаровала девушку, не слишком склонную к мечтаниям и поэзии. В поле над берегом запряжённая сивой лошастью косилка снимала ранний покос. Флёр следила, не шевелясь, как через лёгкие колеса падает каскадом трава — прохладная и свежая. Свист и щёлк сливались с шелестом раkit и тополей и с воркованьем лесного голубя в звонкую речную песню. В глубокой зелёной воде, точно жёлтые змеи, извиваясь и ныряя, стлались по течению водоросли; пегие коровы на том берегу стояли в тени, лениво помахивая хвостами. День располагал к мечтам. Флёр вытащила письма Джона — не цветистые излияния, нет, но в отчётах о виденном и сделанном они проникнуты были очень приятной для неё тоской и все заканчивались словами: «Любящий тебя Джин». Флёр не была сентиментальна, её желания были всегда конкретны и определённы, но безусловно всё, что было поэтического в дочери Сомса и Аннет, за эти недели ожидания сосредоточилось вокруг её воспоминаний о Джоне. Они жили в траве и в листьях, в цветах и в струящейся воде. Когда, наморщив нос, она вдыхала запахи. Флёр радовалась в них его близости. Звезды её убеждали, что она стоит с ним рядом в центре карты Испании; а ранним утром капли росы на паутине, искристое марево и дышащее в саду обещание дня были для неё олицетворением Джона.

Пока она читала письма, два белых лебедя проплыли величественно мимо, а за ними цепочкой их потомство: шесть молодых лебедей друг за дружкой, выдерживая равную дистанцию между каждым хвостом и головой — флотилия серых миноносцев. Флёр спрятала письма, взялась за вёсла и выгребла лодку к причалу. Поднимаясь по дорожке сада, она обдумывала вопрос: следует ли рассказать отцу, что приходила Джун? Если он узнает о её посещении через лакея, ему покажется подозрительным, почему дочь о нём умолчала. Вдобавок, рассказ откроет новую возможность выведать у отца причину ссоры. Поэтому, выйдя на шоссе, Флёр направилась ему навстречу.

Сомс ходил осматривать участок, на котором местные власти предполагали построить санаторий для лёгочных больных. Верный своему индивидуализму. Сомс не принимал участия в местных делах, довольствуясь уплатой все повышавшихся налогов. Однако он не мог остаться равнодушным к этому новому и опасному плану. Участок был расположен менее чем в полумиле от его дома. Сомс был вполне согласен с мнением, что страна должна искоренять туберкулёз; но здесь для этого не место. Это надо делать подальше. Он занял позицию, разделяемую каждым истинным Форсайтом: во-первых, чужие болезни его не касаются, а во-вторых, государство должно делать своё дело, никоим образом не затрагивая естественных привилегий, которые он приобрёл или унаследовал. Фрэнси, самая свободомыслящая из Форсайтов его поколения (за исключением разве Джюлиона), однажды с лукавым видом спросила: «Ты когда-нибудь видел имя Форсайт на каком-нибудь подписном листе. Сомс?» Как бы там ни было, а санаторий испортит окрестности, и он, Сомс, непременно подпишет петицию о переносе его на другое место. Повернув к дому с назревшим новым решением, он увидел Флёр.

Последнее время она проявляла к отцу больше нежности, и, мирно проводя с нею эти тёплые летние дни. Сомс чувствовал себя помолодевшим; Аннет постоянно ездила в город то за тем, то за другим, так что Флёр предоставлена была ему одному почти в той мере, как он того желал. Впрочем, надо сказать, Майкл Монт повадился приезжать на мотоцикле чуть ли не ежедневно. Молодой человек, слава богу, сбрил свои дурацкие усы и не был теперь похож на скомороха! В доме гостила подруга Флёр, заходил по-соседски кое-кто из молодёжи, так что после обеда в холле было всегда по меньшей мере две пары, танцевавшие под музыку электрической пианолы, которая без посторонней помощи, удивлённо сверкая полировкой, исполняла фокстроты. Случалось, что и Аннет грациозно пройдёт по паркету в объятиях какого-нибудь молодого человека. И Сомс, остановившись в дверях между гостиной и холлом, поведёт носом, посмотрит на них выжидательно, ловя улыбку Флёр; потом отойдёт к своему креслу у камина в глубине гостиной и развернёт «Тайме» или каталог-прейскурант какого-нибудь коллекционера. Его всегда насторожённый глаз не улавливал никаких признаков того, что Флёр помнит о своём капризе.

Когда она подошла к отцу на пыльной дороге, он взял её под руку.

— К тебе приходила гостья, папа! Но она не могла ждать. Угадай, кто?

— Я не умею отгадывать, — недовольно сказал Сомс. — Кто?

— Твоя племянница, Джун Форсайт.

Сомс бессознательно схватил девушку за руку.

— Что ей понадобилось от меня?

— Не знаю. Но ведь это — нарушение кровной вражды, не так ли?

— Кровной вражды? Какой?

— А той, что существует в твоём воображении, дорогой мой.

Сомс отпустил её руку. Дразнит его девчонка или пробует поймать?

— Она, верно, хочет, чтоб я купил какую-нибудь картину, — сказал он наконец.

— Не думаю. Может быть, её привела просто родственная привязанность.

— Двоюродная племянница — не такое уж близкое родство, — пробурчал Сомс.

— К тому же она дочь твоего врага.

— Что ты хочешь сказать?

— Извини, дорогой. Я думала, он твой враг.

— Враг! — повторил Сомс. — Это давнишняя история. Не знаю, откуда ты получила такие сведения.

— От Джун Форсайт.

Эта мысль осенила девушку внезапно: если он подумает, что ей уже всё известно или что она вот-вот догадается, он сам расскажет.

Сомс был ошеломлён, но Флёр недооценила его осторожность и выдержку.

— Если тебе всё известно, — сказал он холодно, — зачем же ты мне докучаешь?

Флёр увидела, что зашла слишком далеко.

— Я вовсе не хочу докучать тебе, милый. Ты прав, к чему мне знать больше? К чему мне выведывать эту «маленькую тайну»? Je m'en fiche⁵⁰, как говорит Профон.

— Этот бельгиец! — глубокомысленно произнёс Сомс.

Бельгиец в самом деле играл этим летом значительную, хоть и невидимую роль, ибо в Мейплдерхеме он больше не показывался. С того воскресенья, когда Флёр обратила внимание на то, как он «рыскал» в саду. Сомс много думал о нём и всегда в связи с Аннет, хоть и не имел к тому никаких оснований, кроме разве того, что она за последнее время заметно похорошела. Его собственнический инстинкт, ставший более тонким и гибким со времени войны и менее подчинённый формальностям, научил его не давать воли подозрениям. Как смотрят на американскую реку, тихую и приятную, зная, что в тине притаился, может быть, аллигатор и высунул голову, не отличимую от коряги, — так Сомс смотрел на реку своей жизни, чуя мсье Профона, но отказываясь допускать до своего сознания что-нибудь более определённое, чем простое подозрение о его высунутой голове. В эту пору своей жизни он имел фактически всё, чего желал, и был настолько близок к счастью, насколько позволяла его природа. Чувства его в покое; потребность привязанности нашла удовлетворение в дочери; его коллекция широко известна, деньги надёжно помещены; здоровье его превосходно, если не считать редких неприятностей с печенью; он ещё не начинал тревожиться всерьёз о том, что будет после его смерти, склоняясь к мысли, что не будет ничего. Он походил на одну из своих надёжных акций с позолоченными полями» а соскребать позолоту, разглядывая то, чего ему видеть нет необходимости, — это было бы, как он инстинктивно чувствовал, чем-то противоестественным и упадочным. Те два помятых розовых лепестка — каприз его дочери и высунутая из тины голова Профона — разглядятся, если лучше их отутюжить.

В этот вечер случай, врывающийся в жизнь даже самых обеспеченных Форсайтов, дал ключ в руки Флёр. Её отец сошёл к обеду без носового платка, и вдруг ему понадобилось

50 «Наплевать» (фр.).

высморгаться.

— Я принесу тебе платок, милый, — сказала она и побежала наверх.

В саше, где она стала искать платок, старом саше из очень выцветшего шёлка было два отделения: в одном лежали платки, другое было застёгнуто и содержало что-то плоское и твёрдое. Повинуясь ребяческому любопытству, Флёр отстегнула его. Там оказалась рамка с её собственной детской фотографией. Она смотрела на карточку, замороженная своим изображением. Карточка скользнула, под её задрожавшим пальцем, и Флёр увидела за ней другую фотографию. Тогда она дальше выдвинула свою, и ей открылось показавшееся знакомым лицо молодой женщины, очень красивой, в очень старомодном вечернем туалете. Вдвинув на место свою фотографию, Флёр достала носовой платок и спустилась в столовую. Только на лестнице она вспомнила это лицо. Конечно, конечно, мать Джона! Внезапная уверенность была точно удар. Флёр остановилась в вихре мыслей. Всё понятно! Отец Джона женился на женщине, которой помогала её отец, — может быть, обманом отнял её у него. Потом, убоявшись, как бы лицо её не выдало, что она открыла тайну отца, Флёр решила не думать дальше и, размахивая шёлковым платком, вошла в столовую.

— Я выбрала самый мягкий, папа.

— Гм! — пробормотал Сомс. — Эти я употребляю только при насморке. Ну ничего!

Весь вечер Флёр пригоняла одно к одному; она припомнила, какое выражение появилось на лице её отца в кондитерской: отчуждённое и холодно-интимное, странное выражение. Он, верно, очень любил эту женщину, если до сих пор, лишившись её, хранит её фотографию, Беспощадная и трезвая мысль девушки взяла под обстрел отношение отца к её матери. А её он любил когда-нибудь по-настоящему? Флёр думала, что нет. И Джон — сын женщины, которую он истинно любил! Тогда, конечно, его не должно возмущать, что дочь его любит Джона; ему только нужно освоиться с этой мыслью. Вздох глубокого облегчения задержался в складках ночной рубашки, которую Флёр не спеша надевала через голову.

III. ВСТРЕЧИ

Молодость замечает старость только при резких переменах. Джон, например, не видел по-настоящему старости своего отца, пока не вернулся из Испании. Лицо Джолиона четвёртого, измученного ожиданием, потрясло его: таким оно казалось увядшим и старым. От волнения встречи маска сдвинулась, и мальчик внезапно понял, как должен был его отец страдать от их отсутствия. На помощь себе он призвал мысль: «Что ж! Ведь я не хотел ехать». Не такое было время, чтобы молодость оказывала снисхождение старости. Но Джон вовсе не был типичен для своего времени. Отец был с ним всегда «бесконечно мил». Джону претила мысль, что нужно сразу принимать ту линию поведения, в борьбе с которой его отцу пришлось выстрадать шесть недель одиночества.

При вопросе отца: «Ну, друг мой, как тебе понравился великий Гойя?» совесть горько его упрекнула. Великий Гойя существовал лишь постольку, поскольку он создал девушку, похожую на Флёр.

В тот вечер Джон лёг спать, снедаемый угрызениями совести, но наутро проснулся, полный радостных предвкушений. Было только пятое июля, а встреча с Флёр назначена на девятое. До возвращения в Уонсдон предстояло провести дома три дня. Нужно изловчиться и увидеть её!

Даже самые любящие родители не могут отрицать, что в жизнь мужчины с неуклонной периодичностью вторгается нужда в новых брюках. А посему на второй день по приезде Джон отправился в город и, для очистки совести заказав на Кондит-стрит то, что требовалось, направил свои стопы к Пикадилли. Стрэттон-стрит, где находится её клуб, примыкает к Девоншир-Хаусу. Было бы чистой случайностью застать Флёр в клубе. Но Джон с замиранием сердца шёл по Бонд-стрит, отмечая превосходство над собою всех встречаемых молодых людей. На них так ловко сидят костюмы, в них столько самоуверенности, и они старше. Внезапно его сразила мысль, что Флёр его, конечно, забыла.

Поглощённый все эти недели своим собственным чувством к ней, он упускал из виду эту возможность. Углы его рта оттянулись книзу, руки покрылись липким потом. Флёр, несущая цветок юности в тонкой своей улыбке, несравненная Флёр! То была жестокая минута. Но Джону не чужда была великая идея, что человеку подобает смотреть прямо в лицо любой судьбе. Подбадривая себя этим суровым помыслом, он остановился перед антикварной лавкой. В этот день, в разгар того, что когда-то именовалось лондонским сезоном, ничто не отличало эту лавку от всякой другой, кроме двух-трех покупателей в серых цилиндрах да солнечного блика на меди. Джон пошёл дальше и, свернув на Пикадилли, чуть не сшиб с ног Вэла Дарти, направлявшегося в «Айсиум-Клуб», куда он недавно был принят.

— Здравствуйте, молодой человек. Вы куда?

Джон вспыхнул.

— Я был у портного.

Вэл смерил его взглядом с головы до пят.

— Отлично. Мне тут нужно заказать папиросы; а потом зайдём позавтракаем вместе.

Джон принял приглашение. Он мог получить от Вэла сведения о ней.

В табачной лавке, куда они теперь вошли, можно было увидеть в новом свете современное положение Англии столь угнетающее её прессу и общественных деятелей.

— Да, сэр; те самые папиросы, которые я поставлял, бывало, вашему отцу. Как же! Ведь мистер Монтегью Дарти был нашим постоянным покупателем — позвольте, да, с того года, когда Мелтон взял первый приз на дерби, Один из лучших моих клиентов.

Слабая улыбка осветила лицо табачника.

— Сколько раз он мне советовал, на какую лошадь ставить. Что и говорить! Он, помнится, брал этих папирос две сотни в неделю, из года в год, и никогда не менял — всегда один сорт. Очень был любезный джентльмен, приводил ко мне множество новых покупателей. Я так, жалел, когда и ним случилось несчастье. Когда лишаешься давнишнего клиента, всегда чувствуешь утрату.

Вэл улыбнулся. Смерть Монтегью Дарти закрыла в этом магазине самый, вероятно, длинный счёт; и в кольцах дыма от крепкой, освящённой временем папиросы он увидел лицо своего отца, смуглое, благообразное, с выхоленными усами, несколько одутловатое — в единственном ореоле, какой достался ему. Здесь его отца, во всяком случае, окружала слава: человек, куривший две сотни папирос в неделю, знавший толк в лошадях, умевший без конца брать в кредит! Для своего табачника — герой. Всё-таки почёт — и даже по наследству передаётся.

— Я заплачу наличными, — сказал он. — Сколько с меня?

— Для его сына и при наличной оплате — десять, шиллингов шесть пенсов. Я никогда не забуду мистера Монтегью Дарти. Он, бывало, простаивал тут по полчаса, беседуя со мной. Таких, как он, теперь не часто встретишь — все куда-то спешат. Война плохо отразилась на манерах плохо. Вы тоже, я вижу, сидели в окопах.

— Нет, — сказал Вэл, хлопнув себя по колену — Это ранение я получил в предыдущую войну. Оно, думаю, спасло мне жизнь. Тебе не нужно папирос, Джон?

Джон пристыжено пробормотал: «Я ведь не курю» — и увидел, как табачник скривил губы, словно не решаясь, сказать ли: «Боже праведный!» или: «Вот теперь и — начать бы, сэр».

— Это хорошо, — отозвался Вэл. — Держись, пока можешь. Потянет курить, когда тебя крепко стукнет по лбу», Так это вправду тот самый табак?

— В точности, сэр; немного вздорожал, и только. Я всегда говорю: удивительно стойкая держава — Британская империя.

— Посылайте мне по этому адресу сто штук в неделю, а счёт раз в месяц. Пошли, Джон.

Джон не без любопытства вступил в «Айсиум». Он никогда не бывал ни в одном лондонском клубе, кроме «Всякой всячины», где изредка завтракал с отцом. «Айсиум», дышащий скромным комфортом, не менялся, не мог измениться, покуда в правлении сидел

Джордж Форсайт, которому его гастрономическая изощрённость давала чуть ли не диктаторскую власть. «Айсиум» сурово относился к богачам послевоенной формации, и потребовалось всё влияние Джорджа Форсайта, чтобы провести в члены клуба Проспера Профона, которого Джордж расхваливал как «превосходного спортсмена».

Джордж Форсайт и его протезе завтракали вдвоём, когда Вэл и Джон вошли в столовую клуба и, заметив пригласительный жест Джорджа, подсели к их столику — Вэл с лукаво прищуренными глазами и обаятельной улыбкой, Джон с торжественно сжатыми губами и подкупающей застенчивостью во взгляде. У этого углового столика был привилегированный вид, как будто за ним разрешалось сидеть только верховным мастерам масонской ложи. Атмосфера зала оказывала на Джона гипнотическое действие. Худолицый официант выступал с благоговейной почтительностью масона. Он, казалось, смотрел в рот Джорджу Форсайту, сочувственно наблюдал жадный огонёк в его глазах и любовно следил за передвижением тяжёлого серебра, меченного клубными вензелями. Рукав ливреи и конфиденциальный голос смущали Джона — так таинственно возникали они из-за его плеча.

Если не считать замечания Джорджа: «Ваш дедушка как-то дал мне полезный совет — он знал, что такое хорошая сигара», — ни он, ни другой верховный мастер не обращали внимания на Джона, и мальчик был им за это благодарен. Разговор вертелся исключительно вокруг скрещивания пород, вокруг статей и цен на лошадей, и Джон слушал сперва словно в тумане, удивляясь, как может поместиться у голове столько премудрости. Он не мог отвести глаз от темнолицего мастера: слова его были так развязны и так удручающи — странные, тяжёлые слова, точно выдавленные усмешкой. Джон думал о бабочках, когда вдруг до его сознания дошла фраза, сказанная темноволосям:

— Вот бы мистеру Сомсу Форсайту заинтересоваться лошадьми.

— Старому Сомсу? Где ему — высохшая жила!

Джон прилагал все усилия, чтобы не покраснеть, между тем как темнолицый мастер продолжал:

— Его дочка очень привлекательная маленькая женщина. Мистер Сомс Форсайт несколько отсталый человек. Хотел бы я когда-нибудь посмотреть, как он веселится.

— Не беспокойтесь, он совсем не такой несчастный, как можно подумать. Он никогда не покажет, что наслаждается чем-нибудь: чтоб другие не отняли. Старый Сомс! Кто раз побит, тот дважды трус.

— Ты кончил, Джон? — сказал поспешно Вал. — Пойдём выпьем кофе.

— Кто эти господа? — спросил Джон на лестнице. — Я плохо расслышал.

— Старший — Джордж Форсайт, двоюродный брат твоего отца и моего дяди Сомса.

Он сидит здесь испокон веков. А второй, Профон, ну, тот — не поймёшь что. Он, по-моему, увивается за женой Сомса, раз уж ты хочешь знать!

Джон поглядел на него в испуге.

— Это ужасно, — сказал он. — То есть ужасно для Флёр.

— Не думаю, чтобы Флёр придавала значение подобным вещам; она очень современна.

— Но ведь это её мать!

— Ты ещё зелен, Джон.

Джон сделался ярко-красным.

— Мать, — буркнул он сердито, — это совсем другое дело.

— Ты прав, — вдруг согласился Вэл. — Но жизнь изменилась с тех пор, как я был в твоём возрасте. Каждый теперь говорит: «Лови мгновение, завтра мы умрём». Вот о чём думал старый Джордж, когда говорил о дяде Сомсе. Он-то не собирается завтра умирать.

Джон быстро спросил:

— Что произошло между ним и моим отцом?

— Семейная тайна, Джон. Послушай моего совета: не допытывайся. Тебе незачем знать. Налить тебе ликёру?

Джон мотнул головой.

— Меня возмущает, когда от человека все скрывают, — пробормотал он, а потом

насмеваются над ним, что он, мол, зелен.

— Хорошо, спроси у Холли. Если и она откажется тебе рассказать, ты согласишься, что это делается ради твоей же пользы.

Джон встал.

— Мне пора идти, спасибо за угощение.

Вэл улыбнулся полупечально, полувесело. Мальчик, казалось, был подавлен.

— Хорошо, ждём тебя в пятницу.

— Не знаю, право, — замялся Джон.

Он и впрямь не знал. Этот заговор приводил его в отчаяние. Было унижительно, что с ним обращаются, как с ребёнком. Он вновь направил рассеянный шаг к Стрэттонстрит. Теперь он пойдёт в её клуб и узнает худшее. На его вопрос ему ответили, что мисс Форсайт не приходила, но, возможно, зайдёт попозже. Она часто бывает здесь по понедельникам, но наверное ничего сказать нельзя. Джон сказал, что зайдёт ещё раз и, войдя в Грин-парк, бросился на траву под деревом. Ярко светило солнце, и лёгкий ветер шевелил листья молодой липы, под которой лежал Джон; но сердце его болело. Вокруг его счастья собирались тучи. Большой Бэн отзвонил три, покрывая грохот колёс. Эти звуки что-то в нём всколыхнули, и, достав клочок бумаги, он начал царапать по нему карандашом. Набросав четверостишие, он шарил рукой по траве в поисках новой рифмы, когда что-то твёрдое коснулось его плеча — зелёный зонтик. Над ним стояла Флёр.

— Мне сказали, что ты заходил и вернёшься. Вот я и подумала, что ты, верно, пошёл сюда; так и оказалось — правда, удивительно?

— О Флёр! Я думал, ты меня забыла.

— Но ведь я сказала тебе, что не забуду.

Джон схватил её за руку.

— Это слишком большое счастье! Пройдём в другой конец.

Он почти поволок её по этому слишком тщательно разделанному парку, ища укромного места, где можно сидеть рядом и держаться за руки.

— Никто не вклинился? — спросил он, заглядывая под её нависшие ресницы.

— Один идиот появился на горизонте, но он не в счёт.

Джона кольнула жалость к идиоту.

— Знаешь, у меня был солнечный удар. Я тебе об этом не писал.

— Правда? Это интересно?

— Нет. Мама была ангельски добра. А у тебя ничего нового?

— Ничего. Только, кажется, я раскопала, что неладно между нашими семьями, Джон.

Сердце его сильно забилося.

— Мне кажется, мой отец хотел жениться на твоей матери, а досталась она твоему отцу.

— О!

— Я наткнулась на её фотографию; карточка была вставлена в рамку за мою. Конечно, если он очень её любил, ему было от чего взбеситься, не так ли?

Джон задумался.

— Нет, не от чего, если мама полюбила моего отца.

— Но предположим, они были помолвлены?

— Если бы мы были помолвлены и ты убедилась бы, что любишь кого-нибудь другого больше, чем меня, я сошёл бы, может быть, с ума, но не винил бы тебя.

— А я вину бы. Ты меня не должен предавать, Джон.

— Боже мой! Разве я мог бы!

— Мне кажется, отец никогда по-настоящему не дорожил моей матерью.

Джон смолчал. Слова Вала, два верховных мастера в клубе!

— Ведь мы не знаем, — продолжала Флёр, — может быть, это было для него большим ударом. Может, она дурно с ним обошлась. Мало ли что бывает с людьми.

— Моя мама не могла бы!

Флёр пожала плечами.

— Много мы знаем о наших отцах и матерях! Мы судим о них по тому, как они обходятся с нами. Но ведь они сталкивались и с другими людьми до нашего рождения. Со множеством людей. Возьми своего отца: у него три семьи!

— Неужели во всём проклятом Лондоне, — воскликнул Джон, — не найдётся местечка, где мы могли бы быть одни?

— Только в такси.

— Возьмём такси.

Когда они устроились рядом, Флёр вдруг спросила:

— Тебе нужно домой, в Робин-Хилл? Мне хочется посмотреть, где ты живёшь, Джон. Меня ждёт тётя, я у неё ночую сегодня, но ведь я успею вернуться к обеду. К вам в дом я, конечно, не зайду.

Джон окинул её восхищённым взглядом.

— Великолепно! Я покажу тебе наш дом со стороны роци — там мы никого не встретим. Есть поезд ровно в четыре.

Бог собственности и верные ему Форсайты, великие и малые, рантье, чиновники, коммерсанты, врачи и адвокаты, как и все трудящиеся, ещё не отработали своего семичасового рабочего дня, так что юноша и девушка из четвёртого их поколения, поспев на этот ранний поезд, ехали к РобинХиллу в пустом вагоне первого класса, пыльном и душном, ехали в блаженном молчании, держась за руки.

На станции они не увидели никого, кроме носильщиков да двух-трех незнакомых Джону фермеров, и пошли в гору по просёлочной дороге, где пахло пылью и жимолостью.

Для Джона, уверенного теперь в любимой и не боящегося новой разлуки, это было чудесное странствие, ещё более пленительное, чем их прогулки по холмам или вдоль Темзы. Это была любовь в лазоревом мареве — одна из тех ярких страниц жизни, на которых каждое слово и улыбка, каждое лёгкое касание руки были точно маленькие красные, синие и золотые бабочки, и цветы, и птицы, порхающие между строк, — счастливое бездумное общение, длившееся тридцать семь минут. К роце они подошли в тот час, когда доят коров. Джон не собирался дойти с Флёр до скотного двора, он хотел только привести её на такое место, откуда видно поле, сад и за ними дом. Они побрели между лиственниц и вдруг у поворота дорожки увидели Ирэн, сидевшую на стволе упавшего дерева.

Бывают разного рода удары: удар по позвоночнику, по нервам, по совести, но самый сильный и болезненный — удар по чувству собственного достоинства. Такой удар пришлось принять Джону теперь, когда он столкнулся с матерью. Он вдруг понял, что совершил некрасивый поступок. Привести Флёр открыто — да. Но украдкой... Сгорая от стыда, он призвал на помощь всю наглость, на какую только был способен.

Флёр улыбалась немного вызывающе. На лице Ирэн испуг быстро сменился равнодушно-приветливым выражением. Она заговорила первая:

— Очень рада вас видеть. Как мило, что Джон надумал привезти вас к нам.

— Мы не собирались заходить в дом, — выпалил Джон. — Я только хотел показать Флёр, где мы живём.

Мать его спокойно сказала:

— Зайдёмте выпьем чаю.

Сознавая, что только усугубил свою бестактность, Джон услышал ответ Флёр:

— Благодарю вас, я с удовольствием зашла бы, но мне надо вернуться к обеду. Я случайно встретила Джона, и мне захотелось посмотреть на его дом.

Как она владеет собой!

— Отлично, но всё-таки вы должны выпить у нас чаю. Мы вас отправим потом на вокзал. Мой муж будет рад вас видеть.

Взгляд матери, остановившись на миг на лице Джона, поверг его во прах, раздавил, как червя. Потом она пошла вперёд, и Флёр последовала за ней. Джон чувствовал себя ребёнком, плетясь следом за обеими женщинами, так свободно разговаривавшими об Испании и

Уонсдоне и о доме на зелёном холме за деревьями. Он следил, как скрещивались их взгляды, как они изучали друг друга — эти два существа, которых он любил больше всех на свете.

Он издали увидел отца, сидевшего под старым дубом, и заранее страдал от унижительного приговора, который придётся ему прочитать во взгляде старика, в его спокойной позе, в его худощавой фигуре, старческой, но изящной; Джону уже чудилась лёгкая ирония в его голосе и улыбке.

— Это Флёр Форсайт, Джолион; Джон привёз её посмотреть наш дом. Устроим чай сейчас же — наша гостья торопится на поезд. Джон, распорядись, дорогой, и вызови по телефону такси.

Было странно оставить её с ними одну, и всё-таки — как, несомненно, предусмотрела его мать — сейчас это оказалось наименьшим из зол; Джон побежал в дом. Теперь он больше ни на минуту не увидит Флёр с глазу на глаз, а они не сговорились о следующей встрече. Когда он вернулся под прикрытием горничных и чайного прибора, в саду под старым дубом не чувствовалось и следа неловкости. Неловкость оставалась в нём самом, но от этого было не легче. Разговор шёл о выставке на Корк-стрит.

— Мы, старики, — сказал его отец, — тщимся понять, почему мы не можем оценить нового искусства; вы с Джоном должны нас просветить.

— Его надо рассматривать как сатиру — вам не кажется? — сказала Флёр.

Джолион улыбнулся.

— Сатира? Нет, мне думается, в нём есть нечто большее, чем сатира. Что ты скажешь, Джон?

— Не знаю, — замялся Джон.

Лицо его отца внезапно омрачилось.

— Мы надоели молодым — наши боги, наши идеалы.

Руби им головы, кричат они, низвергай кумиры! Вернёмся к Ничему! И видит небо, они так и сделали — упёрлись в тупик. Джон поэт. Он тоже пойдёт этой дорогой и будет топтать под ногами то, что останется от нас. Собственность, красота, чувство — все только дым! В наши дни не должно быть никакой собственности, даже собственных чувств. Они стоят поперёк пути... в Ничто!

Джон слушал, ошеломлённый, почти оскорблённый словами отца, за которыми чуял непостижимый для него скрытый смысл. Он же ничего не хочет топтать!

— Ничто стало богом нынешнего дня, — продолжал Джолион, — мы пришли туда, где стояли русские шестьдесят лет назад, когда начинали нигилизм.

— Нет, папа, — вдруг воскликнул Джон, — мы только хотим жить и не знаем как, потому что нам мешает прошлое, — вот и все.

— Честное слово, — сказал Джолион, — глубоко сказано, Джон. Это ты сам придумал? Прошлое! Старые формы собственности, старые страсти и их последствия. Закурим?

Уловив, как мать его подняла руку к губам — быстро, словно призывая к молчанию, Джон подал ящичек с папиросами. Он поднёс спичку отцу и Флёр, потом закурил сам. Стукнуло его по лбу, как говорил Вал? Когда он не затягивался, дым был голубой, когда затягивался — серый; Джону понравилось ощущение в носу и сообщаемое папиросой чувство равенства. Хорошо, что никто не сказал: «Как? Ты тоже начал курить?» Он стал как будто старше.

Флёр посмотрела на часы и поднялась. Мать Джона пошла с нею в дом. Джон, оставшись один с отцом, молча попыхивал папиросой.

— Усади гостью в автомобиль, друг мой, — сказал Джолион, — и когда она уедет, попроси маму вернуться сюда ко мне.

Джон пошёл. Он подождал в холле; усадил Флёр в машину. Им так и не представилось случая перекинуться словом; едва удалось пожать на прощание руку. Весь вечер он ждал, что ему что-нибудь скажут. Но ничего не было сказано. Как будто ничего не произошло. Он пошёл спать и в зеркале над туалетным столиком встретил самого себя. Он не заговорил, не заговорил и двойник; но оба смотрели так, точно что-то затаили в мыслях.

IV. НА ГРИН-СТРИТ

Неизвестно, как впервые возникло впечатление, что Проспер Профон опасный человек: восходило ли оно к его попытке подарить Валу мэйфлайскую кобылу; к замечанию ли Флёр, что он, «как мидийское воинство, рыщет и рыщет»⁵¹; к его несуразному вопросу «Зачем вам жизнеспособность, мистер Кардиган?», или попросту к тому факту, что он был иностранцем, или, как теперь говорят, „чужеродным элементом“. Известно только, что Аннет выглядела особенно красивой и что Сомс продал ему Гогэна, а потом разорвал чек, после чего сам мсье Профон заявил: «Я так и не получил этой маленькой картинки, которую купил у мистера Форсайта».

Как ни подозрительно на него смотрели, он всё же часто навещал вечнозелёный дом Уинифрида на Грин-стрит, блистая благодушной тупостью, которую никто не принимал за наивность — это слово вряд ли было применимо к мсье Просперу Профону. Правда, Уинифрида всё ещё находила бельгийца «забавным» и посылала ему записочки, приглашая: «Заходите, поможете нам приятно убить вечер» (не отставать в своём словаре от современности было для неё необходимо как воздух).

Если он был для всех окружён ореолом таинственности, это обуславливалось тем, что он все испытал, все видел, слышал и знал и, однако, ничего ни в чём не находил, что казалось противоестественным. Уинифрида, всегда вращавшаяся в светском обществе, была достаточно знакома с английским типом разочарованности. Люди этого типа отмечены печатью некоторой изысканности и благородства, так что это даже доставляет удовольствие окружающим. Но ничего ни в чём не находить было не по-английски; а все неанглийское невольно кажется опасным, если не представляется определённо дурным тоном. Как будто настроение, порождённое войной, прочно уселось тёмное, тяжёлое, равнодушно улыбающееся — в ваших креслах ампир, как будто оно заговорило вдруг, выпятив толстые румяные губы над мефистофельской бородкой. Для англичанина это было «немного чересчур», как выражался Джек Кардиган: если нет ничего, ради чего стоило бы волноваться, то все-таки остаётся спорт, а спорт уж наверно стоит волнения. Уинифрида, всегда остававшаяся в душе истой Форсайт, не могла не чувствовать, что от подобной разочарованности ничего не возьмёшь, так что она действительно не имеет прав на существование. И впрямь мсье Профон слишком обнажал свой образ мыслей в стране, где такие явления принято вуалировать.

Когда Флёр после поспешного возвращения из Робин Хилла сошла в этот вечер к обеду, «настроение» стояло у окна в маленькой гостиной Уинифрида и глядело на Грин-стрит с таким выражением, точно ничего там не видело. Флёр тотчас отвернулась и уставилась на камин, как будто видела в топке огонь, которого там не было.

Профон отошёл от окна. Он был в полном параде: белый жилет, белый цветок в петлице.

— А, мисс Форсайт, очень рад вас видеть, — сказал он. — Как поживает мистер Форсайт? Я как раз сегодня говорил, что ему следует развлечься. Он скучает.

— Разве? — коротко ответила Флёр.

— Определённо скучает, — повторил мсье Профон, раскатывая «р».

Флёр резко обернулась.

— Сказать вам, что бы его развлекло? — начала она; но слова «услышать, что вы смылись» замерли у неё на губах, когда она увидела его лицо. Он обнажил все свои прекрасные белые зубы.

⁵¹ ...он, «как мидийское воинство, рыщет и рыщет»... — Мидяне — одно из воинственных племен, совершавших опустошительные набеги на Ханаанскую землю, упоминаемую в Библии. Здесь дана строка из стихотворения Джемса Мэйсона Мила (1818—1866).

— Я слышал сегодня в клубе про его прежние неприятности.

Флёр широко раскрыла глаза.

— Не понимаю, что вы имеете в виду.

Мсье Профон наклонил зализанную голову, словно желая умалить значение своих слов.

— То маленькое дельце, — сказал он, — ещё до вашего рождения.

Сознавая, что он очень умно отвлек её внимание от той лепты, которую сам вносил в неприятности её отца, Флёр не смогла, однако, воздержаться от вопроса, на который её толкало острое любопытство.

— Расскажите, что вы слышали.

— Зачем же? — уронил мсье Профон. — Вы все это знаете.

— Разумеется. Но я хотела бы убедиться, что вам не передали в превратном виде.

— Про его первую жену, — начал мсье Профон.

Едва подавив взглас: «У папы никогда не было другой жены!» — Флёр сказала:

— Да, так что же вы о ней слышали?

— Мистер Джордж Форсайт рассказал мне, как первая жена вашего отца впоследствии вышла замуж за его кузена Джолиона. Для мистера Форсайта это было, я думаю, немного неприятно. Я видел их сына — славный мальчик.

Флёр подняла глаза. Дьявольски усмехающееся лицо мсье Профона поплыло перед нею. Так вот она, вот причина! Героическим усилием, какого ещё не доводилось ей делать в жизни. Флёр заставила остановиться поплывшее лицо. Она не знала, заметил ли Профон её волнение. В гостиную вошла Уинифрид.

— О! Вы уже здесь. Мы с Имоджин провели восхитительный день на «Базаре младенца».

— Какого младенца? — машинально спросила Флёр.

— Общества «Спасай младенцев». Мне подвернулась чудесная покупка, дорогая моя. Кусок старинного армянского кружева — невероятная древность. Вы мне скажете ваше мнение о нём, Проспер.

— Тётя! — вдруг прошептала Флёр.

Испуганная странным тоном девушки, Уинифрид подошла к ней.

— Что с тобой? Тебе нехорошо?

Мсье Профон отошёл к окну, откуда как будто и не мог услышать их разговор.

— Тётя, он... он сказал мне, что папа был уже раз женат. Правда, что он развёлся с той женой и она вышла замуж за отца Джона Форсайта?

Никогда за всю свою жизнь матери четырех маленьких Дарти не испытывала Уинифрид такого смущения. Лицо её племянницы было бледно, глаза темны, напряжённый голос упал до шёпота.

— Твой отец не хотел, чтобы ты об этом узнала, — сказала она как могла внушительней. — Всегда так получается. Я много раз говорила ему, что он должен тебе рассказать.

— О! — воскликнула Флёр.

И все. Но и этого было довольно. Уинифрид погладила её по плечу — по крепкому плечу, приятному и белому! Она всегда невольно взглядом оценщика смотрела на племянницу, которая, конечно, выйдет когда-нибудь замуж, но не за этого мальчика Джона.

— Мы уже много лет как забыли об этом, — сказала она в утешение. Идём обедать!

— Нет, тётя. Мне нездоровится. Можно мне уйти наверх?

— Дорогая моя! — огорчилась Уинифрид. — Ты так близко принимаешь это к сердцу? Ведь между вами ещё ничего не было. Этот мальчик — ребёнок!

— Какой мальчик? У меня просто болит голова. И мне сегодня не хочется больше видеть этого человека.

— Хорошо, дорогая, — сказала Уинифрид. — Иди к себе и ляг. Я тебе пришлю брому, и я поговорю с Проспером. Зачем он вздумал сплетничать? Но должна сказать, по-моему, лучше даже, что ты всё узнала.

Флёр улыбнулась.

— Да, — сказала она и тихо ушла.

Когда она подымалась по лестнице, у неё кружилась голова, во рту было сухо, в груди щемило. Никогда за всю свою жизнь не знала она хотя бы минутного опасения, что не получит того, чего желала. День выдался полный сильных переживаний, а от завершившего их страшного открытия у неё и впрямь заболела голова. Не удивительно, что отец прячет ту фотографию, стыдится, что хранит её до сих пор. Но может ли он ненавидеть мать Джона, если хранит её фотографию? Флёр прижала руки к вискам, пытаясь разобраться в своих мыслях. А те рассказали ли Джону — её появление в Робин-Хилле не принудило ли их рассказать? Да или нет? Всё зависит теперь от этого. Она знает, и все знают, кроме, может быть, Джона.

Закусив губу, она шагала из угла в угол и думала с отчаянным напряжением. Джон любит свою мать. Если ему рассказали, как он поступит? Трудно предугадать. Но если нет, не может ли она... не может ли она завладеть им, выйти за него замуж, пока он не узнал? Она пересмотрела свои впечатления от Робин-Хилла. Лицо его матери, такое пассивное — тёмные глаза, волосы точно напудрены, в чертах сдержанное спокойствие, улыбка на губах — это лицо её смущало; и лицо его отца — доброе, осунувшееся, дышащее иронией. Она инстинктивно чувствовала, что они не могли тут же рассказать все Джону, не могли нанести ему удар, потому что для него узнать это будет, конечно, страшным ударом.

Только бы тётя не рассказала отцу, что ей это стало известно! Надо принять меры. Пока родители думают, что ни она, ни Джон ничего не знают, ещё не всё потеряно, можно замести следы и добиться желанного. Но её угнетала мысль о её одиночестве в борьбе. Все против неё, все! Совсем как Джон сказал сегодня: он и она хотят жить, но прошлое стоит им поперёк дороги, прошлое, в котором они не участвовали, которого они не понимают. Возмутительно! Вдруг она подумала о Джун. Не поможет ли она им? Почему-то Джун произвела на неё такое впечатление, точно она, сама ненавидя препятствия, должна сочувствовать их любви. Потом инстинкт подсказал другую мысль: «Не выдам ничего даже ей. Нельзя. Джон должен быть моим. Наперекор им всем». Ей принесли чашку бульона и таблетку излюбленного средства Уинифрид от головной боли. Она проглотила и то и другое. Потом явилась и сама Уинифрид. Флёр открыла кампанию словами:

— Знаете, тётя, я не хочу, чтобы думали, будто я влюблена в этого мальчика. Право, я почти с ним и не знакома.

Уинифрид при всей Своей опытности не была fine. Слова Флёр почти успокоили её. Конечно, девушке неприятно было услышать о семейном скандале, и Уинифрид приступила к смягчению тонов — задаче, к которой она была превосходно подготовлена, пройдя школу светского воспитания под опекой всегда спокойной мамы и отца, нервы которого нужно было постоянно беречь, и школу долголетней супружеской жизни с Монтегью Дарти. Её рассказ был рекордом упрощения. Первая жена Сомса была крайне взбалмошная особа. Был ещё молодой человек, которого раздавил омнибус, и она ушла от Сомса. Потом, через много лет, когда всё могло бы опять наладиться, она увлеклась их двоюродным братом Джолионом; Сомс, конечно, был принуждён с ней развестись. История эта давно всеми забыта, помнят только в семье. Впрочем, всё обернулось к лучшему: у Сомса теперь есть Флёр, а Джолион с Ирэн живут, по-видимому, очень счастливо, и сын их очень милый юноша. «А Вэл женился на Холли, и это окончательно всё сгладило». С этими утешительными словами Уинифрид погладила племянницу по плечу, подумала: «Аппетитная маленькая женщина — вся как литая» — и вернулась к Просперу Профону, который, несмотря на допущенную им бестактность, был в этот вечер очень «забавен».

В течение нескольких минут после ухода тётки Флёр оставалась под влиянием брома материального и духовного. Но потом вновь вернулось сознание реальности. Тётя обошла молчанием всё то, что действительно имело значение: чувство, ненависть, любовь, непримиримость страстных сердец. Так мало зная жизнь, едва успев коснуться любви. Флёр всё же инстинктом поняла, что слова так же далеки от факта, как монета от покупаемого на

неё хлеба. «Бедный папа! — думала она. — Бедная я! Бедный Джон! Но всё равно — раз я этого хочу, он будет мой». В окно своей комнаты она увидела, как Проспер Профон вышел в сумерках из подъезда и «порскнул прочь». Если он и её мать... как отразится это на её планах? Несомненно, отец в таком случае ещё больше привяжется к ней, так что в конце концов согласится на все, чего она пожелает, или тем скорее примирится со всем, что она делает без его ведома.

Она взяла горсть земли из ящика с цветами за окном и изо всей силы бросила вслед удаляющейся спине. Недобросила, конечно, но самая попытка подействовала на неё успокоительно.

Лёгкий ветер, врываясь в окно, приносил с Грин-стрит запах бензина неприятный запах.

V. ЧИСТО ФОРСАЙТСКИЕ ДЕЛА

Когда Сомс направился в Сити, собираясь завернуть к концу дня на Грин-стрит, захватить Флёр и самому отвезти её домой, его одолевало раздумье. Удалившись от дел, он теперь редко бывал в Сити, но всё-таки в конторе «Кэткот, Кингсон и Форсайт» у него был личный кабинет и два клерка для ведения чисто форсайтских дел — один на полном, другой на половинном окладе. Дела обстояли сейчас недурно — был благоприятный момент для продажи домов. И Сомс занимался ликвидацией недвижимого имущества своего отца, дяди Роджера и частично дяди Николаев. Благодаря своей проницательности и несомненной честности во всех денежных делах он получил право самовластно распоряжаться этими доверенными ему имуществами. Если Сомс думал то-то или то-то, не стоило труда думать ещё и самому. Он гарантировал безответственность многочисленным Форсайтам третьего и четвёртого поколений. Прочие опекуны — его двоюродные братья Роджер и Николае, его свойственники Туитимен и Спендер или муж его сестры Сисили все доверяли ему; он подписывался первый, а где подписался он, там подписывались за ним и остальные, и никто не становился ни на пенни беднее. Напротив, теперь все они стали на много пенни богаче, и ликвидация некоторых доверенных ему недвижимостей представлялась Сомсу в довольно розовом свете, насколько это мыслимо в нынешние времена; смущало только распределение дохода с ценностей, которые будут приобретены на реализованные суммы.

Итак, пробираясь по лихорадочным улицам Сити к самой тихой заводи в Лондоне, Сомс предавался раздумью. С деньгами становится до крайности туго; а нравы до крайности распустились. Результат войны. Банки не дают ссуд; сплошь и рядом нарушаются контракты. Чувствуется в воздухе какое-то веяние, которое ему не нравится, — и не нравится ему новое выражение лиц. Страна явно переживает полосу спекуляций и банкротств. Не давала удовлетворения мысль, что сам он и его доверители держали только такие ценности, которым ничто не грозило, кроме каких-нибудь сумасшедших мер, вроде аннулирования государственных долгов или налога на капитал. Если Сомс во что-либо верил, так это в «английский здравый смысл», то есть в умение тем или иным путём сохранить собственность. Не раз говаривал он, как до него Джемс: «Не знаю, к чему мы идём», но в душе не верил, что мы вообще идём куда-нибудь. Если послушаются его совета, всё останется, на своём месте, а он в конце концов только рядовой англичанин, который держится того, что имеет, и знает, что никогда не расстанется со своим имуществом, не получив взамен чего-либо более или менее равноценного. Ум его был способен на всяческую эквилибристику в вопросах материального блага, а его взгляды на экономическое положение Англии трудно было опровергнуть простому смертному. Взять к примеру его самого. Он человек состоятельный. Но разве это кому-нибудь наносит вред? Он не съедает десяти обедов в день; ест не больше, а может быть, и меньше иного бедняка. Он не тратит денег на распутство; потребляет не больше воздуха и едва ли больше воды, чем какой-нибудь слесарь или грузчик. Правда, он окружён красивыми вещами, но их производство дало людям возможность работать, а кто-нибудь должен же ими пользоваться. Он покупает картины, но

надо ведь поощрять искусство. Он, в сущности, то случайное русло, по которому текут деньги на оплату рабочей силы. Против чего тут возражать? В его руках деньги оборачиваются быстрее и с большей пользой, чем в руках государства и своры нерасторопных и корыстолюбивых чиновников. А те суммы, которые он каждый год откладывает от своих доходов, они точно так же поступают в оборот, как и израсходованные суммы, обращаясь в акции Треста водоснабжения, или муниципалитета, или ещё какого-нибудь разумного и полезного предприятия. Государство не платит ему жалованья за то, что он управляет своими собственными и чужими финансами, — он делает всё бесплатно. Это его главный козырь против национализации: владельцы частной собственности не получают жалованья и всё-таки всемерно способствуют оживлению денежного оборота. При национализации же как раз наоборот. В стране, задыхающейся от бюрократизма. Сомс Форсайт чувствовал, что доводы его нелегко опровергнуть.

Входя в свою тихую заводь, он с особенной досадой думал о том, что сотни беззастенчивых трестов и объединений, скупая на рынке всевозможные товары, искусственно взвинчивают цены. Это наглецы, насилующие индивидуалистическую систему. Все беды от них, так что даже утешительно видеть, что они наконец поджали хвост — боятся, что скоро их махинации лопнут и они сядут в галошу.

Контора «Кэткот, Кингсон и Форсайт» занимала первый и второй этажи дома на правой стороне улицы. Поднимаясь в свой кабинет. Сомс думал: «Пора бы нам освежить краску».

Его старый клерк Грэдмен сидел на своём всегдашнем месте перед огромной конторкой с бесчисленным множеством выдвигаемых ящичков. Второй клерк, вернее полклерка, стоял рядом с ним и держал отчёт маклера об инвестировании поступлений от продажи дома на Брайанстон-сквер, принадлежавшего Роджеру Форсайту. Сомс взял у него из рук отчёт.

— Ванкувер-Сити, — прочитал он. — Гм! Они сегодня упали.

С какой-то кряхтящей угодливостью старый Градмен ответил:

— Да-а; но все бумаги упали, мистер Сомс.

Полклерка удалился.

Сомс подложил документ к пачке других бумаг и снял шляпу.

— Я хочу посмотреть своё завещание и брачный контракт, Грэдмен.

Старый Грэдмен повернулся, насколько позволял его стул-вертушка, и вынул два дела из нижнего левого ящика. Снова, распрямив спину, он поднял седую голову, весь красным от этого усилия.

— Копии, сэр.

Сомс ваял бумаги. Его поразило вдруг, до чего Грэдмен похож на толстого, пегого дворового пса, которого они держали всегда на цепи в Шелтере, пока в один прекрасный день не вмешалась Флёр: она настояла, чтобы его спустили с цепи, после чего пёс тут же укусил кухарку и его пристрелили. Если Градмена спустить с цепи, он тоже укусит кухарку?

Обуздав свою легкомысленную фантазию. Сомс развернул брачный контракт. Восемнадцать лет он не заглядывал в эту папку — с тех самых пор, как после смерти отца и рождения Флёр он изменил своё завещание. Ему захотелось убедиться, значатся ли в нём слова «пока состоит под покровительством мужа». Да, значатся. Странное выражение, если вдуматься: «покровительство», «покрывать», не лежит ли в основе его коневодческая терминология? Проценты с пятнадцати тысяч фунтов, которые он ей выплачивает без вычета подоходного налога, пока она остаётся его женой, и после, в продолжение вдовства, «*dum casta*»⁵² — архаические и острые слова, вставленные, чтобы обеспечить безупречное поведение матери Флёр, Кроме того, его завещание закрепляло за его вдовой годовую ренту в тысячу фунтов при том же условии. Прекрасно! Сомс вернул папки Грэдмену, который принял их, не поднимая глаз, повернулся вместе со стулом, водворил их обратно в нижний

⁵² Латинская юридическая формула с буквальным значением «пока непорочна», то есть пока сохраняет верность покойному супругу.

ящик и вновь углубился в свои подсчёты.

— Грэдмен? Не нравится мне положение дел в стране: развелось много людей, совершенно лишённых здравого смысла. Мне нужно найти способ оградить мисс Флёр от всех возможных превратностей.

Грэдмен записал на промокашке цифру «2».

— Да-а, — сказал он, — появились неприятные веяния.

— Обычные страховки против возможных посягательств на капитал не достигают цели.

— Не достигают, — сказал Грэдмен.

— Допустим, лейбористы одержат верх или случится что-нибудь ещё того похуже.

Фанатики — самые опасные люди. Взять хотя бы Ирландию.⁵³

— Да-а, — сказал Грэдмен.

— Допустим, я теперь же составлю дарственную, по которой передам капитал дочери, тогда с меня, кроме процентов, не смогут взять ничего, если только они не изменят закона.

Грэдмен потрянул головой и улыбнулся.

— О, на это они не пойдут!

— Как знать, — пробормотал Сомс. — Я им не доверяю.

— Потребуется два года, сэр, чтобы капитал, переданный в дар, не рассматривался в этом смысле как наследство.

Сомс фыркнул. Два года! Ему ещё только шестьдесят пять.

— Не в этом дело. Набросайте дарственную, по которой все моё имущество переходило бы к детям мисс Флёр на равных долях, а проценты шли бы в пожизненное пользование сперва мне, а затем ей без права досрочной выплаты, и прибавьте оговорку, что в случае, если произойдёт что-либо, лишаящее её права на пожизненную ренту, эта рента переходит к её опекунам, назначенным оберегать её интересы, на полное их усмотрение.

Грэдмен прокряхтел:

— Такие крайние меры, сэр, в вашем возрасте... Вы выпускаете из рук контроль.

— Это моё личное дело, — отрезал Сомс.

Грэдмен написал на листе бумаги: «Пожизненное пользование — досрочная выплата — лишаящее права на ренту — полное их усмотрение...» — и сказал: — А кого в опекуны? Я предложил бы молодого Кингсона; симпатичный молодой человек и очень положительный.

— Да, можно взять его — одним из трех. Нужно ещё двоих. Из Форсайтов мне что-то ни один не кажется подходящим.

— А молодой мистер Николае? Он юрист. Мы ему передавали дела.

— Он пороха не выдумает, — сказал Сомс.

Улыбка растеклась по лицу Грэдмена, заплывшему жиром бесчисленных бараньих котлет, — улыбка человека, который весь день сидит.

— В его возрасте от него этого ждать не приходится, мистер Сомс.

— Почему? Сколько ему? Сорок?

— Да-а. Совсем ещё молодой человек.

— Хорошо. Возьмём его; но мне нужно кого-нибудь, кто был бы лично заинтересован.

Я что-то никого не нахожу.

— А что бы вы сказали о мистере Валериусе? Теперь, когда он вернулся в Англию?

— Вэл Дарти? А его отец?

— Н-да-а, — пробормотал Грэдмен, — отец его умер семь лет назад... Тут возможен отвод.

— Нет, — сказал Сомс, — с ним я не хотел бы связываться.

Он встал. Грэдмен вдруг сказал:

— Если введут налог на капитал, могут добраться и до опекунов, сэр. Выйдет то же самое. Я бы на вашем месте подождал.

⁵³ . Взять хотя бы Ирландию. — Имеется в виду освободительная борьба в Ирландии в 1920 г.

— Это верно, — сказал Сомс. — Я подумаю. Вы послали повестку на Вир-стрит о выселении ввиду сноса?

— Пока что не посылал. Съёмщица очень стара. Вряд ли она в таком возрасте склонна будет съезжать с квартиры.

— Неизвестно. Сейчас все заражены духом беспокойства.

— Всё-таки, сэр, сомнительно. Ей восемьдесят один год.

— Пошлите повестку, — сказал Сомс, — посмотрим, что она скажет. Да! А как с мистером Тимоти? У нас всё подготовлено на случай, если...

— У меня уже составлена опись его имущества; сделана оценка мебели и картин, так что мы знаем стоимость того, что мы будем выставять на аукцион. Однако мне будет жаль, если он умрёт. Подумать! Я знаю мистера Тимоти столько лет!

— Никто из нас не вечен, — сказал Сомс, снимая с вешалки шляпу.

— Да, — сказал Грэдмен, — но будет жаль — последний из старой семьи. Заняться мне этой жалобой на шум у жильцов с Олд-Кемптон-стрит? Уж эти мне музыканты — вечно с ними неприятности.

— Займитесь, Мне надо ещё зайти за мисс Флёр, а поезд отходит в четыре. До свидания, Грэдмен.

— До свидания, мистер Сомс. Надеюсь, мисс Флёр...

— Здоровье её в порядке, но слишком она непоседлива.

— Да-а, — прокряхтел Грэдмен, — молодость.

Сомс вышел, раздумывая: «Старый Грэдмен! Будь он моложе, я взял бы его в опекуны. Не вижу никого, на кого я мог бы положиться с уверенностью, что он отнесётся к делу вполне добросовестно».

Оставив эту заводь с её неестественным покоем и желчной математической точностью, он шёл и думал: «Пока под покровительством! Почему нельзя ограничить в правах⁵⁴ людей вроде Профона вместо множества работающих немцев?» — и остановился, поражённый той бездной неприятностей, которые могла причинить такая непатриотическая мысль. Но ничего не поделаешь! Ни одной минуты не имеет человек полного покоя. Всегда и во всём что-нибудь кроется. И он направил свои шаги к Грин-стрит.

Ровно через два часа Томас Грэдмен, повернувшись вместе со своим стулом, запер последний ящик конторки, положил в жилетный карман связку ключей, такую внушительную, что от неё образовалось вздутие справа, у печени, обтёр рукавом свой старый цилиндр, взял зонт и вышел на лестницу. Толстенький, коротенький, затянутый в сюртук, он шёл в направлении к рынку Ковент-Гарден. Изо дня в день он неукоснительно делал пешком этот конец от конторы до станции подземки для моциона; и редко когда он не заключал по пути какой-нибудь глубоко продуманной сделки по части овощей и фруктов. Пусть рождаются новые поколения, меняются моды на шляпы, происходят войны, умирают старые Форсайты — Томас Грэдмен, верный и седой, должен ежедневно совершать свою прогулку и покупать свою ежедневную порцию овощей; конечно, не те пошли времена, и сын его лишился ноги, и в магазинах не дают, как бывало, славненьких плетёнок донести покупку, и эта подземка — впрочем, очень удобная штука; однако жаловаться не приходится: здоровье у него — по его возрасту — хорошее; проработав в адвокатуре сорок пять лет, он зарабатывает добрых восемьсот фунтов в год; за последнее время стало очень хлопотно — все больше комиссионные за сбор квартирной платы, а вот теперь идёт ликвидация недвижимой собственности Форсайтов, значит и это скоро кончится, — и жизнь опять-таки сильно вздорожала; но, в сущности, не стоило бы тревожиться. «Все мы под богом ходим», как гласит его любимая поговорка; однако недвижимость в Лондоне — что сказали бы мистер Роджер и мистер Джемс, если бы видели, как продаются дома? — тут

⁵⁴ . Почему нельзя ограничить в правах... Профона вместо множества работающих немцев? — Имеются в виду ограничения, которые Версальский договор предусматривал для немецких подданных в странах-победительницах.

пахнет безверием; а мистер Сомс — он все хлопочет. Переждать, пока умрут все ныне живущие, да ещё двадцать один год, дальше, кажется, некуда идти; однако здоровье у него превосходное, и мисс Флёр хорошенькая девушка; она выйдет замуж; но теперь очень у многих вовсе нет детей — сам он в двадцать два года уже имел первого ребёнка; мистер Джолион женился, будучи ещё в Кембридже, и обзавёлся ребёнком в том же году — боже праведный! Это было в шестьдесят девятом году, задолго до того, как старый мистер Джолион (тонкий знаток по части недвижимого имущества!) отобрал своё завещание у мистера Джемса. Да! Вот были времена. В те дни усиленно покупали недвижимость, и не было этого хаки, и люди не сшибали друг друга с ног, чтобы как-нибудь выкрутиться самим; и огурцы стоили два пенса штука; а дыни — чудные были дыни — таяли во рту! Пятьдесят лет прошло с того дня, когда он явился в контору мистера Джемса, и мистер Джемс сказал ему: «Ну, Грэдмен, вы ещё юнец, но, увидите, со временем вы будете зарабатывать пятьсот фунтов в год», и он зарабатывал, и боялся бога, и служил Форсайтам, и соблюдал овощную диету по вечерам. Купив «Джон Буля» (хоть этот журнал был ему не по вкусу — слишком криклив) и держа в руках скромный пакет в толстой бумаге, он вошёл в подземку и ступил на эскалатор, который понёс его вниз, к недрам земли.

VI. ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СОМСА

По дороге на Грин-стрит Сомс подумал, что ему следовало бы зайти к Думетриусу на Саффолк-стрит — узнать, каковы перспективы с покупкой Крома-старшего у Болдерби. Стоило, пожалуй, пережить войну, если она привела к тому, что Кром-старший поступает в продажу! Старый Болдерби умер, сын его и внук убиты на войне, наследство перешло к племяннику, который решил все распродать, одни говорят — ввиду политико-экономического положения Англии, другие — из-за астмы.

Если картина попадёт в руки Думетриусу, цена её станет недоступной; прежде чем попытаться приобрести её самому, необходимо разведать, не завладел ли ею Думетриус. Итак, Сомс побеседовал с Думетриусом о Монтичелли⁵⁵ — не войдёт ли он теперь в цену, когда мода требует, чтобы живопись была чем угодна, только не живописью; поговорил о будущем Джонса⁵⁶, коснулся вскользь также и Бакстона Найта.⁵⁷

Только перед самым уходом он добавил:

— Значит, Болдерби так и не продал Крома?

С гордой улыбкой расового превосходства (как и следовало ожидать) Думетриус ответил:

— Я вам его добуду, мистер Форсайт, будьте уверены, сэр.

Трепетание его век укрепило Сомса в решении написать непосредственно новому лорду Болдерби и внушить ему, что с Кромом-старшим возможен только один достойный образ действий — избегать комиссионеров.

— Прекрасно. Всего хорошего, — сказал он и ушёл, только зря раскрыв свои карты.

На Грин-стрит он узнал, что Флёр ушла и вернётся поздно вечером: она ещё на день останется в Лондоне. Совсем приуныв, он сел один в такси, торопясь на поезд.

Домой он приехал около шести. Было душно, кусали комары, собиралась гроза. Забрав внизу письма. Сомс направился в свою туалетную, чтобы отряхнуть с себя прах Лондона.

⁵⁵ . Монтичелли Адольф (1831 —1885) — французский художник, итальянец по происхождению, создатель «призрачного» жанра.

⁵⁶ Джонс Огастас (1879—1961) — английский художник, известен своими замечательными портретами, а также пейзажами и жанровыми полотнами.

⁵⁷ Бакстон Найт (1843—1908) — английский пейзажист.

Скучная почта: расписка, счёт за покупки Флёр. Проспект о выставке офортов. Письмо, начинающееся словами:

«Сэр, Считаю своим долгом...»

Верно, призыв благотворительного общества или что-нибудь неприятное. Сомс сразу посмотрел на подпись. Подписи не оказалось. Неуверенно он посмотрел на обороте, исследовал все уголки. Не будучи общественным деятелем. Сомс никогда ещё не получал анонимных писем, и первым его побуждением было разорвать и выбросить послание как нечто опасное; вторым побуждением было прочесть его — ибо не слишком ли оно опасно?

«Сэр, Считаю своим долгом довести до Вашего сведения, что, хоть я и не имею в этом деле никакой корысти, Ваша супруга состоит в связи с иностранцем...»

Дойдя до этого слова, Сомс машинально остановился и посмотрел на марку. Насколько он мог проникнуть в непроницаемую загадку почтового штемпеля, там стояло нечто кончающееся на «си», с двумя «т» в середине. Челси? Нет! Бэттерси? Возможно! Он стал читать дальше.

«Иностранцы все на один покров. Всех бы их в мешок да в воду! Вышеупомянутый субъект встречается с Вашей супругой два раза в неделю. Мне это известно по личному наблюдению, а смотреть, как надувают англичанина, противно моей натуре. Последите, и Вы убедитесь, правду ли я говорю. Я бы не вмешивался, если б это не был грязный иностранец.

Ваш покорный слуга.

Сомс бросил письмо с таким чувством, как если бы, войдя в спальню, нашёл её полной чёрных тараканов. Дрожь отвращения охватила его. Анонимность письма придавала этой минуте сугубую гнусность. Но что было хуже всего — эта тени притаилась на задворках его сознания с того воскресного вечера, когда Флёр, указав на прогуливавшегося По лужайке Проспера Профона, сказала: «Рыщет, проныра!» Не в связи ли с этим пересмотрел он сегодня своё завещание и брачный контракт? А теперь анонимный наглец, по-видимому, без всякой корысти — только в удовлетворение своей ненависти к иностранцам — выволок это из темноты, где Сомс предпочёл бы это оставить. Ему, в его возрасте, насильно навязывают такие сведения, и о ком? — о матери Флёр! Он поднял письмо с ковра, разорвал его пополам и потом, уже сложив, чтобы разорвать на четыре части, остановился и перечёл. В эту минуту он принял непреклонное решение. Он не допустит, чтобы его втянули в новый скандал. Нет! Что бы он ни надумал предпринять по этому делу — а оно требовало самого дальновидного и осторожного подхода, — он не сделает ничего такого, что могло бы повредить Флёр. Когда решение созрело, мысли его снова стали послушны рулю. Он совершил свои омовения. Руки его дрожали, когда он вытирал их. Скандала он не допустит, но что-нибудь надо же сделать, чтобы положить этому конец! Он прошёл в комнату жены и остановился озираясь. Мысль отыскать что-нибудь изобличающее, что дало бы ему основание держать её под угрозой, даже не пришла ему в голову. Он не нашёл бы ничего такого — Аннет слишком практична. Мысль о слежке за женой была оставлена прежде, чем успела сложиться, слишком памятен был ему подобный опыт в прошлом. Нет! У него не было иных улик, кроме этого разорванного письма от «анонимного наглца», чьё бесстыдное вторжение в его личную жизнь Сомс находил глубоко возмутительным. Противно пользоваться этой единственной уликой, но всё же, пожалуй, придётся. Какое счастье, что Флёр заночевала в городе! Стук в дверь прервал его мучительные размышления.

— Мистер Майкл Монт, сэр, ждёт в гостиной. Вы примете его?

— Нет, — сказал Сомс. — То есть да! Я сейчас сойду вниз.

Хоть чем-нибудь, хоть на несколько минут отвлечься от этих мыслей!

Майкл Монт во фланелевом костюме стоял на веранде и курил папиросу. Он бросил её при появлении Сомса и провёл рукой по волосам.

К этому молодому человеку у Сомса было двойственное отношение. По старинным понятиям, он был, несомненно, ветрогон, безответственный юнец, однако было что-то подкупающее в его необычайно весёлой манере выпаливать свои суждения.

— Заходите, — сказал Сомс. — Хотите чаю?

Монт зашёл.

— Я думал, Флёр уже вернулась, сэр. Но я рад, что не застал её. Дело в том, что я отчаянно в неё влюбился; так отчаянно влюбился, что решил довести это до вашего сведения. Конечно, очень несовременно обращаться сперва к родителям, но я думаю, что вы мне это простите. Со своим собственным отцом я уже поговорил, и он сказал, что если я перейду к оседлому образу жизни, он меня поддержит. Он даже одобряет эту мысль. Я ему рассказал про вашего Гойю.

— Ах так, он одобряет эту мысль? — невыразимо сухо повторил Сомс.

— Да, сэр. А вы?

Сомс ответил слабой улыбкой.

— Видите ли, — снова начал Монт, вертя в руках свою соломенную шляпу, между тем как волосы его, уши и брони — все, казалось, вздыбилось от волнения, — кто прошёл через войну, тот не может действовать не спеша.

— Наспех жениться, а потом уйти от жены, — медленно проговорил Сомс.

— Но не от Флёр, сэр! Вообразите себя на моём месте.

Сомс прокашлялся. Довод убедительный, что и говорить.

— Флёр слишком молода.

— О нет, сэр. Мы нынче очень стары. Мой отец кажется мне совершеннейшим младенцем; его мыслительный аппарат не поддаётся никаким влияниям. Но он, видите ли, барт, а потому не двигается вперёд.

— Барт? — переспросил Сомс. — Как это прикажете понимать?

— Баронет. Я тоже со временем буду бартом. Но я это как-нибудь переживу.

— Так ступайте с богом и переживите это как-нибудь, — сказал Сомс.

— О нет, сэр, — взмолился Монт, — я просто должен околачиваться поблизости, а то у меня уж никаких шансов не останется. Во всяком случае, вы ведь позволите Флёр поступить так, как она захочет? Мадам ко мне благосклонна.

— В самом деле? — ледяным тоном сказал Сомс.

— Но вы не окончательно меня отстраняете?

Молодой человек посмотрел на него так жалостно, что Сомс улыбнулся.

— Вы, возможно, считаете себя очень старым, — сказал он, — но мне вы кажетесь крайне молодым. Всегда и во всём рваться вперёд не есть доказательство зрелости.

— Хорошо, сэр, в вопросе нашего возраста я сдаюсь. Но чтоб доказать вам серьёзность моих намерений, я занялся делом.

— Рад слушать.

— Я вступил компаньоном в одно издательство: родитель ставит монету.

Сомс прикрыл рот ладонью — у него едва не вырвались слова: «Да поможет бог несчастному издательству!» Серые глаза его пристально глядели на молодого человека.

— Я ничего не имею против вас, мистер Монт, но Флёр для меня все. Все, вы понимаете?

— Да, сэр, понимаю; но и для меня она — все.

— Может быть. Как бы там ни было, я рад, что вы меня предупредили. И больше, мне кажется, нам нечего пока об этом говорить.

— Значит, как я понимаю, дело за нею, сэр?

— И, надеюсь, долги ещё будет за нею.

— Вы, однако, меня ободряете, — сказал неожиданно Монт.

— Да, — ответил Сомс, — весь опыт моей жизни не позволяет мне поощрять поспешные браки. До — свидания, мистер Монт. Я не передам Флёр того, что вы мне сказали.

— Ох, — протянул Монт, — право, я готов; голову себе размозжить из-за неё. Она это великолепно знает.

— Очень возможно...

Сомс протянул ему руку. Рассеянное пожатие, тяжёлый вздох — и вскоре за тем шум удаляющегося мотоцикла вызвал в уме картину взметённой пыли и переломанных костей.

«Вот оно, младшее поколение!» — угрюмо подумал Сомс и вышел в сад на лужайку. Садовники недавно косили, и в саду ещё пахло свежим сеном предгрозового воздух удерживал все запахи низко над землёй. Небо казалось лиловатым, тополя — чёрными. Две-три лодки пронесли по реке, торопясь укрыться от бури... «Три дня прекрасной погоды, — думал Сомс, — и потом гроза». Где Аннет? Может быть, с этим бельгийцем — ведь она молодая женщина. Поражённый странным великодушием этой мысли, он вошёл в беседку и сел. Факт был налицо, и Сомс принимал его так много значила для него Флёр, что жена значила мало, очень мало; француженка, она всегда была для него главным образом любовницей, а он становился равнодушен к этой стороне жизни. Удивительное дело, при своей неизменной заботе об умеренности и верном помещении капитала, свои чувства Сомс всегда отдавал целиком кому-нибудь одному. Сперва Ирэн, теперь Флёр. Он смутно это сознавал, сидя здесь в беседке, сознавал и опасность такой верности. Она однажды привела его к краху и скандалу, но теперь... теперь она будет ему спасением: Флёр так ему дорога, что ради неё он не допустит нового скандала. Попадись ему только автор этого анонимного письма, он бы его отучил соваться в чужие дела и поднимать грязь со дна болота, когда другим желательно, чтобы она оставалась на дне... Далёкая вспышка молнии, глухой раскат грома, крупные капли дождя застучали о тростниковую крышу над головой. Сомс продолжал бесстрастно чертить пальцем рисунок на пыльной доске дачного столика. Обеспечить будущее Флёр! «Я хочу ей счастливого плавания, — думал он, — всё прочее в моём возрасте не имеет значения». Скучная история — жизнь! Что имеешь, того никогда не можешь удержать при себе. Одно отстранишь,пустишь другое. Ничего нельзя за собой обеспечить. Он потянулся и сорвал красную розу с ветки, застилавшей окошко. Цветы распускаются и опадают, странная штука — природа. Гром громыхал и раскалывался, катясь на восток, вниз по реке; белесые молнии били в глаза; острые вершины тополей чётко рисовались в небе, тяжёлый ливень гремел, и грохотал, и обволакивал беседку, где Сомс сидел в бесстрастном раздумье.

Когда гроза кончилась, он оставил своё убежище и пошёл по мокрой дорожке к берегу реки.

В камышах укрылись два лебедя — его старые знакомцы, и он стоял, любуясь благородным достоинством в изгибе этих белых шей и в крупных змеиных головах. «А в том, что я должен сделать, нет достоинства», — думал он. И всё-таки сделать это было необходимо, чтобы не случилось чего похуже. Аннет, где бы она ни была днём, теперь должна быть дома — скоро обед. По мере приближения момента встречи с нею всё труднее было решить, что ей сказать и как сказать. Новая и опасная мысль пришла ему на ум: что если она захочет свободы, чтобы выйти замуж за этого типа? Все равно развода она не получит. Не для того он на ней женился. Образ Проспера Профона лениво профланировал перед глазами и успокоил его. Такие мужчины не женятся. Нет, нет! Мгновенный страх сменился досадой. «Лучше ему не попадаться мне на глаза, — подумал Сомс. — Армянобельгийская помесь. Ублюдок, воплощающий...» Но что воплощал собою Проспер Профон? Конечно, ничего существенного. И всё-таки нечто слишком реальное: безнравственность, сорвавшуюся с цепи, разочарование, вынюхивающее добычу. Аннет переняла у него выражение: «Je m'en fiche». Подозрительный субъект! Космополит с континента — продукт времени. Если и возможно было более уничтожающее ругательство. Сомс его не знал.

Лебеди повернули головы и глядели мимо в какую-то им одним ведомую даль. Один из них испустил тихий посвист, вильнул хвостом, повернулся, словно слушаясь руля, и поплыл прочь. Второй последовал за ним. Белые их тела и стройные шеи вышли из поля его зрения, и Сомс направился к дому.

Аннет сидела в гостиной, одетая к обеду, и Сомс, поднимаясь по лестнице, думал: «Трудно судить по наружному виду». За обедом, отличавшимся строгостью количества и совершенством качества, разговор иссяк на двух-трех замечаниях по поводу гардин в гостиной и грозы. Сомс ничего не пил. Немного переждав, он последовал за женой в гостиную. Аннет сидела на диване между двумя стеклянными дверьми и курила папиросу. Она откинулась на подушки, прямая, в чёрном платье с глубоким вырезом, закинула ногу на ногу и полузакрыла свои голубые глаза; сероголубой дымок выходил из её красивых полных губ, каштановые волосы сдерживала лента; на ногах у неё были тончайшие шёлковые чулки, и открытые туфельки на очень высоких каблуках подчёркивали крутой подъём. Прекрасное украшение для какой угодно комнаты! Сомс, зажав разорванное письмо в руке, которую засунул глубоко в боковой карман визитки, сказал:

— Я закрою окно; поднимается сырость.

Закрыв и остановился перед Дэвидом Коксом, красовавшимся на кремовой обшивке ближайшей стены.

О чём она думает? Сомс никогда в жизни не понимал женщин, за исключением Флёр, да и ту не всегда. Сердце его билось учащённо. Но если действовать, то действовать сейчас — самый удобный момент. Отвернувшись от Дэвида Кокса, он вынул разорванное письмо.

— Вот что я получил.

Глаза её расширились, уставились на него и сделались жёсткими.

Сомс протянул ей письмо.

— Оно разорвано, но прочесть можно.

И он опять отвернулся к Дэвиду Коксу:⁵⁸ морской пейзаж, хороший по краскам, но мало движения. «Интересно бы знать, что делает сейчас Профон? — думал Сомс. — Однако я его изрядно удивлю». Уголком глаза он видел, что Аннет держит письмо на весу; её глаза движутся из стороны в сторону под сенью подчёрнённых ресниц и нахмуренных подчёрнённых бровей. Она уронила письмо, вздрогнула слегка, улыбнулась и сказала:

— Какая грязь!

— Вполне согласен, — ответил Сомс, — позорно. Это правда?

Белый зуб прикусил красную нижнюю губу.

— А если и правда? Ну и наглость!

— Это всё, что ты можешь сказать?

— Нет...

— Так говори же.

— Что пользы в разговорах?

Сомс произнёс ледяным голосом:

— Значит, ты подтверждаешь?

— Я ничего не подтверждаю. Ты дурак, что спрашиваешь. Такой мужчина, как ты, не должен спрашивать. Это опасно.

Сомс прошёлся по комнате, стараясь подавить закипавшую ярость.

— Ты помнишь, — сказал он, останавливаясь против неё, — чем ты была, когда я взял тебя в жёны? Счетовод в ресторане.

— А ты помнишь, что я была больше чем вдвое моложе тебя?

Сомс, разрывая первый жёсткую встречу их глаз, отошёл обратно к Дэвиду Коксу.

— Я не намерен с тобой препираться. Я требую, чтобы ты положила конец этой дружбе. Я вхожу в это дело лишь постольку, поскольку оно может отразиться на Флёр.

⁵⁸ Дэвид Кокс (1783—1859) — английский художник-пейзажист

— А! На Флёр!

— Да, — упрямо повторил Сомс, — на Флёр. Тебе он такая же дочь, как и мне.

— Как вы добры, что этого не отрицаете.

— Ты намерена исполнить моё требование?

— Я отказываюсь сообщать тебе мои намерения.

— Так я тебя заставлю.

Аннет улыбнулась.

— Нет, Сомс. Ничего ты не можешь сделать. Не говори слов, в которых потом раскаешься.

У Сомса жилы налились на лбу. Он раскрыл рот, чтобы дать исход негодованию, и не мог. Аннет продолжала:

— Подобных писем больше не будет, это я тебе обещаю — и довольно.

Сомса передёрнуло. Эта женщина, которая заслуживает — он сам не знал чего, — эта женщина обращается с ним, точно с ребёнком.

— Когда двое поженились и живут так, как мы с тобой, Сомс, нечего им беспокоиться друг о друге. Есть вещи, которые лучше не вытаскивать на свет, людям на посмешище. Ты оставишь меня в покое, не ради меня, ради себя самого. Ты стареешь, а я ещё нет. Ты научил меня быть очень практичной.

Сомс, прошедший через все стадии чувств, переживаемых человеком, которого душат, тупо повторил:

— Я требую, чтобы ты прекратила эту дружбу.

— А если я не прекращу?

— Тогда... тогда я исключу тебя из моего завещания.

Удар, видно, не попал в цель: Аннет засмеялась.

— Ты будешь долго жить. Сомс.

— Ты развратная женщина, — сказал неожиданно Сомс.

Аннет пожала плечами.

— Не думаю. Совместная жизнь с тобой умертвила во мне многое, не спорю; но я не развратна, нет. Я только благоразумна. Ты тоже образумишься, когда все как следует обдумаешь.

— Я повидаюсь с этим человеком, — угрюмо сказал Сомс, — и предостерегу его.

— Mon cher, ты смешон! Ты меня не хочешь, а поскольку ты меня хочешь, постольку ты меня имеешь; и ты требуешь, чтобы всё остальное во мне умерло! Я ничего не подтверждаю, Сомс, но должна сказать, что вовсе не собираюсь в моём возрасте отказываться от жизни; а потому советую тебе: успокойся. Я и сама не хочу скандала. Отнюдь нет. И больше я тебе ничего не скажу, что бы ты ни делал.

Она потянулась, взяла со столика французский роман и открыла его. Сомс глядел на неё и молчал, слишком полный смешанных чувств. Мысль о Профоне почти заставляла его желать эту женщину, и это, раскрывая основу их взаимоотношений, пугало человека, не очень склонного к самоанализу. Не сказав больше ни слова, он вышел вон и поднялся в свою картинную галерею. Вот что значит жениться на французенке! Однако без неё не было бы Флёр. Она исполнила своё назначение.

«Она права, — думал он. — Я ничего не могу сделать. Я даже не знаю, было что-нибудь между ними или нет». Инстинкт самосохранения подсказал ему захлопнуть клапан, дать огню погаснуть от недостатка воздуха. Пока человек не поверил, что что-то есть, ничего и нет.

Ночью он зашёл в её спальню. Аннет приняла его, как всегда, спокойно, точно между ними ничего не произошло. И он вернулся к себе со странным чувством умиротворённости. Когда не хочешь видеть, можно и не видеть. Он не хочет и впредь не захочет. Когда видишь, на этом ничего не выгадываешь, ничего! Выдвинув ящик в шкафу, он достал из саше носовой платок и рамку с фотографией Флёр. Поглядев немного на неё, он сдвинул карточку, и явилась другая — та старинная фотография Ирэн. Ухала сова, пока он стоял у окна и

глядел на карточку. Ухала сова, красные. ползучие розы, казалось, сгустили свою окраску, доносился запах цветущих лип. Боже! Тогда было совсем другое. Страсть!.. Память!.. Прах!

VII. ДЖУН ХОЧЕТ ПОМОЧЬ

Скульптор, славянин, прожил некоторое время в НьюЙорке, эгоист, страдает безденежьем. Такого человека вполне естественно встретить вечером в ателье Джун Форсайт в Чизике на берегу Темзы. Вечер шестого июля Борис Струмоловский, выставивший здесь некоторые свои работы, пока что чересчур передовые для всякого другого места, начал очень неплохо: рассеянная молчаливость, унося от земли и придавая ему какое-то сходство с Христом, удивительно шла к его юному, круглому, широкоскулому лицу, обрамлённому светлыми волосами, подстриженными чёлкой, как у девушки. Джун была знакома с ним три недели и всё ещё видела в нём лучшее воплощение гения и надежду будущего; своего рода звезда Востока, забредшая на Запад, где её не хотят оценить. До этого вечера основной темой его разговоров были впечатления от Соединённых Штатов, прах которых он только что отряхнул со своих ног, — страны, по его мнению, настолько во всех отношениях варварской, что он там почти ничего не продал и был взят на подозрение полицией; у этой страны, говорил он, нет своего расового лица, нет ни свободы, ни равенства, ни братства, нет принципов, традиций, вкуса — словом, нет души. Он оставил её без сожалений и приехал в единственную страну, где можно жить по-человечески. В минуты одиночества Джун сокрушённо думала о нём, стоя перед его творениями — пугающими, но полными силы и символического смысла, когда их растолкуют. То, что Борис, в ореоле своих золотых волос, напоминающих раннюю итальянскую живопись, поглощённый своей гениальностью до забвения всего на свете (несомненно, единственный признак, по которому можно распознать подлинного гения), то, что он всё-таки был «несчастненьким», волновало её горячее сердце почти до забвения Пола Поста. И она уже приступила было к чистке своей галереи с целью заполнить её шедеврами Струмоловского. Но с первых же шагов встретились затруднения. Пол Пост артачился; Воспович язвил. Со всем пылом гениальности, которой она пока что не отрицала за ними, они требовали предоставления им галереи ещё по меньшей мере на шесть недель. Приток американцев на исходе — скоро начнётся отлив. Приток американцев — это их законное право, их единственная надежда, их спасение, раз в нашей «подлой» стране никто не интересуется искусством. Джун уступила их доводам. В конце концов Борис не должен возражать, если они захватят безраздельно всю выгоду от притока американцев, которых он так глубоко презирает.

Вечером шестого июля она изложила всё это Борису без посторонних, в присутствии одной только Ханны Хобди, известной своими гравюрами на средневековые темы и Джимми Португала, редактора журнала «Неоартист». Она изложила это ему с той неожиданной доверчивостью, которую постоянное общение с неоартистическим миром не смогло иссушить в её горячем, великодушном сердце. Однако, когда Струмоловский выступил с ответной речью, Джун уже на второй минуте этой речи начала поводить своими синими глазами, как поводит кошка хвостом. Это, сказал он, характерно для Англии, самой эгоистической в мире страны, страны, которая сосёт кровь других стран, сушит мозги и сердце ирландцев, индусов, египтян, буров и бирманцев, всех прекраснейших народов земли; грубая, лицемерная Англия! Ничего другого он и не ждал, когда приехал в страну, где климат — сплошной туман, а народ — сплошные торгаши, совершенно слепые к искусству, погрязшие в барышничестве и грубейшем материализме. Услышав шёпот Ханны Хобди: «Слушайте, слушайте!» — и сдавленный смешок Джимми Португала, Джун побагровела, и вдруг её прорвало:

— Зачем же тогда вы приехали? Мы вас не звали.

Это замечание так странно шло вразрез со всем, чего можно было ожидать от неё, что Струмоловский только протянул руку и взял папиросу.

— Англия никогда не любила идеалистов, — сказал он.

Но что-то исконно английское в сердце Джун было глубоко возмущено; может быть, пробудилось унаследованное от старого Джолиона чувство справедливости.

— Вы у нас нахлебничаете, — сказала она, — а потом поносите нас. По-вашему, это, может быть, честно, но помоему — нет.

Она вдруг открыла то, что давно до неё открыли другие: необычайно толстую кожу, которой иногда прикрывается самолюбие гения. Юное и простодушное лицо Струмоловского превратилось в презрительную маску.

— Нахлебничаем? Никто у вас не нахлебничает. Мы берём то, что нам причитается, десятую долю того, что причитается. Вы пожалеете о ваших словах, мисс Форсайт.

— Нет, — сказала Джун, — не пожалею.

— О! Мы отлично знаем, мы, художники: вы нас берёте, чтоб извлечь из нас, что можно. Мне от вас ничего не надо, — и он выпустил изо рта клуб дыма от купленного ею табака.

Решение поднялось в ней порывом ледяного ветра в буре оскорблённого стыда.

— Очень хорошо. Можете убрать отсюда ваши произведения.

Почти в то же мгновение она подумала: «Бедный мальчик! Он живёт на чердаке и, верно, не имеет денег нанять такси. При посторонних! Вышло прямо гнусно».

Юный Струмоловский решительно тряхнул головой; волосы его, густые, ровные, гладкие, точно золотое блюдце, не растрепались при этом.

— Я могу прожить и без средств, — пронзительно зазвучал его голос, мне часто приходилось так жить ради моего искусства. Это вы, буржуа, принуждаете нас тратить деньги.

Слова ударили Джун, как булыжник в рёбра. После всего, что она сделала для искусства, она, которая волновалась его волнениями, нянчилась с его «несчастненькими»! Она подыскивала нужные слова, когда раскрылась дверь, и горничная-австрийка зашептала:

— К вам молодая леди, gnadiges Fraulein⁵⁹.

— Где она?

— В столовой.

Джун бросила взгляд на Бориса Струмоловского, на Ханну Хобди, на Джимми Португала и, ничего не сказав, вышла, очень далёкая от душевного равновесия. Войдя в столовую, она увидела, что молодая леди — не кто иная, как Флёр. Девушка выглядела прелестной, хоть и была бледна. В этот час разочарования «несчастненькая» из её собственного племени была желанным гостем для Джун, инстинктивно тянувшейся всегда к гомеопатическим средствам.

Флёр пришла, конечно, из-за Джона, а если и нет, то чтобы выведать что-нибудь от неё. И Джун почувствовала в это мгновение, что помогать кому-нибудь — единственно сносное занятие.

— Итак, вы вспомнили моё приглашение, — начала она.

— Да, какой славный, уютный домик! Но, пожалуйста, гоните меня прочь, если у вас гости.

— И не подумаю, — ответила Джун. — Пусть поварятся немного в собственном соку. Вы пришли из-за Джона?

— Вы сказали тогда, что, по-вашему, от нас не следует скрывать. Ну вот, я узнала.

— О! — сказала Джун. — Некрасивая история, правда?

Они стояли друг против друга, разделённые маленьким непокрытым столом, за которым Джун обычно обедала. В вазе на столе стоял большой букет исландских маков; девушка подняла руку и затянута в замшу пальцем притронулась к лепестку. Её новомодное затейливое платье с оборками на боках и узкое в коленях неожиданно понравилось Джун — очаровательный цвет, тёмно-голубой, как лён.

⁵⁹ Барышня (нем.)

«Просится на холст», — подумала Джун. Её маленькая комната с выбеленными стенами, с полом и камином из старинного розового изразца и с решёткой на окне, в которое солнце бросало свой последний свет, никогда не казалась такой прелестной, как сейчас, когда её украсила фигура девушки с молочно-белым, слегка нахмуренным лицом. Джун неожиданно остро вспомнила, как была миловидна она сама в те давние дни, когда её сердце было отдано Филипу Босини, мёртвому возлюбленному, который отступился от неё, чтобы разорвать навсегда зависимость Ирэн от отца этой девушки. Флёр и об этом узнала?

— Ну, — сказала она, — как же вы намерены поступить? Прошло несколько секунд, прежде чем Флёр ответила.

— Я не хочу, чтобы Джон страдал. Я должна увидеть его ещё раз и положить этому конец.

— Вы намерены положить конец?

— Что мне ещё остаётся делать?

Девушка вдруг показалась Джун нестерпимо безжизненной.

— Вы, полагаю, правы, — пробормотала она. — Я знаю, что так же думает и мой отец; но... я никогда не поступила бы так сама. Я не могу сдаваться без борьбы.

Какая она осторожная и уравновешенная, эта девушка, как бесстрастно звучит её голос!

— Все, понятно, думают, что я влюблена.

— А разве нет?

Флёр пожала плечами. «Я должна была знать заранее, — подумала Джун. Она дочь Сомса — рыба! Хотя он...»

— Чего же вы хотите от меня? — спросила она с некоторой брезгливостью.

— Нельзя ли мне увидаться здесь завтра с Джоном, когда он поедет к Холли? Он придёт, если вы черкнёте ему сегодня несколько слов. А после вы, может быть, успокоили бы их там, в Робин-Хилле, что всё кончено и что им незачем рассказывать Джону о его матери?

— Хорошо! — сказала коротко Джун. — Я сейчас напишу, и вы можете сами опустить письмо. Завтра, в половине третьего. Меня не будет дома.

Она села к маленькому письменному столу в углу комнаты. Когда она обернулась, кончив письмо, Флёр всё ещё стояла, перебирая замшевыми пальцами маки.

Джун запечатала конверт.

— Вот, возьмите. Если вы не влюблены, тогда, конечно, не о чём больше говорить. Такое уж Джону счастье.

Флёр взяла письмо.

— Я страшно вам благодарна.

«Хладнокровная особа, — подумала Джун. — Джон, сын её отца, любит и нелюбим — и кем? — дочерью Сомса. Какое унижение!»

— Это все?

Флёр кивнула головой; оборки её колебались и трепетали, когда она шла, покачиваясь, к двери.

— До свидания!

— До свидания... модная куколка, — пробормотала Джун, закрывая дверь. «Ну и семейка!» И она зашагала обратно в ателье.

Борис Струмоловский молчал, похожий на — Христа, а Джимми Португал разносил всех и каждого, за исключением группы, которую представлял в печати его «Неоартист». В числе осуждённых был Эрик Коббли и ещё несколько гениев, которые в то или иное время занимали первое место в репертуаре Джун, пользовались её помощью и преклонением. С чувством отвращения и пустоты она отошла к окну, чтобы ветер с реки унёс звучащие в ушах скрипучие слова.

Но когда Джимми Португал кончил наконец и ушёл с Ханной Хобди, она села и добрых полчаса утешала Бориса Струмоловского, обещая ему по меньшей мере месяц американского счастья, так что он удалился, сохранив в полном порядке свой золотой ореол.

«А всё-таки, — думала Джун, — Борис удивительный человек».

VIII. ЗАКУСИВ УДИЛА

Понять, что ты один против всех, значит (для некоторых натур) освободиться от морального гнёта. Флёр не испытывала угрызений совести, когда вышла из дома Джун. Прочитав осуждение и досаду в синих глазах своей маленькой родственницы, она почувствовала радость, что одурачила её. Она презирала Джун за то, что старая идеалистка не разгадала её истинных целей.

Положить конец? Как бы не так! Скоро она им всем покажет, что положила только начало. И она улыбалась самой себе на империале автобуса, который вёз её назад в Мейфер. Но улыбка сбежала с её губ, спугнутая судорогой предчувствий и тревоги. Совладает ли она с Джоном? Она закусила удила — заставит ли она и его сделать то же? Она знает правду и всю опасность промедления — он не знает ни того, ни другого; разница очень существенная.

«Не рассказать ли ему? — думала она. — Так будет, пожалуй, вернее». Это дурацкое стечение обстоятельств не вправе портить их любовь. Джон должен понять. Этого нельзя допустить. С совершившимся фактом люди всегда рано или поздно мирятся. От этой философской мысли, довольно глубокой для её возраста, она перешла к соображению менее философическому. Если уговорить Джона на немедленный тайный брак, а потом он узнает, что ей была известна вся правда, — что тогда? Джон ненавидит окольные дороги. Так не лучше ли рассказать ему? Но вставшее в памяти лицо его матери упорно мешало такому намерению. Флёр боялась. Мать Джона имеет над ним власть; может быть, большую, чем она сама. Кто знает? Риск слишком велик. Поглощённая этими подсознательными расчётами, она проехала мимо Грин стрит до самого отеля «Ритц». Здесь она сошла и пошла пешком обратно вдоль Грин-парка. Гроза омыла каждое дерево, с них ещё капало. Тяжёлые капли падали на её оборки, и, чтобы укрыться, она перешла через улицу под окна «Айсиум-Клуба». Случайно подняв глаза, она увидела в фонаре окна мсье Профона с незнакомым ей высоким толстым человеком. Сворачивая на Грин-стрит, она услышала, что её окликнули по имени, и увидела догонявшего её «проныру». Он снял шляпу — глянцеви́тый котелок, какие она особенно ненавидела.

— Добрый вечер, мисс Форсайт. Не могу ли я оказать вам какую-нибудь маленькую услугу?

— Да — перейти на ту сторону.

— Скажите на милость! За что вы меня так не любите?

— Вам кажется?

— Похоже на то.

— Хорошо, я скажу вам: потому что вы заражаете меня чувством, что жить на свете не стоит труда.

Мсье Профон улыбнулся.

— Бросьте, мисс Форсайт, не огорчайтесь. Всё уляжется. Ничто на земле не прочно.

— Нет, многое прочно, — вскричала Флёр, — по крайней мере для меня, в особенности приязнь и неприязнь.

— Однако это делает меня немного несчастным.

— А я думала, что вас ничто не может сделать счастливым или несчастным.

— Я не люблю докучать людям, а потому уезжаю на своей яхте.

Флёр удивлённо вскинула на него глаза.

— Куда?

— В маленькое плавание, к островам Океании или ещё куда-нибудь, сказал мсье Профон.

Флёр почувствовала и облегчение и обиду. Он явно давал ей понять, что порывает с её матерью. Как смеет он иметь с нею какую бы то ни было связь и как он смеет её порывать!

— Всего хорошего, мисс Форсайт! Кланяйтесь от меня миссис Дарти. Право, не такой

уж я дурной человек. Всего хорошего!

Он остался стоять на углу со шляпой в руке. Оглянувшись украдкой, она увидела, как он — элегантный и грузный — направился обратно в клуб.

«Он даже любить не может с убеждением, — подумала она. — Что станет делать мама?»

Сны её в эту ночь были отрывочны и тревожны; она встала с тяжёлой головой и сразу принялась за изучение Уитекерского альманаха. Каждый Форсайт убеждён в глубине души, что в любой ситуации самое важное — факты. Пусть даже ей удастся одолеть предубеждение Джона, — без точно разработанного плана для выполнения их отчаянного замысла у них ничего не выйдет. Неоценимый справочник сообщил ей, что каждому из них надо достичь двадцати одного года, а иначе требуется чьё-то согласие, которого им, конечно, не получить; потом она совсем заблудилась среди указаний о разрешениях, справках, повестках, районах и, наконец, наткнулась на слова «дача ложных показаний». Ерунда! Кто, в самом деле, осудит их, если они неправильно укажут свой возраст ради того, чтобы пожениться по любви? Она кое-как позавтракала и вернулась к Уитекеру. Чем больше она знакомилась с ним, тем меньше у неё оставалось уверенности; и вот, лениво перевернув страницу, она напала на раздел «Шотландия». В Шотландии можно пожениться без всякой канители. Ей нужно только прожить там двадцать один день, а потом приезжает Джон, и они пред лицом двух свидетелей могут объявить себя мужем и женой. И что всего важнее — это действительно делает их мужем и женой. Так будет лучше всего; и Флёр тут же перебрала в памяти всех своих школьных подруг. Мэри Лэм! Мэри Лэм — молодчина и живёт в Эдинбурге. И у неё есть брат. Можно поехать погостить к Мэри Лэм они с братом и будут свидетелями. Флёр прекрасно знала, что многие девушки нашли бы все это излишним; ей с Джоном достаточно было бы поехать куда-нибудь вдвоём на воскресенье, а потом заявить родителям: «Мы фактически муж и жена, теперь надо это узаконить». Но Флёр недаром была Форсайт; она чувствовала сомнительность подобного предприятия и заранее боялась выражения лица, с которым её отец встретит такое заявление. Кроме того, возможно, что Джон на это не пойдёт; он так в неё верит, нельзя ронять себя в его глазах. Нет! Мэри Лэм предпочтительней, и сейчас самый сезон для поездки в Шотландию. Значительно успокоенная. Флёр уложила свой чемодан, счастливо избежала встречи с тёткой и села в автобус на Чизик. Она приехала слишком рано и отправилась в Кью-Гарденс, но не нашла покоя среди его цветов, клумб, деревьев с ярлычками, широких зелёных лужаек и, проглотив в павильоне чашку кофе и два бутерброда с паштетом из килек, вернулась в Чизик и позвонила у подъезда Джун. Австрийка провела её в столовую. Теперь, когда Флёр знала, какое препятствие стоит перед ней и Джоном, её тяготение к нему возросло в десять раз, как если бы он был игрушкой с острыми краями или ядовитой краской, какие у неё, бывало, отбирали в детстве. Если она не добьётся своего и не получит Джона навсегда, она, казалось ей, умрёт от горя. Правдой или неправдой она должна его получить — и получит! Круглое тусклое зеркало с очень старым стеклом висело над розовым изразцовым камином. Она стояла и глядела на своё отражение — бледное лицо, тёмные круги под глазами. Лёгкий трепет прошёл по её нервам. Но вот раздался звонок, и, подкравшись к окну, она увидела, что Джон стоит перед дверью, приглаживая волосы и облизывая губы, словно и он старался совладать с нервным волнением.

Когда он вошёл, она сидела спиной к двери, на одном из двух стульев с плетёными сиденьями, и сразу сказала:

— Садись, Джон, я хочу серьёзно поговорить с тобой.

Джон сел на стол рядом с ней, и, не глядя на него, она продолжала:

— Если ты не хочешь меня потерять, мы должны пожениться.

Джон обомлел.

— Как? Ты узнала ещё что-нибудь?

— Нет, но я почувствовала это в Робин-Хилле и после, дома.

— В Робин-Хилле... — Джон запнулся. — В РобинХилле всё прошло гладко. Мне

ничего не сказали.

— Но нам будут препятствовать. Я это ясно прочла на лице твоей матери. И на лице моего отца.

— Ты видела его с тех пор?

Флёр кивнула. Идёт ли в счёт небольшая добавочная ложь?

— Но, право, — пылко воскликнул Джон, — я не понимаю, как они могут сохранять такие чувства после стольких лет!

Флёр подняла на него глаза.

— Может быть, ты недостаточно любишь меня?

— Недостаточно люблю? Я! Когда я...

— Тогда обеспечь меня за собой.

— Не говоря им?

— Заранее — нет.

Джон молчал. Насколько старше выглядел он теперь, чем каких-нибудь два месяца назад, когда она увидела его впервые, — на два года старше!

— Это жестоко оскорбило бы маму, — сказал он.

Флёр отняла руку.

— Ты должен сделать выбор.

Джон соскользнул со стола и встал перед ней на колени.

— Но почему не сказать им? Они не могут помешать нам, Флёр!

— Могут! Говорю тебе — могут!

— Каким образом?

— Мы от них в полной зависимости. Начнутся денежные стеснения и всякие другие. Я не из терпеливых, Джон.

— Но это значит обмануть их.

Флёр встала.

— Ты не любишь меня по-настоящему, иначе ты не колебался бы. «Иль он судьбы своей боится...»⁶⁰

Джон силой заставил её снова сесть. Она продолжала торопливо:

— Я всё обдумала. Мы должны поехать в Шотландию. Когда мы поженимся, они скоро примирятся. С фактами люди всегда примиряются. Неужели ты не понимаешь, Джон?

— Но так жестоко оскорбить их! Так он скорее готов оскорбить её, чем своих родителей!

— Хорошо. Пусти меня!

Джон встал и заслонил спиной дверь.

— Должно быть, ты права, — медленно проговорил он, — но я хочу подумать.

Она видела, что чувства в нём кипят, он им мучительно ищет выражения, но не захотела ему помочь. Она в этот миг ненавидела себя и почти ненавидела его. Почему он предоставляет ей одной защищать их любовь? Это нечестно. А потом она увидела его глаза, полные обожания и отчаяния.

— Не смотри так. Я только не хочу терять тебя, Джон.

— Ты не можешь потерять меня, пока ты меня любишь.

— О нет, могу.

Джон положил руки ей на плечи.

— Флёр, ты что-то узнала и не говоришь мне.

Вот он, прямой вопрос, которого она боялась! Она посмотрела ему в глаза и ответила:

— Нет, — сожгла корабли. Лишь бы получить его. Он простит ей ложь. И, обвинив его шею руками, она его поцеловала в губы. Выиграла! Она почувствовала это по биению его сердца на своей груди, по тому, как закрылись его глаза. — Я хочу обеспечить. Обеспечит!

⁶⁰ «Иль он судьбы своей боится...» — Строка из стихотворения шотландца Монтроза (1612—1650).

«,— шептала она. — Обещай.

Джон не отвечал. На лице его лежала тишина предельного смятения. Наконец он сказал:

— Это всё равно что дать им пощёчину. Я должен немного подумать. Правда, Флёр, должен.

Флёр выскользнула из его объятий.

— Ах так! Хорошо.

И внезапно она разразилась слезами разочарования, стыда и чрезмерного напряжения. Последовало пять остро несчастных минут. Раскаянию и нежности Джона не было границ; но он не дал обещания. Она хотела крикнуть: «Отлично! Раз ты недостаточно любишь меня, прощай!» — но не смела. С детства привыкшая к своеволию, она была ошеломлена отпором со стороны такого юного, нежного и преданного существа. Хотела оттолкнуть его прочь от себя, испытать, как подействует на него гнев и холод, — и не смела. Сознание, что она замышляла толкнуть его вслепую на непоправимое, ослабляло искренность обиды, искренность страсти; и даже в свои поцелуи она не смогла вложить столько обольстительности, сколько хотела. Это бурное маленькое столкновение окончилось, ничего не разрешив.

— Не выпьете ли чаю, *gnadiges Fraulein*?

Оттолкнув от себя Джона, она крикнула:

— Нет, нет, благодарю вас! Я сейчас ухожу.

И, прежде чем он успел её остановить, ушла.

Она шла крадучись, отирая горевшие пятнистым румянцем щеки, испуганная, разгневанная, донельзя несчастная. Так сильно разволновала она Джона и всё-таки ни о чём не договорилась, не добилась от него обещания. Но чем темней, чем ненадёжней казалось будущее, тем упорней «воля к обладанию» впивалась щупальцами в плоть её сердца, как притаившийся клещ.

На Грин-стрит никого не было дома. Унифрид пошла с Имоджин смотреть пьесу, которую одни находили аллегорической, другие — «очень, понимаете, возбуждающей». Унифрид и Имоджин соблазнились отзывом «других». Флёр поехала на вокзал. Ветер дышал в окно вагона запахом поздних покосов и кирпичных заводов Вест-Дрэйтона, овевал её неостывшие щёки. Ещё недавно казалось, что так легко сорвать цветы, а теперь они были все в шипах и колючках. Но тем прекрасней и желанней был для её упрямого сердца золотой цветок, вплетённый в венок из терновника.

IX. ПОЗДНО ЖАЛЕТЬ

Прибыв домой, Флёр, как ни была она поглощена своими переживаниями, не могла не почувствовать странности царившей вокруг атмосферы. Мать была мрачна и неприступна; отец удалился в теплицу размышлять о жизни. Оба точно воды в рот набрали. «Это из-за меня? — думала Флёр. — Или из-за Профона?» Матери она сказала:

— Что случилось с папой?

Мать в ответ пожала плечами.

У отца спросила:

— Что случилось с мамой?

— Что случилось? А что с ней может случиться? — ответил Сомс и вонзил в неё острый взгляд.

— Кстати, — уронила Флёр, — мсье Профон отправляется в «маленькое» плаванье на своей яхте, к островам Океании.

Сомс рассматривал лозу, на которой не росло ни единой виноградинки.

— Неудачный виноград, — сказал он. — Ко мне приходил молодой Монт. Он просил меня кое о чём касательно тебя.

— А-а! Как он тебе нравится, папа?

— Он... он продукт времени, как вся нынешняя молодёжь.

— А ты чем был в его возрасте, папа?

Сомс хмуρο улыбнулся.

— Мы занимались делом, а не всякой ерундой — аэропланами, автомобилями, ухаживаниями.

— А ты никогда не ухаживал?

Она избегала смотреть на него, но видела его достаточно хорошо. Бледное лицо его залила краска, брови, в которых чернота ещё мешалась с сединою, стянулись в одну черту.

— Для волокитства у меня не было ни времени, ни склонности.

— Ты, может быть, знал большую страсть?

Сомс пристально посмотрел на неё.

— Да, если хочешь, и ничего хорошего она мне не дала!

Он отошёл, шагая вдоль труб водяного отопления. Флёр молча семенила за ним.

— Расскажи мне об этом, папа!

— Что тебя может интересовать в таких вещах в твоём возрасте?

— Она жива?

Он кивнул головой.

— И замужем?

— Да.

— Мать Джона Форсайта, правда? И она была твоею первой женой?

Флёр сказала это по наитию. Несомненно, причиной его сопротивления был страх, как бы дочь не узнала о той давнишней ране, нанесённой его гордости. Но она сама испугалась своих слов. Этот старый и такой спокойный человек передёрнулся, точно обожжённый хлыстом, и острая нота боли прозвучала в его голосе:

— Кто тебе это сказал? Если твоя тётка, то... Для меня невыносимо, когда об этом говорят.

— Но, дорогой мой, — мягко сказала Флёр. — Ведь это было так давно.

— Давно или недавно, я...

Флёр стояла и гладила его руку.

— Я всегда старался забыть, — вдруг заговорил он. — Я не хочу, чтобы мне напоминали. — И затем, как будто давая волю давнему и тайному раздражению, он добавил: — В наши дни люди этого не понимают. Да, большая страсть. Никто не знает, что это такое.

— А вот я знаю, — сказала Флёр почти шёпотом.

Сомс, стоявший к ней спиной, круто обернулся.

— О чём ты говоришь — ты, ребёнок!

— Я, может быть, унаследовала это, папа.

— Как?

— К её сыну.

Он был бледен как полотно, и Флёр знала, что и сама не лучше. Они стояли, глядя друг другу в глаза, в парной жаре, напоённой рыхлым запахом земли, герани в горшках и вызревающего винограда.

— Это безумие, — уронил наконец Сомс с пересохших губ.

Еле слышно Флёр прошептала:

— Не сердись, папа. Это сильнее меня.

Но она видела, что он и не сердится; только он был потрясён, глубоко потрясён.

— Я думал, что с этим дурачеством давно покончено.

— О нет. Это стало в десять раз сильнее.

Сомс стукнул каблуком по трубе. Это беспомощное движение растрогало девушку, несколько не боящуюся отца, несколько.

— Дорогой, что должно случиться, от того не уйти.

— «Должно», — повторил Сомс. — Ты не знаешь, о чём говоришь. Мальчику тоже всё известно?

Кровь прилила к её щекам.

— Нет ещё.

Он опять от неё отвернулся и, подняв одно плечо, пристально разглядывал склёпку труб.

— Мне это крайне противно... — сказал он вдруг. — Противней быть не может. Сын того человека. Это... это извращение.

Флёр почти бессознательно отметила, что он не сказал: «Сын той Женщины», — и снова заработала интуиция. Значит, призрак той большой страсти ещё таится в уголке его сердца?

Она взяла его под руку.

— Отец Джона совсем больной и дряхлый: я его видела.

— Ты? « — Я ездила туда с Джоном, я видела их обоих.

— И что же они тебе сказали?

— Ничего. Они были очень вежливы.

— Ещё бы!

Он вернулся к созерцанию склёпки и потом вдруг сказал:

— Я должен это обдумать, вечером мы с тобой поговорим ещё раз.

Флёр знала, что сейчас ничего больше не добьётся, и тихо вышла, оставив его разглядывать склёпку труб. Она прошла во фруктовый сад и бродила среди малины и смородины, без малейшего желания полакомиться. Два месяца назад у неё было легко на сердце, два дня назад — пока Проспер Профон не раскрыл ей тайну. А теперь она опутана паутиной страстей, законных прав, запретов и бунта, узами любви и ненависти. В этот тёмный час уныния даже она, такая по природе стойкая, не видела выхода. Как быть? Как Подчинить обстоятельства своей воле и добиться того, что желанно сердцу? И вдруг, обогнув высокую самшитовую, изгородь, она едва не столкнулась со своей матерью, которая шла быстро, зажав в руке развёрнутое письмо. Грудь её вздымалась, глаза расширились, щеки пылали. Флёр мгновенно подумала: «Яхта! Бедная мама!»

Аннет кинула на неё испуганный взгляд широко раскрытых глаз и сказала:

— J'ai la migraine⁶¹.

— Мне очень жаль, мама.

— О да, жаль — тебе и твоему отцу.

— Но, мама, мне правда жаль. Я знаю, каково это.

Испуганные глаза Аннет раскрылись ещё шире, так что над синевой показался белок.

— Бедное невинное дитя, — сказала она.

Это говорит её мать, образец самообладания и здравого смысла! Всё стало страшным. Её отец, её мать, она сама. А только два месяца назад, казалось, у них было всё, чего они желали.

Аннет скомкала в руке письмо. Флёр поняла, что реагировать на этот жест нельзя.

— Не могу ли я чем-нибудь облегчить твою мигрень, мама?

Аннет мотнула головой и пошла дальше, покачивая бёдрами.

«Какая жестокость, — думала Флёр — А я-то радовалась. Противный человек! Чего они тут рыскают и портят людям жизнь! Мама ему, верно, надоела. Какое он имеет право, чтоб моя мама ему надоела? Какое право?» При этой мысли, такой естественной и такой необычной. Флёр усмехнулась коротким сдавленным смешком.

Конечно, ей следовало бы радоваться, но чему тут радоваться? Отцу это безразлично. Ну, а матери? Пожалуй, что и нет. Флёр вернулась во фруктовый сад и села под вишней. Ветер вздыхал в верхних ветвях; небо густо синело сквозь их нежную зелень, и очень белыми казались облака, которые почти всегда присутствуют в речном пейзаже. Пчелы, укрываясь от ветра, мягко жужжали, и на сочную траву падали тёмные тени от плодовых

⁶¹ У меня мигрень (фр.)

деревьев, посаженных её отцом двадцать пять лет назад. Птиц почти не было слышно, кукушка смолкла, только лесные голубя продолжали ворковать. Дыхание гудящего, воркующего лета недолго действовало успокоительно на возбуждённые нервы. Обхватив руками колени, она принялась строить планы. Нужно заставить отца поддержать её. Зачем он станет противиться, раз она будет счастлива? Прожив без малого девятнадцать лет, она успела узнать, что его единственной заботой было её будущее. Значит, нужно только убедить его, что будущее для неё не может быть счастливым без Джона. Ему это кажется сумасбродной прихотью. Как глупы старики, когда воображают, будто могут судить о чувстве молодых! Сам же он сознался, что в молодости любил большою страстью. Он должен понять. «Он копил для меня деньги, — размышляла она, — но что в них пользы, если я не буду счастлива?» Деньги со всем, что можно на них купить, не приносят счастья. Его приносит только любовь. Большеглазые ромашки в этом саду, которые придают ему иногда такой мечтательный вид, растут, дикие и счастливые, и для них наступает их час.

«Не нужно было называть меня Флёр, — размышляла она, — если они не желали, чтобы и я дожила до своего часа и была бы счастлива, когда мой час придёт. На пути не стоит никаких реальных препятствий, вроде бедности или болезни, только чувства — призрак несчастного прошлого. Джон правильно сказал: они не дают людям жить, эти старики! Они делают ошибки, совершают преступления и хотят, чтобы дети за них расплачивались». Ветер стих, покусывали комары. Флёр встала, сорвала ветку жимолости и вошла в дом.

Вечер выдался жаркий. Флёр и её мать обе надели тонкие, светлые, открытые платья. Стол был убран бледными цветами. Флёр поразило, каким всё казалось бледным: лицо отца и плечи матери, и бледная обшивка стен, и бледносерый бархатистый ковёр, и абажур на лампе бледный, и даже суп. Ни одного красочного пятна не было в комнате — ни хотя бы вина в бледных стаканах, потому что никто не пил. А что не бледное, то было черным: костюм отца, костюм лакея, её собака, устало растянувшаяся в дверях, чёрные гардины с кремовым узором. Влетела ночная бабочка, тоже бледная. И был молчалив этот траурный обед после знойного, душного дня.

Отец окликнул её, когда она собралась выйти вслед за матерью.

Она села рядом с ним за стол и, отколов от платья веточку бледной жимолости, поднесла её к носу.

— Я много думал, — начал он.

— Да, дорогой?

— Для меня очень мучительно говорить об этом, но ничего не поделаешь. Не знаю, понимаешь ли ты, как ты много значишь для меня; я никогда об этом не говорил — не считал нужным, но ты... ты для меня все. Твоя мать...

Он запнулся и стал разглядывать вазочку венецианского стекла.

— Да?

— Ты единственная моя забота. Я ничего не имею, не желаю с тех пор, как ты родилась.

— Знаю, — прошептала Флёр.

Сомс провёл языком по пересохшим губам.

— Ты, верно, думаешь, что я мог бы уладить для тебя это дело? Ты ошибаешься. Я... я тут бессилён.

Флёр молчала.

— Независимо от моих личных чувств, — продолжал Сомс более решительно, — есть ещё те двое, и они не пойдут мне навстречу, что бы я им ни говорил. Они... они меня ненавидят, как люди всегда ненавидят тех, кому нанесли обиду.

— Но он? Но Джон?

— Он их плоть и кровь, единственный сын у своей матери. Вероятно, он для неё то же, что ты для меня. Это — мёртвый узел.

— Нет, — воскликнула Флёр, — нет, папа!

Сомс откинулся на спинку стула, бледный и терпеливый, как будто решил ничем не выдавать своего волнения.

— Слушай, — сказал он. — Ты противопоставляешь чувство, которому всего два месяца — два месяца, Флёр! — тридцатипятилетнему чувству. На что ты надеешься? Два месяца — первое увлечение, каких-нибудь пять-шесть встреч, несколько прогулок и бесед, несколько поцелуев — против... против такого, чего ты и вообразить себе не можешь, чего никто не может вообразить, кто сам не прошёл через это. Образумься, Флёр. У тебя просто летнее умопомрачение.

Флёр растерзала жимолость в мелкие летучие клочки.

— Умопомрачение у тех, кто позволяет прошлому портить все. Что нам до прошлого? Ведь это наша жизнь, а не ваша.

Сомс поднёс руку ко лбу, на котором Флёр увидела вдруг блестящие капли пота.

— Чьи вы дети? Чей он сын? Настоящее сцеплено с прошлым, будущее с тем и другим. От этого не уйти. — Флёр никогда до сих пор не слышала, чтобы её отец философствовал. Как ни сильно было её волнение, она смутилась; поставила локти на стол и положила подбородок на ладони.

— Но, папа, обсудим практически. Мы с ним любим друг друга. Денег у нас обоих много, нет никаких существенных препятствий — только чувства. Похороним прошлое, папа!

Он ответил глубоким вздохом.

— К тому же, — ласково сказала Флёр, — ведь ты не можешь нам помешать.

— Может быть, — сказал Сомс, — если бы всё зависело от меня одного, я и не пытался бы вам мешать; я знаю: чтобы сохранить твою привязанность, я многое должен сносить. Но в этом случае не всё зависит от меня. Я хочу, чтобы ты поняла это, пока не поздно. Если ты будешь думать и впредь, что всё должно делаться по-твоему, если поощрять тебя в этом заблуждении, тем тяжелее будет потом для тебя удар, когда ты поймёшь, что это не так.

— Папа! — воскликнула Флёр. — Помогите мне! Ты можешь, я знаю!

Сомс испуганно мотнул головой.

— Я? — сказал он горько. — Я? Ведь все препятствие — такты, кажется, выразилась? — все препятствие во мне. В твоих жилах течёт моя кровь.

Он встал.

— Всё равно жалеть теперь поздно. Но не настаивай на своей прихоти, будешь потом пенять на себя. Оставь своё безумие, дитя моё, моё единственное дитя!

Флёр припала лбом к его плечу.

Все её чувства были в смятении. Но что пользы показывать это ему? Никакого толку! Она оторвалась от него и убежала в сумерки, без ума от горя и гнева, но не убеждённая. Всё было в ней неотчётливо и смутно, как тени и контуры в саду, за исключением воли к обладанию. Тополь врезался в тёмную синеву неба, задевая белую звезду. Роса смочила туфли и обдавала прохладой обнажённые плечи. Флёр спустилась к реке и остановилась, наблюдая лунную дорожку на тёмной воде. Вдруг запах табака защекотал ей ноздри, и вынырнула белая фигура, как будто сотворённая лучами луны. Это стоял на дне своей лодки Майкл Монт во фланелевом костюме. Флёр услышала тонкое шипение его папиросы, погасшей в воде.

— Флёр, — раздался его голос, — не будьте жестоки К несчастному. Я так давно жду вас!

— Зачем?

— Сойдите в мою лодку.

— И не подумайте.

— Почему?

— Я не русалка.

— Неужели вы лишены всякой романтики? Не будьте слишком современны, Флёр!

Он очутился на тропинке в трех шагах от неё.

— Уходите!

— Флёр, я люблю вас. Флёр!

Флёр коротко рассмеялась.

— Приходите снова, — сказала она, — когда я не получу, того, чего желаю.

— Чего же вы желаете?

— Не скажу.

— Флёр, — сказал Монт, и странно зазвучал его голос, — не издевайтесь надо мной. Даже вивисецируемая собака заслуживает приличного обращения, пока её не зарежут окончательно.

Флёр «тряхнула головой, но губы её дрожали.

— А зачем вы меня пугаете? Дайте папиросу. Монт протянул портсигар, поднёс ей спичку и закурил сам.

— Я не хочу молоть чепуху, — сказал он, — но, пожалуйста, вообразите себе всю чепуху, наговорённую всеми влюблёнными от сотворения мира, да ещё приплетите к ней мою собственную чепуху.

— Благодарю вас, вообразила. Спокойной ночи.

Они стояли с минуту в тени акации, глядя друг другу в лицо, и дым от их папирос свивался между ними воздухе.

— В этом заезде Майкл Монт «без места» так?

Флёр резко повернула к дому. У веранды она оглянулась. Майкл Монт махал руками над головой. Было видно, как они бьют его по макушке; потом подаются сигналы залитым лунным светом ветвям цветущей акации. До Флёр долетел его голос: «Эх, жизнь наша!» Флёр встрепенулась. Однако она не может ему помочь. Хватит с неё и своей заботы. На веранде она опять внезапно остановилась. Мать сидела одна в гостиной у своего письменного стола. В выражении её лица не приметно было ничего особенного — только крайняя неподвижность. Но в этой неподвижности чувствовалось отчаяние. Флёр взбежала по лестнице и снова остановилась у дверей своей спальни. Слышно было, как в картинной галерее отец шагает взад и вперёд.

«Да, — подумала она, — невесело! О Джон!»

Х. РЕШЕНИЕ

Когда Флёр ушла, Джон уставился на австрийку. Она была худая и смуглая. На её лице застыло сокрушённое выражение женщины, растерявшей одно за другим все маленькие блага, которыми наделила её когда-то жизнь.

— Так не выпьете чаю? — сказала она.

Уловив в её голосе ноту разочарования, Джон пробормотал:

— Право, не хочется. Благодарю вас.

— Чашечку — уже готов. Чашечку чаю и папироску.

Флёр ушла. Ему предстоят долгие часы раскаяния и колебаний. С тяжёлым чувством он улыбнулся и сказал:

— Ну хорошо, благодарю вас.

Она принесла на подносе маленький чайник, две чашечки и серебряный ларчик с папиросами.

— Сахар дать? У мисс Форсайт много сахара: она покупает сахар для меня и для моей подруги. Мисс Форсайт очень добрая леди. Я счастлива, что служу у неё. Вы её брат?

— Да, — сказал Джон, закуривая вторую в своей жизни папиросу.

— Очень молодой брат, — сказала австрийка с робкой смущённой улыбкой, которая напомнила Джону виляющий собачий хвостик.

— Разрешите мне вам налить? — сказал он. — И может быть, вы присядете?

Австрийка покачала головой.

— Ваш отец очень милый старый человек — самый милый старый человек, какого я

видела. Мисс Форсайт рассказала мне все о нём. Ему лучше?

Её слова прозвучали для Джона упрёком.

— О да. Мне кажется, он вполне здоров.

— Я буду рада видеть его опять, — сказала австрийка, прижав руку к сердцу, — он имеет очень доброе сердце.

— Да, — сказал Джон. И опять услышал в её словах упрёк.

— Он никогда не делает никому беспокойство и так хорошо улыбается.

— Да, не правда ли?

— Он так странно смотрит иногда на мисс Форсайт. Я ему рассказала всю мою историю; он такой симпатичный. Ваша мать — она тоже милая и добрая?

— Да, очень.

— Он имеет её фотографию на своём туалете. Очень красивая.

Джон проглотил свой чай. Эта женщина с сокрушённым лицом и укоризненными речами — точно заговорщица в пьесе: первый убийца, второй убийца...⁶²

— Благодарю вас, — сказал он. — Мне пора идти. Вы... вы не обидитесь, если я оставлю вам кое-что?

Он неуверенной рукой положил на поднос бумажку в десять шиллингов и кинулся к двери. Он услышал, как австрийка ахнула, и поспешил выйти. Времени до поезда было в обрез. Всю дорогу до вокзала он заглядывал в лицо каждому прохожему, как заглядывают влюблённые, надеясь без надежды. В Уординге он отправил вещи багажом с поездом местного сообщения, а сам пустился горной дорогой в Уонсдон, стараясь заглушить ходьбой ноющую боль нерешимости. Быстро шагая, он упивался прелестью зелёных косогоров, время от времени останавливался, чтобы растянуться на траве, подивиться совершенству шиповника, послушать жаворонка. Но это только оттягивало войну между внутренними побуждениями: влечением к Флёр и ненавистью к обману. Подходя к меловой яме над Уонсдоном, он был так же далёк от решения, как и в начале пути. В способности отчётливо видеть обе стороны вопроса заключалась одновременно и сила и слабость Джона. Он вошёл в дом с первым ударом гонга, звавшего обедать. Вещи, его, уже, прибыли. Он наспех принял, ванну и сошёл в столовую, где застал Холли в, одиночестве — Вал уехал в город и, обещал вернуться последним поездом.

С тех пор как Вэл посоветовал ему расспросить сестру о причине ссоры между обеими семьями, так много случилось нового — сообщение Флёр в Грин-парке, поездка в Робин-Хилл, сегодняшнее свидание, — что, казалось, и спрашивать больше нечего. Джон говорил об Испании, о солнечном ударе, о лошадях Вэла, о здоровье отца. Холли удивила его замечанием, что, по её мнению, отец очень нездоров. Она два раза ездила к нему в Робин-Хилл на воскресенье. У него был страшно усталый вид, временами даже страдающий, но он постоянно уклонялся от разговора о себе.

— Он такой хороший и совершенно лишён эгоизма, правда, Джон?

Стыдясь, что сам не лишён эгоизма, Джон ответил:

— Конечно.

— Мне кажется, он был всегда безукоризненным отцом, насколько я могу припомнить.

— Да, — отозвался Джон, совсем подавленный.

— Он никогда ни в чём не мешал детям и всегда, казалось, понимал их. Я до гроба не забуду, как он позволил мне ехать в Южную Африку во время бурской войны, когда я полюбила Вала.

— Это было, кажется, до его женитьбы на маме) — спросил неожиданно Джон.

— Да. А что?

— Так, ничего. Только ведь она была раньше помолвлена с отцом Флёр?

Холли опустила ложку и подняла глаза. Она окинула брата внимательным взглядом.

⁶² ...первый убийца, второй убийца... — персонажи из пьесы Шекспира «Ричард III».

Что ему известно? Может, столько, что лучше рассказать ему все? Она не могла решить. Он как будто осунулся и постарел, но это могло быть следствием солнечного удара.

— Что-то в этом роде было, — сказала она. — Мы жили тогда в Африке и не получали известий.

Она не смела взять на себя ответственность за чужую тайну. К тому же она не знала, каковы сейчас его чувства. До Испании она не сомневалась, что он влюблён. Но мальчик остаётся мальчиком. С того времени прошло семь недель, и в промежутке лежала вся Испания.

Заметив, что он понял её желание отвлечь его от опасной темы, она добавила:

— Ты имел какие-нибудь вести от Флёр?

— Да.

Его лицо сказала ей больше, чем самые подробные разъяснения. Итак, он не забыл.

Она сказала совсем спокойно:

— Флёр на редкость обаятельна, но знаешь, Джон, нам с Вэлом она не очень нравится.

— Почему?

— Она из породы стяжателей.

— Стяжателей? Не понимаю, что ты имеешь в виду, Она... она...

Джон отодвинул тарелку с десертом, встал и подошёл к окну.

Холли тоже встала и обняла его.

— Джон, не сердись, дорогой. Мы не можем видеть людей в одинаковом свете, не правда ли? Знаешь, мне думается, у каждого из нас бывает лишь по одному или по два близких человека, которые видят, что в нас есть самого лучшего, и помогают этому выявиться. Для тебя, я думаю, такой человек — твоя мать. Я видела раз, как она

читала твоё письмо; чудесное было у неё лицо. Я не встречала женщины красивей — время как будто и не коснулось её.

Лицо Джона смягчилось; потом опять стало замкнутым. Все, все против него и Флёр. И всё подтверждает её призыв: «Обеспечь меня за собой, женись на мне, Джон!»

Здесь, где он провёл с ней упоительную неделю, здесь влечение к ней и боль в его сердце возрастали с каждой минутой её отсутствия. Нет её, чтобы сделать волшебными комнату и сад и самый воздух. Как жить здесь, не видя её? И он окончательно замкнулся в себе и рано ушёл спать. У себя в комнате он мог хотя бы остаться с воспоминанием о Флёр в её виноградном наряде. Он слышал, как приехал Вэл, как разгружали форд, и опять воцарилась тишина летней ночи. Только доносилось издали бляние овец да крик ночной птицы. Джон высунулся в окно. Холодный полумесяц, тёплый воздух, холмы словно в серебре. Мотыльки, журчание ручья, ползучие розы. Боже, как пусто всё без неё! В библии сказано: оставь отца, своего и мать свою и прилепись... к Флёр.

Собраться с духом, прийти и сказать им! Они не могут помешать ему жениться на Флёр, не захотят мешать, когда узнают, как он её любит. Да! Он скажет им. Смело и открыто — Флёр не права.

Птица смолкла, овцы затихли, во мраке слышалось только журчание ручья. И Джон уснул в своей постели, освобождённый от худшего из жизненных зол — нерешимости.

XI. ТИМОТИ ПРОРОЧЕСТВУЕТ

День несостоявшегося свидания в Национальной галерее ознаменовал первую годовщину возрождения красоты и гордости Англии, или, попросту сказать, цилиндра. Состязание на стадионе Лорда — это празднество, отменённое войной, — вторично подняло свои голубые и синие флаги, являя почти все черты славного прошлого. Здесь во время перерыва можно было наблюдать все виды дамских и единый вид мужских головных уборов, защищающих многообразные типы лиц, которые соответствуют понятию «общество». Наблюдательный Форсайт мог бы различить на бесплатных или дешёвых местах некоторое количество зрителей в мягких шляпах, но они едва ли отважились бы

подойти близко к полю; представители старой школы — или старых школ могли радоваться, что пролетариат ещё не в силах платить за вход установленные полкроны. Ещё оставалась хоть эта твердыня — последняя, но значительная: стадион собрал, по уверению газет, десять тысяч человек. И десять тысяч человек, горя одной и той же надеждой, задавали друг другу один и тот же вопрос: «Где вы завтракаете?» Было в этом вопросе что-то очень успокоительное и возвышающее — в этом вопросе и в наличии такого множества людей, которые все похожи на вас и все одного с вами образа мыслей. Какие мощные резервы сохранила ещё Британская империя — хватит голубей и омаров, телятины и лососины, майонезов, и клубники, и шампанского, чтобы прокормить эту тонну! В перспективе никаких чудес, никаких фокусов с пятью хлебами и несколькими жалкими рыбёшками⁶³ — вера покоится на более прочном фундаменте. Шесть тысяч цилиндров будут сняты, четыре тысячи ярких зонтиков будут свёрнуты, десять тысяч ртов, одинаково говорящих по-английски, — наполнены. Жив ещё старый британский лев! Традиция! И ещё раз традиция! Как она сильна и как эластична! Пусть свирепствуют войны и разбойничают налоги, пусть тред-юнионы разоряют поборами честных граждан, а Европа подыхает с голоду, — эти десять тысяч будут сыты; и за этой оградой будут они разгуливать по зелёному газону, носить цилиндры и встречаться друг с другом. Сердце старого мира здорово, пульс бьётся ровно. И-тон! И-тон! Хэр-роу!

Среди многочисленных Форсайтов, попавших в этот заповедник по праву или по знакомству, был Сомс с женою и дочерью. Он никогда не учился ни в одной из двух состязующихся школ, он нисколько не интересовался крикетом, но ему хотелось, чтобы Флёр могла выставить напоказ своё платье, и хотелось надеть цилиндр — снова явиться на парад среди мира и изобилия вместе с равными себе. Он степенно вёл Флёр между собой и Аннет. Ни одна женщина, насколько он видел, не могла сравниться с ними. Они умеют ходить, умеют держаться; их красота вещественна; а у этих современных женщин ни осанки, ни груди — ничего. И вспомнилось ему вдруг, с каким гордым упоением выходил он, бывало, с Ирэн в первые годы их брака. И как они, бывало, завтракали в карете, которую его мать заставила отца приобрести, потому что это так шикарно: в те времена смотрели на игру из карет и колясок, а не с этих нескладных громадных трибун. И как Монтегью Дартти неизменно выпивал лишнее. Сомс вполне допускал мысль, что и теперь люди пьют лишнее, но нет теперь в этом былого размаха; ему вспомнилось, как Джордж Форсайт, братья которого, Роджер и Юстас, учились один в Итоне, другой в Хэрроу, взобравшись на верх кареты и размахивая синим флажком в правой руке и голубым в левой, громко прокричал: «Хэтон — Ирроу!» как раз в такую минуту, когда вся публика молчала, — всегда он вёл себя, как шут; а Юстас чинно стоял внизу, такой был денди, что считал ниже своего достоинства надеть розетку того или другого цвета или выказывать интерес к чему-либо. Н-да! Былые дни! Ирэн в сером шёлку с лёгким зелёным отливом. Он искоса поглядел на Флёр. Лицо какое-то тусклое — ни света в нём, ни жизни. Эта любовь грызёт её — скверная история! Взгляд его скользнул дальше, к лицу жены, подрисованному сильнее, чем обычно, немного презрительному, хотя она, насколько ему известно, меньше всех имеет право выказывать презрение. Она принимает измену Профона со странным спокойствием; или его «маленькое плавание» предпринято только для отвода глаз? Если так, он предпочитает не — видеть обмана. Они прошли по площадке мимо павильонов, потом отыскивали столик Уинифрид в палатке «Клуба бедуинов». Этот новый клуб, принимавший в члены и мужчин и женщин, был основан для поддержания туризма и некоего джентльмена, унаследовавшего старинное шотландское имя, хотя его отец, как это ни странно, носил фамилию Леви. Уинифрид вступила в клуб не потому, что занималась когда-нибудь туризмом, а потому, что инстинкт подсказал ей, что клубу с таким названием и таким основателем предстоит

⁶³ ...никаких фокусов с пятью хлебами и несколькими жалкими рыбёшками... — Намек на евангельский рассказ о том, как Христос накормил огромную толпу людей пятью хлебами и двумя рыбами (Евангелие от Матфея, XIV, 17).

большое будущее; если не вступить в него сразу, то потом, может быть, доступ будет закрыт. Палатка этого клуба, со стихом из Корана на оранжевом поле и вышитым над входом маленьким зелёным верблюдом, бросалась в глаза среди всех других. У входа стоял Джек Кардиган в синем галстуке (он однажды играл на стороне Хэрроу) и размахивал бамбуковой тростью, показывая, «как тому молодцу следовало ударить по мячу». Он торжественно провёл Сомса и его дам к столу Уинифрида, за которым собрались уже Имоджин, Бенедикт с молодой женой, Вал Дарти без Холли, Мод и её муж; когда вновь прибывшие уселись, осталось одно свободное место.

— Я жду Проспера, — сказала Уинифрида, — но он так увлечён своей яхтой!

Сомс украдкой посмотрел на жену. Лицо её не дрогнуло. Придёт ли этот тип, или нет, ей, по-видимому, всё известно. От него не ускользнуло, что Флёр тоже покосилась на мать. Если Аннет не считается с его чувствами, она должна бы подумать о Флёр. Разговор, крайне бессвязный, перебивался рассуждениями Джека Кардигана о «мид-оф»⁶⁴. Он стал перечислять всех «великих мид-офов» от первых дней творения, считая их, как видно, одним из основных элементов, составляющих расовую сущность британцев. Сомс справился со своим омаром и приступил к пирогу с голубями, когда услышал слова: «Я немного опоздал, миссис Дарти» — и увидел, что пустого места за столом больше нет. Между Имоджин и Аннет сидел мсье Профон. Сомс усердно продолжал есть, изредка лишь перекидываясь словом с Мод и Уинифридом. Разговор жужжал вокруг него. Голос Профона произнёс:

— Мне кажется, вы ошибаетесь, миссис Форсайт; я готов держать пари, что мисс Форсайт со мной согласится.

— В чём? — раздался через стол высокий голос Флёр.

— Я высказал мнение, что молодые девушки остались такими же, какими были всегда, — разница очень маленькая.

— Вы так хорошо их знаете?

Этот резкий ответ заставил всех насторожиться, и Сомс заёрзал в жидком зелёном креслице.

— Я, конечно, не смею утверждать, но, по-моему, они хотят идти своей собственной маленькой дорожкой, а это, думается мне, было и раньше.

— Вот как!

— Но, Проспер, — мягко возразила Уинифрида, — девицы, которых видишь на улице, девицы, поработавшие на военных заводах, молоденькие продавщицы — их манеры просто бьют в глаза.

При слове «бьют» Джек Кардиган прервал свои исторические изыскания; среди полного молчания мсье Профон сказал:

— Раньше это скрывалось внутри, теперь проступило наружу.

— Но их нравственность! — вскричала Имоджин.

— Они нравственны не менее, чем раньше, миссис Кардиган, но только теперь у них больше возможностей.

Это замечание, замаскированно-циническое, было принято лёгким смешком Имоджин, удивлённо раскрывшимся ртом Джека Кардигана и скрипом кресла под Сомсом.

Уинифрида сказала:

— Какой вы злой, Проспер!

— А вы что скажете, миссис Форсайт? Вы не находите, что человеческая природа всегда одна и та же?

Сомс подавил внезапное, желание вскочить и дать бельгийцу пинка. Он услышал ответ жены:

— В Англии человеческая природа не такая, как в других местах.

Опять её проклятая ирония!

⁶⁴ «Мид-оф» — название одного из игроков крикетной команды.

— Возможно. Я мало знаком с этим маленьким островом. Но я сказал бы, что вода кипит, везде, хоть котёл и прикрыт крышкой. Мы все стремимся к наслаждению — и всегда стремились.

Чёрт бы побрал этого человека! Его цинизм просто... просто оскорбителен!

После завтрака общество разбилось на пары для пищеварительной прогулки. Из гордости Сомс не подал и вида, но он превосходно знал, что Аннет где-то «рыщет» с Профоном. Флёр пошла с Вэлом, его она выбрала, конечно, потому, что он знает того мальчишку. Ему самому досталась в пару Уинифрид. Несколько минут они шли по кругу в ярком потоке толпы, покрасневшиеся и сытые, затем Уинифрид сказала:

— Хотелось бы мне, друг мой, вернуться на сорок лет назад.

Перед её духовными очами нескончаемым парадом проходили её собственные туалеты, сшитые к празднику у Лорда и оплачиваемые каждый раз по случаю очередного денежного кризиса её отцом.

— В конце концов нам жилось тогда очень весело.

Иногда мне даже хочется снова увидеть Монти. Что ты скажешь о нынешней публике, Сомс?

— Безвкусица, не на что посмотреть. Всё стало разваливаться с появлением велосипедов и автомобилей; а война довершила развал.

— Я часто думаю: к чему мы идём? — пирог с голубями сообщил Уинифрид нежную мечтательность. — У меня нет никакой уверенности, что мы не вернёмся к кринолинам и клетчатым панталонам. Посмотри вон на то платье!

Сомс покачал головой.

— Деньги есть и теперь, но нет веры в устои. Мы не откладываем на будущее. Нынешняя молодёжь... жизнь для них короткое мгновение — и весёлое.

— Ах, какая шляпа! — сказала Уинифрид. — Не знаю, право, как подумаешь, сколько людей убито на войне и всё такое, так просто диву даёшься. Нет другой такой страны, как наша. Проспер говорит, что все остальные страны, кроме Америки, обанкротились; но американцы всегда перенимали стиль одежды у нас.

— Он в самом деле едет в Полинезию?

— О! Никогда нельзя знать, куда едет Проспер.

— Вот кто, если хочешь, знамение времени, — пробормотал Сомс.

Уинифрид крепко стиснула рукой его локоть.

— Головы не поворачивай, — сказала она тихо, — но посмотри направо в первом ряду на трибуне.

Сомс посмотрел, как мог, в границах поставленного условия. Там сидел человек в сером цилиндре, с седой бородкой, с худыми смуглыми морщинистыми щеками и несомненным изяществом в позе, а рядом с ним — женщина в зеленоватом платье, тёмные глаза которой пристально глядели на него, Сомса. Он быстро опустил глаза и стал глядеть на свои ноги. Как ноги смешно передвигаются: одна, другая, одна, другая. Голос Уинифрид сказал ему на ухо:

— У Джолиона вид совсем больной, но он сохранил стиль. А она не меняется — разве что волосы.

— Зачем ты рассказала Флёр об этой истории?

— Я не рассказывала; она узнала сама. Я всегда говорила, что так и выйдет.

— Очень досадно. Она увлеклась их сыном.

— Ах плутовка! — прошептала Уинифрид. — Она старалась отвести мне глаза на этот счёт. Что ты думаешь делать, Сомс?

— Буду плыть по течению.

Они шли дальше молча, едва подвигаясь вперёд в густой толпе.

— Действительно, — сказала вдруг Уинифрид, — можно сказать — судьба. Но это так несовременно. Смотри! Джордж и Юстас.

Высокая и грузная фигура Джорджа Форсайта остановилась перед ними.

— Алло, Сомс! — сказал он. — Я только что встретил Профона и твою жену. Ты можешь догнать их, если прибавишь шагу. Заходил ты к Тимоти?

Сомс кивнул, и людской поток разделил их.

— Мне всегда нравился Джордж, — сказала Уинифрид. — Он такой забавный.

— А мне он никогда не нравился, — ответил Сомс. — Где ты сидишь? Я хочу вернуться на наши места. Может быть, Флёр уже там.

Проводив Уинифрид до её места, он вернулся на своё и сидел, едва замечая быстрые белые фигурки, мелькавшие вдалеке, стук клюшек, взрывы аплодисментов то с одной, то с другой стороны. Ни Флёр, ни Аннет! Чего ждать от современных женщин? Они получили право голоса.⁶⁵ Получили «эмансипацию» — и ничего хорошего из этого не вышло! Так Уинифрид хотела бы вернуться назад и начать все сначала, включая Дарти? Возвратит прошлое сидеть здесь, как он сидел в восемьдесят третьем и восемьдесят четвёртом годах, до того как убедился, что брак его с Ирэн разрушен, до того как её отвращение к нему стало настолько очевидным, что он при всём желании не мог его не замечать. Он увидел её с Джолионом, и вот пробудились воспоминания. Даже теперь он не мог понять, почему она была так неподатлива. Она могла любить других мужчин; в ней это было! Но перед ним, перед единственным мужчиной, которого она обязана была любить, перед ним она предпочла закрыть своё сердце. Когда он оглядывался на прошлое, ему представлялось — хоть он и понимал, что это фантазия, — ему представлялось, что современное ослабление брачных уз (пусть формы и законы брака остались прежними), современная распущенность возникли из бунта Ирэн; ему представлялось (пусть это фантазия), что начало положила Ирэн, и разрушение шло, пока не рухнуло всякое благопристойное собственничество во всём и везде или не оказалось на пороге крушения. Всё пошло от неё! А теперь — недурное положение вещей! Домашний очаг! Как можно иметь домашний очаг без права собственности друг на друга? Скажут, пожалуй, что у него никогда не было настоящего домашнего очага. Но по его ли вине? Он делал всё что мог. А наградой ему — те двое, сидящие рядом на трибуне, и эта история с Флёр!

Охваченный чувством одиночества, он подумал: «Не стану больше ждать! Сами найдут дорогу до гостиницы, если захотят вернуться!» Окликнув у выхода такси, он сказал:

— На Бэйсуотер-Род.

Старые тётки никогда ему не изменяли. Для них он был всегда желанным гостем. Их больше нет на свете, но остался Тимоти!

На крыльце в открытых дверях стояла Смизер.

— Мистер Сомс! А я как раз вышла подышать свежим воздухом. Вот-то обрадуется кухарка!

— Как поживает мистер Тимоти?

— Последние несколько Дней он что-то не в себе, сэр; уж очень много разговаривает. Вот и сегодня утром он вдруг сказал: «Мой брат Джемс сильно постарел». Он путается в Мыслях, мистер Сомс, и всё говорит о родных. Тревожится за их вклады. На днях он сказал: «Мой брат Джолион не признает консолей». Он, видимо, очень этим удручён. Заходите же, мистер Сомс, заходите. Такая приятная неожиданность.

— Я на несколько минут, — сказал Сомс.

— Да, — жужжала Смизер в передней, где в воздухе странно чувствовалась свежесть летнего дня, — мы им последнюю неделю не совсем довольны. Он, когда кушал, всегда оставлял лакомые кусочки на закуску. А с понедельника он кушает их первыми. Если вы когда наблюдали за собакой, мистер Сомс, так она всегда за своим обедом съедает вперёд мясо. Мы всегда считали хорошим признаком, что мистер Тимоти в своём преклонном возрасте оставляет лакомое на закуску, но теперь он стал очень неводержан; он теперь

⁶⁵ ...Они получили право голоса. — Женщины в Англии получили право голосовать в 1918 г. в результате «Акта о народном представительстве».

начинает с лучших кусков. Доктор не придаёт этому значения, но, право... — Смизер покачала головой. — Мистер Тимоти, кажется, думает, что если он не съест их сразу же, то потом они ему не достанутся. Нас это беспокоит — это, и его разговорчивость...

— Он ничего важного не говорил?

— Как это ни печально, мистер Сомс, но я должна сказать, что он потерял интерес к своему завещанию. Просто видеть его не желает, дуется, а ведь столько лет вынимал его каждое утро. Так странно! Он сказал на днях: «Они ждут моих денег». Я так и ахнула, потому что, как я и сказала ему, никто, конечно, не ждёт его денег. И так жаль, что он в своём возрасте думает о деньгах. Я собралась с духом и сказала: «Знаете, мистер Тимоти, моя дорогая хозяйка — то есть мисс Форсайт, мистер Сомс, мисс Энн, которая меня обучала, — она никогда не думала о деньгах, сказала я, ей всего важнее было доброе имя». Он посмотрел ни меня просто выразить не могу, до чего странно и очень сухо сказал: «Никому не нужно моё доброе имя». Подумайте, такие сказал слова. Но иногда он говорит вполне разумно.

Сомс между тем разглядывал старую гравюру около вешалки и думал: «Ценная вещь!»

— Я подымусь вверх, загляну к нему, Смизер, — сказал он.

— С ним сейчас кухарка, — пропыхтела Смизер из своего корсета, — она будет очень рада вас увидеть.

Сомс медленно взбирался по лестнице, думая: «Не дай бог дожить до такой старости!»

На втором этаже он остановился и постучал. Дверь открылась, и он увидел круглое приветливое лицо женщины лет шестидесяти.

— Мистер Сомс! — сказала она. — Неужели! Мистер Сомс!

Сомс кивнул.

— Да, это я, Джейн!

И вошёл.

Тимоти, обложенный подушками, полусидел в постели, сложив руки на груди и уставив глаза в потолок, на котором застыла вниз головою муха. Сомс стал в ногах кровати, глядя прямо на него.

— Дядя Тимоти, — сказал он, повысив голос, — дядя Тимоти!

Глаза Тимоти оторвались от мухи и остановились на лице гостя. Сомс видел, как бледный старческий язык прошёл по тёмным губам.

— Дядя Тимоти, — повторил он, — не могу ли я что-нибудь сделать для вас? Не хотите ли вы что-нибудь сказать?

— Ха! — произнёс Тимоти.

— Я пришёл проведать вас и посмотреть, все ли у вас благополучно.

Тимоти кивнул. Он, видимо, старался освоиться с возникшей перед ним фигурой.

— Есть ли у вас всё, что вам нужно?

— Нет, — сказал Тимоти.

— Не могу ли я достать вам что-нибудь?

— Нет, — сказал Тимоти.

— Я Сомс. Понимаете? Ваш племянник. Сомс Форсайт. Сын вашего брата Джемса.

Тимоти кивнул.

— Я был бы рад что-нибудь сделать для вас.

Тимоти поманил. Сомс подошёл ближе.

— Ты, — заговорил Тимоти беззвучным от старости голосом, — ты накажи им всем, — и палец его постучал по локтю Сомса, — чтоб они держались, держались — консоли идут в гору, — и он трижды кивнул головой.

— Хорошо, — сказал Сомс, — я им передам.

— Да, — сказал Тимоти и, снова уставив глаза в потолок, добавил: Муха.

Странно растроганный, Сомс взглянул на приятное полное лицо кухарки, сплошь покрывшееся морщинками от постоянной возни у плиты.

— Ну, теперь-то ему станет лучше, сэр, — сказала она.

Тимоти что-то бормотал, но он явно разговаривал сам с собой, и Сомс вышел вместе с кухаркой.

— Мне так хотелось бы приготовить вам клубничный мус, мистер Сомс, как в добрые старые дни; вы так его, бывало, любили. До свидания, сэр, всего хорошего; вот обрадовали нас, что зашли!

— Оберегайте его, Джейн, — он в самом деле стар.

И, пожав её морщинистую руку. Сомс спустился в переднюю. Смизер ещё стояла в дверях — дышала свежим воздухом.

— Как вы его находите, мистер Сомс?

— Смизер, — сказал Сомс, — мы все перед вами в долгу.

— О, нисколько, мистер Сомс. Не говорите! Это одно удовольствие, он замечательный человек.

— Ну, до свидания, — сказал Сомс и сел в такси.

«Идут в гору, — думал он. — В гору».

Прибыв в свой отель на Найтсбридж, он вошёл в гостиную и заказал чай. Ни жены, ни дочери не было дома. И снова его охватило чувство одиночества. Ох, эти гостиницы! Какие они стали теперь чудовищно громадные! Он помнит время, когда самыми большими были гостиницы Лонга, Брауна, Морлея, Тевисток-отель, а при упоминании о Лэнгхэме и Гранд-отеле сомнительно покачивали головой. Отели и клубы, клубы и отели; им теперь нет конца. И Сомс, только что дивившийся на стадионе Лорда чуду традиции и прочности, предался раздумью о том, как изменился этот Лондон, где он родился на свет шестьдесят пять лет назад. Идут ли консоли в гору или падают, но Лондон стал чудовищно богат. Нет другого столь богатого города, кроме разве Нью-Йорка. Пусть газеты впадают в истерику; но те, кто, подобно ему, помнят, каков был Лондо шестьдесят лет назад, и видят его теперь, — те понимают всю плодотворность и гибкость богатства. Нужно только не терять головы и неуклонно стремиться к нему. В самом деле! Он помнит, булыжные мостовые и вонючую солому под ногами в кэбе. А старый Тимоти — чего только он не мог бы рассказать, если бы сохранил память! Во всём неустройство, люди спешат, суетятся, но здесь — Лондон на Темзе, вокруг — Британская империя, а дальше — край земли. «Консоли идут в гору!» Нечему тут удивляться. Всё дело в породе. И всё, что было в Сомсе бульдожьего, с минуту отражалось во взгляде его серых глаз, пока их не привлекла викторианская гравюра на стене. Отель закупил три дюжины таких гравюрок. На старые офорты в старых гостиницах было приятно смотреть какая-нибудь охота или «Карьера повесы»,⁶⁶ — а эта сентиментальная ерунда — да что там! Викторианская эпоха миновала. «Накажи им, чтоб они держались», — сказал старый Тимоти. Но чего держаться в этом новом «демократическом» столпотворении, когда даже частная собственность под угрозой? И при мысли, что может быть уничтожена частная собственность. Сомс оттолкнул чашку с недопитым чаем и подошёл к окну. Подумать только! Природой можно будет владеть не в большей мере, чем владеет эта толпа цветами, деревьями, прудами Хайд-парка. Нет, нет! Частная собственность лежит в основе всего, что стоит иметь. Просто мир немного свихнулся, как иногда собаки в полнолуние теряют рассудок и отправляются на ночную охоту. Но мир, как собака, знает, где лучше кормят и дают тёплую постель, он непременно вернётся к единственному очагу, какой стоит иметь, — к частной собственности. Мир временно впал в детство, как старый Тимоти, и начинает с лакомого куска!

Он услышал за спиной шум и увидел, что пришли жена и дочь.

— Вернулись всё-таки! — сказал он.

Флёр не ответила; она постояла, посмотрела на него и на мать и прошла в свою спальню. Аннет налила себе чашку чая.

— Я еду в Париж, к моей матери, Сомс.

⁶⁶ «Карьера повесы» — серия гравюр английского художника Хогарта (см. прим. к с. 290).

- О! К твоей матери?
- Да.
- Надолго?
- Не знаю.
- А когда выезжаешь?
- В понедельник.

Действительно ли она едет к матери? Странно, как ему это стало безразлично! Странно, как безошибочно предугадала она, что он отнесётся безразлично к её отъезду, поскольку всё обходится без скандала. И вдруг между собой и женой он отчётливо увидел лицо, которое уже видел сегодня: лицо Ирэн.

- Деньги тебе нужны?
- Спасибо; у меня вполне достаточно.
- Хорошо. Извести нас, когда соберёшься назад.

Аннет положила на тарелку печенье, которое вертела в пальцах, и, глядя на мужа сквозь подчёркнутые ресницы, спросила:

- Передать что-нибудь маман?
- Передай поклон.

Аннет потянулась, держа руки на поясице, и сказала по-французски:

— Какое счастье, что ты никогда не любил меня, Сомс! — И, встав, тоже вышла из комнаты.

Сомс был рад, что она сказала это по-французски, как бы исключая тем необходимость ответа. Опять то, другое лицо — бледное, темноглазое, всё ещё красивое И где-то глубоко-глубоко внутри зашевелилось что-то похожее на тепло, словно от искры, тлеющей под рыхлой кучей пепла. А Флёр сходит с ума по её сыну! Дикая случайность! Но существует ли вообще случайность? Человек идёт по тротуару, и ему падает на голову кирпич. А, вот это — случайность, несомненно. Но тут!.. «Унаследовала», — сказала Флёр. Она — она будет крепко держаться своего!

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

І. ДУХ СТАРОГО ДЖОЛИОНА

Двойственное побуждение заставило Джолиона сказать в то утро своей жене: «Поедем на стадион!»

«Срочно требуется»... что-нибудь, чем можно заглушить тревогу, которая не оставляла его и Ирэн в течение шестидесяти часов с той минуты, как Джон привёз Флёр в Робин-Хилл. И требуется что-нибудь, чтобы утолить терзания памяти у человека, знающего, что любой день может положить им конец!

Пятьдесят восемь лет назад Джолион поступил в Итон, потому что старому Джолиону заблагорассудилось «приобщить его к лику образованных людей» с возможно большими издержками. Из года в год он ездил на стадион Лорда с отцом, чья юность, в двадцатых годах прошлого века, протекала без шлифовки на крикетном поле. Старый Джолион, не смущаясь, говорил о крикете языком профана: «полмяча», «три четверти мяча», «попал в серёдку», «подшиб», и молодой Джолион в простодушном снобизме молодости трепетал, как бы кто не подслушал его родителя! Только в высоком деле крикета ему и приходилось трепетать — отец всегда казался ему идеалом. Старый Джолион не получил утончённого образования, но врождённая взыскательность и уравновешенность спасали его от срывов в вульгарность. Как приятно было после этих цилиндров, воя, изнурительной жары прокатиться домой с отцом в кабриолете, принять ванну, переодеться и поехать в клуб «Разлад», где подадут на обед салаку, котлеты и яблочный пирог, а из клуба отправиться вместе в оперу или в театр — два щёголя, молодой и старый, в светло-лиловых лайковых

перчатках. А в воскресенье, когда матч закончится и цилиндр получит долгожданную отставку, поехать в нарядном экипаже в ресторан «Корона и скипетр» и к террасе над Темзой — золотые шестидесятые годы, когда мир был прост, денди блистательны, демократия ещё не родилась и романы Уайта Мелвила⁶⁷ выходили один за другим.

Явилось новое поколение, с его сыном Джолли, носившим в петлице василёк Хэрроу, — старому Джолиону заблагорассудилось, чтобы внук его «приобщился» с чуть-чуть меньшими издержками, — и снова Джолион в день матча томился от жары и наблюдал игру страстей и возвращался к прохладе и клубничным грядкам Робин Хилла, а после обеда играл на бильярде, причём его мальчик отчаянно «мазал» и старался казаться скучающим и взрослым. Эти два дня в году они с сыном оставались одни во всём мире, с глазу на глаз, — а демократия только что народилась!

Итак, Джолион откопал серый цилиндр, взял у Ирэн клочок голубой ленты и помаленьку, полегоньку, в автомобиле, на поезде и в такси добрался до стадиона. Там, сидя рядом с Ирэн, одетой в зеленоватое платье с узкими чёрными кантами, он наблюдал за игрой и чувствовал, как шевелится в нём былое, волнение.

Но мимо прошёл Сомс, и день был испорчен. Лицо Ирэн исказилось, она сжала губы. Не стоило сидеть здесь и ждать, что вот-вот встанут перед ним Сомс или его дочь, точно цифры бесконечной дроби. Он сказал:

— Не довольно ли, милая? Поедем, если хочешь, домой!

К вечеру Джолион почувствовал полный упадок сил. Не желая, чтобы Ирэн видела его в таком состоянии, он подождал, когда она села за рояль, и тихо удалился в свой кабинет. Он распахнул высокое окно — чтобы не было душно, распахнул двери — чтобы слышать волны её музыки, и, усевшись в старом кресле своего отца, прислонив голову к потёртому коричневому сафьяну, сомкнул глаза. Как то место из сонаты Цезаря Франка,⁶⁸ была его жизнь с Ирэн — божественная третья тема. И вдруг теперь эта история с Джоном — скверная история! В полузабытьи, на грани сознания, он едва отдавал себе отчёт, наяву или во сне слышит он запах сигары и видит во мраке, перед закрытыми глазами, своего отца. Образ возникал, уходил и опять возникал: ему казалось, что в этом кресле, где сейчас сидит он сам, видит он отца; видит, как старый Джолион, в чёрном сюртуке, закинул ногу на ногу и покачивает между большим и указательным пальцами очки; видит длинные белые усы и запавшие глаза, что смотрят из-под купола лба и, кажется, ищут его собственные глаза и говорят: «Ты уклоняешься, Джо? Тебе решать, не ей. Она только женщина!» Ах, как он узнавал своего отца в этой фразе! Как всплывал вместе с нею весь викторианский век! А он отвечает: «Нет, я струсил, не решился нанести удар ей, и Джону, и себе. У меня слабое сердце. Я струсил». Но старые глаза (насколько они старше, насколько они моложе его собственных глаз!) повторяют настойчиво: «Твоя жена; твой сын; твоё прошлое. Смелее, мой мальчик!» Была ли то весть от Духа блуждающего? Или только голос отца, продолжающего жить в сыне? Снова послышался запах сигары — от старого продымлённого сафьяна. Нет! Он не станет уклоняться! Он напишет Джону, изложит все как есть — чёрным по белому! И вдруг ему трудно стало дышать, что-то стянуло горло, и сердце как будто взбухло в груди. —

⁶⁷ Уайт Мелвилл (1821—1878) — английский писатель, отразивший в своих романах быт и нравы светского общества.

⁶⁸ Цезарь Франк (1822—1890) — выдающийся композитор, бельгиец по происхождению, прожил всю жизнь во Франции. Франк создал немало произведений камерной и духовной музыки, несколько ораторий и три оперы. Критики называли Франка неоклассиком, поскольку он в пору импрессионизма следовал классическим канонам и пропагандировал старых и прежде всего старофранцузских мастеров. Вместе с тем музыке Франка были свойственны некоторые черты романтиков, — страстная порывистость и нежная мелодичность. В числе произведений камерной музыки, приобретших особую известность, — соната для скрипки с фортепиано, которую, очевидно, имеет в виду Голсуорси. В третьей, певучей, части сонаты критики отмечали влияние русской музыки, — к ней Франк в последний период своего творчества питал живой интерес.

Он встал и вышел на воздух. Звезды были необычайно яркие. Он прошёл по террасе вокруг дома, пока не поравнялся с окном гостиной, откуда мог видеть Ирэн за роялем; свет лампы падал на её словно напудренные волосы; она ушла в себя; тёмные глаза глядели в пространство; руки празднично лежали на клавишах. Джолион увидел, как она подняла эти руки и стиснула их на груди. «О Джоне! — подумал он. — Все о Джоне! Я для неё перестаю существовать — это так естественно!»

Стараясь остаться незамеченным, он повернул назад.

На следующий день, дурно проспав ночь, он сел за свою работу. Он писал, писал с Прудом, черкал и снова писал.

«Мой дорогой мальчик!

Ты достаточно взрослый, чтобы понять, как трудно родителям открываться перед своими детьми. В особенности если они, как твоя мать и твой отец (впрочем, для меня она всегда останется молодой), все своё сердце отдали тому, перед кем должны исповедаться. Не могу сказать, чтобы мы сознавали себя грешниками — в жизни у людей редко бывает такое сознание, — но большинство людей сказал бы, что мы согрешили; во всяком случае, наше поведение, праведное или неправедное, обратилось против нас. Правда заключается в том, дорогой мой, что у нас обоих есть прошлое, и теперь передо мной стоит задача поведать о нём тебе, потому что оно должно печально и глубоко отразиться на твоём будущем. Много, очень много лет назад — в 1883 году, когда ей было только двадцать лет, — твоя мать имела несчастье, большое, непоправимое несчастье вступить в неудачный брак не со мною. Джон. Оставшись после смерти отца без денег, но зато с мачехой, близкой родственницей Иезавели⁶⁹, — она была очень несчастна дома. И вышла она замуж за моего двоюродного брата, Сомса Форсайта — отца Флёр. Он её домогался очень упорно и — надо отдать ему справедливость сильно её любил. Не прошло и недели, как она поняла свою ошибку. Не на нём лежала вина; виновато было её неведение — её злое счастье».

До сих пор Джолион сохранял некоторое подобие иронии, но дальше тема захватила его и увлекла.

«Джон, я хочу объяснить тебе, если смогу (а это очень трудно), почему так легко происходят такого рода несчастные браки. Ты скажешь, конечно: „Если она не любила его по-настоящему, как она могла стать его женой?“ Ты был бы прав, если бы не одно, очень печальное обстоятельство. От этой первоначальной ошибки произошли все последующие неурядицы, горе, трагедия, и потому я попытаюсь разъяснить ее тебе. Понимаешь ли, Джон, в те дни, да и по сей день (право, я не вижу, несмотря на все разговоры о просвещении, как это может быть иначе), большинство девушек выходит замуж, ничего не зная о половой стороне жизни. Даже если они знают, в чем она заключается, они этого не испытали. В этом все дело. Все различие и вся трудность — в отсутствии действительного опыта, так как знание с чужих, слов ничему не поможет. Очень часто — и так было с твоею матерью девушка, вступая в брак, не знает и не может знать наверняка, любит ли она своего будущего мужа, или нет; не знает, пока ей этого не раскроет то физическое сближение, которое составляет реальную сущность брака. Во многих, может быть, в большинстве сомнительных случаев физическое сближение служит как бы цементом, скрепляющим взаимную привязанность. Но бывают и другие случаи — как с твоей матерью, — когда оно разоблачает ошибку и ведет к разрушению всякого влечения, если оно и было. Нет ничего трагичнее в жизни женщины, чем открыть эту истину, которая с каждым днем, с каждой ночью становится все очевиднее. Люди косного ума и сердца способны смеяться над

⁶⁹ Иезавель — жена иудейского царя Ахава, образ жестокой и бесстыдной женщины

подобной ошибкой и говорить: „Не из чего подымать шум!“ Люди узкого ума, самодовольные праведники, умеющие судить о чужой жизни только по своей собственной, выносят суровый приговор женщине, допустившей эту трагическую ошибку, приговор к пожизненной каторге, которую она сама себе уготовила. Ты слышал выражение: „Где постелила, там и спи!“ Грубая и жестокая поговорка, совершенно недостойная джентльмена в лучшем смысле этого слова; более сильного осуждения я не мог бы высказать. Я никогда не был тем, что называется нравственным человеком, однако я ни единым словом не хочу навести тебя, дорогой, на мысль, что можно относиться с легкостью к узам и обязательствам, какие человек берет на себя, вступая в брак. Боже упаси! Но по опыту всей моей прожитой жизни я утверждаю, что те, кто осуждает жертву подобной трагической ошибки, осуждает и не протягивает ей руку помощи, — те бесчеловечны, или, вернее, были бы бесчеловечны, если бы понимали, что делают. Но они не понимают! Ну их совсем! Я предаю их анафеме, как, несомненно, и они предают анафеме меня. Мне пришлось сказать тебе все это, потому что я собираюсь отдать на твой суд твою мать, а ты очень молод и лишен жизненного опыта. Итак, продолжаю свой рассказ. После трехлетних усилий преодолеть свою антипатию — свое отвращение, сказал бы я, и это слово не было бы слишком сильным, потому что при таких обстоятельствах антипатия быстро переходит в отвращение, — после трехлетней пытки, Джон! — потому что для такого существа, как твоя мать, для женщины, влюбленной в красоту, это было пыткой — она встретила молодого человека, который ее полюбил. Он был архитектором, строил тот самый дом, где мы живем теперь, строил для нее и для отца Флер, новую тюрьму для нее вместо той, где ее держали в Лондоне. Может быть, это сыграло известную роль в том, что случилось дальше. Но только и она полюбила его. Знаю, мне нет нужды объяснять тебе, что нельзя выбрать заранее, кого полюбишь. Это находит на человека. И вот нашло! Я представляю себе, хоть она никогда не рассказывала много об этом, ту борьбу, которая в ней тогда происходила, потому что, Джон, твоя мать была строго воспитана и не отличалась легкостью взглядов — отнюдь нет. Однако то было всеподавляющее чувство, и оно дозрело до того, что они полюбили на деле, как любили в мыслях. И тут произошла страшная трагедия. Я должен рассказать тебе о ней, потому что иначе ты никогда не поймешь той ситуации, в которой тебе предстоит разобраться; Человек, за которого вышла твоя мать, — Сомс Форсайт, отец Флер, — однажды ночью, в самый разгар ее страсти к тому молодому человеку, насильственно осуществил над нею свои супружеские права. На следующий день она встретила со своим любовником и рассказала ему об этом. Совершил ли он самоубийство или же в подавленном состоянии случайно попал под омнибус, мы так и не узнали; но так или иначе — он погиб. Подумай, что пережила твоя мать, когда услышала в тот вечер о его, смерти, Мне случилось увидеть её тогда. Твой, дедушка послал меня помочь, ей, если будет можно. Я её видел лишь мельком — её муж захлопнул передо мною дверь. Но я никогда не забывал её лица, я и теперь вижу его перед собою... Тогда я; не был в неё влюблён (это пришло двенадцать лет спустя), но я долгое время помнил её лицо. Мой дорогой мальчик, нелегко мне так писать. Но ты видишь, я должен. Твоя мать предана тебе всецело, полна одним тобою. Я не хочу писать со злобой о Сомсе Форсайте. Я без злобы думаю о нём. Мне давно у же только жаль его. Может быть, мне и тогда было его жаль. По суждению света, она была преступницей, он был прав. Он любил её по-своему. Она была его собственностью, Таковы его воззрения на жизнь, на человеческие чувства, на сердце — собственность! Не его вина — таким он родился. Для меня подобные воззрения всегда были отвратительны — таким я родился! Насколько я знаю тебя, я чувствую, что и для тебя они должны быть отвратительны. Позволь мне продолжать мой рассказ. Твоя мать в ту же ночь бежала из его дома; двенадцать лет она тихо прожила одна, удалившись от людей, пока в тысяча восемьсот девяносто девятом году её муж — он ещё был, понимаешь, её мужем, потому что не старался с нею развестись, а она, конечно, не имела права требовать развода, — пока муж её не сообразил, по-видимому, что ему не хватает детей; он начал длительную осаду, чтобы принудить её вернуться к

нему и дать ему ребёнка. Я был тогда её попечителем по завещанию твоего дедушки и наблюдал, как всё это происходило. Наблюдая, я полюбил её искренно и преданно. Он настаивал всё упорнее, пока однажды она не пришла ко мне и не попросила меня взять её под защиту. Чтобы принудить нас к разлуке, её муж, которого осведомляли о каждом её шаге, затеял бракоразводный процесс; или, может быть, он в самом деле хотел развода, не знаю. Но, так или иначе, наши имена были соединены публично. И это склонило нас к решению соединиться на деле. Она получила развод, вышла замуж за меня, и родился ты. Мы жили в невозмутимом счастье — я по крайней мере был счастлив, и, думаю, мать твоя тоже. Сомс вскоре после развода тоже женился, и родилась Флёр. Таково наше прошлое, Джон; Я рассказал его тебе, потому что возникшая у тебя, как мы видим, склонность к дочери этого человека слепо ведёт тебя к полному разрушению счастья твоей матери, если не твоего собственного. О себе я не хочу говорить, так как, учитывая мой возраст, трудно предположить, что я ещё долго буду попираить землю, да и страдания мои были бы только страданиями за твою мать и за тебя. Но я стремлюсь, чтобы ты понял одно: что подобное чувство ужаса и отвращения нельзя похоронить или забыть. Это чувство живо в ней по сей день. Не далее как вчера на стадионе Лорда мы встретили случайно Сомса Форсайта. Если бы ты видел в ту минуту лицо твоей матери, оно убедило бы тебя. Мысль, что ты можешь жениться на его дочери, преследует её кошмаром, Джон. Я ничего не имею против Флёр, кроме того, что она его дочь. Но твои дети, если ты женишься на ней, будут не только внуками твоей матери, они будут в той же мере внуками Сомса, человека, который когда-то обладал твоею матерью, как может мужчина обладать рабыней. Подумай, что это значит. Вступая в такой брак, ты переходишь в тот лагерь, где твою мать держали в заключении, где она изнывала. Ты стоишь на пороге жизни, ты только два месяца знаком с этой девушкой, и какой глубокой ни представляется тебе

Твоя любовь к ней, я обращаюсь к тебе с призывом пресечь эту любовь немедленно. Не отравляй твоей матери мукой и унижением остаток её жизни. Мне она всегда будет казаться молодой, но ей пятьдесят семь лет. Кроме нас двоих, у неё нет никого на земле. Скоро у неё останешься ты один. Соberись с духом, Джон, и пресеки: не воздвигай между собой и матерью этой преграды. Не разбивай её сердца! Благословляю тебя, дорогой мой мальчик, и — ещё раз — прости мне боль, которую принесёт тебе это письмо; мы пробовали избавить тебя от неё, но Испания, видно, не помогла.

Неизменно любящий тебя отец Джолион Форсайт».

Кончив свою исповедь, Джолион сидел, склонив сухую щеку на ладонь, и перечитывал написанное. Тут были вещи, которые причиняли ему такое страдание, когда он представлял себе, как Джон будет читать их, что он едва не разорвал письмо. Рассказывать такие вещи юноше, да ещё родному сыну, рассказывать их о своей жене и о матери этого юноши казалось ужасным для его сдержанной форсайтской души. Однако, не рассказав их, как заставить Джона понять действительность, увидеть глубокую расщелину, неизгладимый шрам? Без них как оправдать перед юношей, что душат его любовь? Тогда уж лучше вовсе ничего не писать!

Он сложил исповедь и сунул её в карман. Была — слава богу! — суббота; до завтрашнего вечера он мог ещё подумать; ведь если даже послать письмо сейчас же, Джон его получит не раньше понедельника. Джолион чувствовал странное облегчение от этой отсрочки и от того, что, посланное или нет, письмо написано.

В розарии, разбитом на месте, где раньше были заросли папоротника, он видел Ирэн с садовыми ножницами и корзиной на руке. Она, казалось ему, никогда не оставалась праздною, и теперь, когда он сам проводил в праздности, почти все своё время, он ей завидовал. Он сошёл к ней в сад. Она подняла руку в запачканной перчатке и улыбнулась. Кружевная косынка, завязанная под подбородком, прикрывала её волосы, и продолговатое лицо с тёмными ещё бровями казалось совсем молодым.

— Мошкара в этом году очень назойлива, а между тем прохладно. У тебя усталый вид, Джолион.

Джолион вынул из кармана исповедь.

— Я написал вот это. Тебе, я думаю, следует прочесть.

— Письмо Джону?

Её лицо изменилось, как-то осунулось и подурнело.

— Да. Тайна раскрыта.

Он дал ей письмо и отошёл в чащу розовых кустов. Потом, видя, что она дочитала и стоит неподвижно с исписанными листами в опущенной руке, снова подошёл к ней.

— Ну как?

— Чудесно изложено. Мне думается, лучше и нельзя было бы изложить. Благодарю, дорогой.

— Ты ничего не хотела бы вычеркнуть?

Она покачала головой.

— Нет; чтобы понять, он должен знать все.

— Так же думал и я, и всё-таки — претит мне это!

У него было такое чувство, точно ему это претит сильнее, чем ей. Ему легче было говорить о вопросах пола с женщиной, чем с мужчиной; к тому же она всегда была естественной, искренней, в ней не было, как в нём, глубокой форсайтской скрытности.

— Не знаю, поймёт ли он даже теперь, Джолион? Он так молод; и физическая сторона его отталкивает.

— Это он унаследовал от моего отца: тот относился ко всему такому брезгливо, как девушка. Не лучше ли написать заново и просто сказать ему, что ты ненавидела Сомса?

Ирэн покачала головой.

— Ненависть — только слово. Оно ничего не передаёт.

Нет, лучше так, как написано.

— Хорошо. Завтра письмо уйдёт.

Она подняла к нему лицо, и перед множеством увитых цветами окон большого дома он поцеловал её.

II. ИСПОВЕДЬ

Попозже днём Джолион задремал в старом кресле. На голених у него вверх переплётом лежала раскрытая «La Patisserie de la Reine Pedauque»⁷⁰, и, перед тем как уснуть, он думал: «Будем ли мы когда-нибудь по-настоящему любить французов как народ? Будут ли они когда-нибудь по-настоящему любить нас?» Сам он всегда любил французов, освоившись с их остроумием, их вкусами, их кухней. Перед войной, когда Джон учился в частной закрытой школе, они вдвоём с Ирэн часто ездили во Францию. И роман его с Ирэн начался в Париже — его последний и самый длительный роман. Но французы... англичанин не может их любить, если не научился глядеть на них как бы со стороны, глазом эстета. На этом печальном заключении он задремал.

Проснувшись, он увидел Джона, стоявшего между ним и дверью на террасу. Мальчик, очевидно, пришёл из сада и ждал, пока отец проснётся. Джолион улыбнулся спросонок. Как хорош его сын — чуткий, ласковый и прямой! Потом сердце его неприятно дёрнулось, ощущение дрожи пробежало по телу. Джон! И эта исповедь! Он сделал усилие, чтобы не утратить власти над собою.

— Здравствуй, Джон! Откуда ты свалился?

Джон нагнулся и поцеловал его в лоб.

Только тогда Джолион заметил, какое у него лицо.

⁷⁰ «Харчевня королевы Гусиные Лапки» — роман А. Франса (1844—1924).

— Я приехал, чтобы сказать тебе кое-что, папа.

Всеми силами Джолион старался совладать с беспокойным ощущением в груди — там что-то дёргалось и клокотало.

— Хорошо, садись, друг мой! Ты показался маме?

— Нет.

Вспыхнувшая на лице мальчика краска сменилась бледностью; он сел на ручку старого кресла, как в давние дни Джолион сам садился, бывало, рядом со своим отцом, а тот вот так же в нём полулежал. Ручка кресла была его узаконенным местом, пока не настал между ним и отцом чае разрыва. Неужели теперь он дожил до такого же часа со своим сыном? Всю жизнь он, как яд, ненавидел сцены, избегал ссор, шёл спокойно своей дорогой и не мешал Другим. Но теперь, у последнего предела, ему, по-видимому, предстояла сцена мучительней всех тех, которых он избежал. Он опустил забрало над своим волнением и ждал, чтобы сын заговорил.

— Папа! — медленно сказал Джон. — Я женюсь на Флёр.

«Так и есть!» — подумал Джолион. У него перехватило дыхание.

— Я знаю, что тебе и маме не нравится эта мысль. Флёр говорит, что мама была невестой её отца перед тем, как вышла за тебя. Конечно, я не знаю, что там произошло, но это было так давно. Я люблю её, папа, и она говорит, что любит меня.

Странный звук вырвался у Джолиона — не то смех, не то стон.

— Тебе девятнадцать лет, Джон, а мне семьдесят два. Как нам понять друг друга в таких вещах?

— Ты любишь маму, папа; ты должен понимать, что мы чувствуем. Несправедливо, чтобы те старые дела портили наше счастье!

Поставленный лицом к лицу со своею исповедью, Джолион решил обойтись без неё, если будет хоть малейшая возможность. Он положил руку сыну на плечо.

— Видишь ли, Джон, я мог бы затягивать дело разговорами о том, что вы оба слишком молоды и сами ещё не знаете себя — и всё такое, но ты не стал бы слушать меня, и к тому же дело не в этом: молодость, к сожалению, излечивается сама собою. Ты с лёгкостью говоришь о «тех старых делах», не зная о них, как ты сам откровенно заявил, ровно ничего. Скажи, разве я когда-либо давал тебе повод сомневаться в моей любви к тебе или в моей искренности?

В менее тревожное мгновение он, верно, позабавился бы тем, что его, слова вызвали столько противоречивых чувств: горячим рукопожатием мальчик постарался успокоить отца, но на лице его отразился страх перед тем, что последует за успокоением; однако Джолион почувствовал только благодарность за рукопожатие.

— Ты можешь верить тому, что я скажу. Джон, если ты не покончишь с этой любовью, ты сделаешь свою мать несчастной до конца её дней. Верь мне, дорогой мой, прошлое, каково бы оно ни было, нельзя похоронить, нельзя!

Джон спрыгнул на пол.

«Девушка... — подумал Джолион. — Вот она идёт, встаёт перед ним — сама жизнь — пылкая, прелестная, любящая!

— Я не могу, папа. Как же, просто так, на слово? Конечно не могу!

— Если б ты знал, что было, ты покончил бы с этим без колебания. Должен был бы. Поверь мне, Джон!

— Как ты можешь знать, что я стал бы думать? Папа, я люблю её больше всего на свете.

Лицо Джолиона перекошилось, с мучительной медлительностью он сказал:

— Больше, чем мать, Джон?

По лицу мальчика, по его сжатым кулакам Джолион понимал, какую борьбу он переживает.

— Я не знаю, — вырвалось у него наконец, — не знаю!

Но отступить от Флёр из-за ничего, из-за чего-то, что мне непонятно, отступить от

неё, не веря, что причина хоть наполовину стоит того, — это... это значило бы...

— Почувствовать, что мы несправедливы, что мы тебе помеха, да? Но лучше так, чем то, что ты затеял.

— Я не могу. Флёр любит меня, и я её люблю. Ты хочешь, чтоб я верил тебе. Почему же ты мне не веришь, папа? Мы ни о чём не станем допытываться — будет так, точно ничего и не было. И это только заставит нас обоих ещё больше любить тебя и маму.

Джолион засунул руку в карман пиджака, ню снова вынул её пустую и сидел, пощёлкивая языком о стиснутые зубы.

— Подумай, Джон, чем была для тебя твоя мать! У неё нет никого, кроме тебя: я недолго ещё протяну.

— Почему? Не надо так говорить! Почему?

— Хорошо, — холодно сказал Джолион, — потому что так сказали мне врачи; только и всего.

— О папа! — воскликнул Джон и разразился слезами.

Слёзы, которых он не видел у сына с тех пор, как тому исполнилось десять лет, глубоко потрясли Джолиона. Он яснее, чем когда-либо, понял, как страшно мягко сердце его мальчика, как много будет он страдать из-за этой истории и вообще в своей жизни. И беспомощно протянул вперёд руку, не желая, да и не решаясь встать.

— Друг мой, — сказал он, — не надо, или ты заразишь и меня!

Джон подавил приступ рыданий и стоял очень тихо, от — вернув лицо.

«Что теперь? — думал Джолион. — Что мне ему сказать, чтобы тронуть его?»

— Кстати, не рассказывай этого маме, — начал он, — довольно с неё тревоги по поводу тебя. Я понимаю твои чувства. Но, Джон, ты достаточно знаешь её и меня. Ты можешь не сомневаться, что мы не стали бы с лёгким сердцем портить твоё счастье. Мой дорогой мальчик, у нас одна забота твоё счастье; я по крайней мере думаю только в твоём счастье и о счастье твоей матери, а она Только о твоём. Все ваше будущее — твоё и её — поставлено на карту.

Джон обернулся. Его лицо было мертвенно бледно; глубоко запавшие глаза горели.

— Что же это? Что же это такое? Зачем вы оставляете меня в темноте?

Джолион, сознавая, что потерпел поражение, засунул руку в карман на груди и сидел так добрую минуту, закрыв глаза и тяжело дыша. В мозгу его пронеслась мысль: «Была у меня долгая полоса счастья, были и горькие минуты; эта — самая горькая». Потом он вынул руку, держа в ней письмо, и сказал устало:

— Хорошо, Джон, если бы ты не приехал сегодня, ты получил бы это по почте. Я хотел избавить тебя от лишней боли, пощадить твою мать и себя, но, вижу, тщетно. Прочти и подумай, а я пойду в сад, — и он сделал движение, намереваясь встать.

Джон, взяв письмо, быстро сказал:

— Нет, ты сиди, я сам уйду, — и убежал.

Джолион опять откинулся на спинку кресла. Большая синяя муха выбрала эту минуту, чтобы закружиться над ним, яростно жужжа; звук был приятен лучше, чем ничего... Куда ушёл мальчик читать письмо? Несчастное письмо, несчастная повесть! Жестоко это, жестоко для Ирэн, для Сомса, для этих двух детей, для него самого!.. Сердце его колотилось, было больно. Жизнь с её любовью, трудом, красотой, с её болью — и конец! Доброе время; прекрасное время, несмотря ни на что; прекрасное, пока не пожалеешь, что родился на свет. Жизнь изнашивает тебя, но не научает желать смерти вот в чём коварство. Сердца лучше бы не иметь! Опять жужжа прилетела муха, внесла с собою всю жару, и звуки, и запах лета — да, запах зрелых плодов, высушенной травы, сочных зарослей и ванильного дыхания коров. И, притаившись где-нибудь среди этих запахов, Джон читает письмо, переворачивая и теребя страницы в горе, в недоумении и горе, и сердце его разрывается. Эта мысль причинила Джолиону острую муку. Джон, так нежен сердцем, так глубоко привязчив и так совестлив — несправедливо это, ох, как несправедливо! Вспомнилось, как Ирэн сказала ему раз: «Никогда не рождалось на свет существо более любящее и более достойное любви, чем Джон».

Бедный маленький Джон! В один прекрасный летний день мир для него сразу утратил всякую цену. Юность так остро всё воспринимает! В смятении, мучимый этой мыслью о юности, так остро всё воспринимающей, Джолион вышел из дому. Если можно чем-нибудь помочь ему, нужно это сделать.

Он прошёл кустами, заглянул за ограду в сад — Джона нет. Не оказалось его и там, где начинали набухать и румяниться персики и абрикосы. Вдоль стены кипарисов, тёмных и острых, прошёл он на луг. Куда запрятался мальчик? Кинулся в рощу — в старый свой заповедник? Джолион шёл по валам скошенной травы. В понедельник её сложат в копны, а во вторник начнут возить, если обойдётся без дождя. Часто проходили они вместе этим лугом рука об руку, когда Джон был ещё маленьким мальчиком. Увы! Золотой век кончается, когда человеку минет десять лет. Он подошёл к пруду, где комары и мухи плясали над светлой водяной гладью среди камышей; прошёл дальше, в рощу. Там стояла прохлада, сочился запах лиственниц. Но Джона не было. Джолион крикнул. Ответа нет. Взвинченный, встревоженный, забывая о своём недомогании, он сел на упавшее дерево. Неправильно он поступил, дав мальчику уйти с этим письмом; нужно было с начала до конца не сводить с него глаз. В сильном волнении он встал и побрёл назад. У скотного двора он опять позвал, заглянул в тёмный коровник. В прохладе, в запахе ванили и аммиака, вдали от мух, три ольдернеики мирно жевали жвачку; их только что подоили, и они ждали вечера, когда их снова выгонят на луг. Одна повернула ленивую голову, повела блестящим глазом; Джолион увидел слюну на серой нижней губе. В нервном своём возбуждении он видел их со страстной чёткостью — всё, что в своё время любил он, пытался изобразить, чудеса светотени и красок. Не удивительно, что легенда поместила Христа в ясли — что может быть преданней и нежней глаз и лунно-белых рогов жующей коровы в тёплом сумраке хлева? Джолион крикнул снова. Ответа нет! Торопливо пошёл он, прочь из рощи, мимо пруда, вверх по склону холма. Странная, как подумаешь, была бы игра иронии, если бы Джон пошёл переживать своё открытие в эту рощу, где некогда его мать и Босини очертя голову признались друг другу в любви, где сам он, сидя на стволе дерева в то воскресное утро, когда вернулся из Парижа, понял, что Ирэн для него заполнила весь мир. И это место ирония должна была бы выбрать, чтобы разодрать пелену перед глазами сына Ирэн! Но его здесь нет! Куда он ушёл? Нужно разыскать беднягу.

Солнечный луч потянулся к нему, обостряя для его повышенного восприятия красоту этого дня, и высоких деревьев, и удлиняющихся теней, и синева, и белых облаков; пахло сеном; ворковали голуби; цветы высоко подымали свои головки. Он прошёл в розарий, и красота роз в этом внезапном свете солнца показалась ему неземной. «Роза, испанская гостья!»⁷¹ Чудесные три слова! Здесь стояла она у куста тёмно-красных роз, стояла, читая, и решила, что Джон должен все узнать! И вот он узнал! Справедлив ли был её выбор? Джолион наклонился, понюхал розу; её лепестки, щекоча, коснулись его ноздрей и дрожащих губ; нет ничего нежнее, чем бархат розового лепестка, кроме, конечно, шеи Ирэн. Ирэн! Он пересёк лужайку и пошёл вверх по склону, к старому дубу. Только вершина его золотилась, потому что тот внезапный луч солнца ушёл за дом; тень внизу была густа и блаженно-прохладна. Джолиона сильно утомила жара. Минуту он стоял, держась за верёвку качелей — Джолли, Холли, Джон! Старые качели! И вдруг почувствовал страшную, смертельную дурноту. «Я хватил через край, — подумал он, — честное слово! Я хватил через край!» Шатаясь, он поплёлся обратно к террасе, с трудом поднялся по ступенькам и припал к стене дома. Так он стоял, задыхаясь, зарывшись лицом в жимолость, над которой он и Ирэн столько потрудились вдвоём, чтобы слаще был воздух, вливаясь в окна. Благоухание жимолости мешалось с острой болью. «Любовь моя! — подумал он. — Мой мальчик!» С большим усилием он добрался до стеклянной двери, переступил порог и опустился в кресло старого Джолиона. Рядом лежала книга, и в ней карандаш; он дотянулся

⁷¹ . «Роза, испанская гостья!» — Строка из стихотворения Р. Браунинга (1812—1889) «Название цветка»

до него, нацарапал одно слово на раскрытой странице... рука его упала... Так вот это как... Неужели так?

Судорога — и темнота...

III. ИРЭН!

Когда с письмом в руке Джон кинулся прочь из комнаты отца, он в страхе и смятении пробежал по террасе, обогнул угол дома. Прислонившись к увитой зеленью стене, он разорвал конверт. Письмо длинное, очень длинное! Страх возрос. Он начал читать. Когда дошёл до слов: «И вышла она замуж... за отца Флёр», в глазах у него всё завертелось. Рядом была стеклянная дверь. Войдя в неё, он пересёк гостиную и холл и поднялся в свою спальню. Освежив лицо холодной водой, он сел на кровать и читал дальше, роняя рядом с собой на покрывало дочитанные листки, Почерк отца читался так легко — Джон хорошо его знал, хотя никогда не получал от отца писем и в четверть таких длинных. Он читал, но чувства его словно притупились, воображение работало лишь наполовину. Лучше всего понял он при этом первом чтении, какую боль должен был испытывать отец, когда писал это письмо. Он уронил последний листок и в какой-то умственной, нравственной беспомощности стал перечитывать первый. Всё это казалось ему омерзительным — мёртвым и омерзительным. Потом горячей волной его обдало внезапное чувство ужаса. Он зарылся лицом в ладони. Его мать! Отец Флёр! Собрал листки, машинально стал читать дальше. И опять явилось чувство, что всё это мертво и омерзительно; его собственная любовь совсем иная! В письме сказано: его мать — и её отец! Страшное письмо!

Собственность! Неужели бывают мужчины, которые смотрят на женщину как на свою собственность? Лица, виденные на улице или в деревне, обступили его толпой — красные, мясистые лица; лица жёсткие и тупые; сухие и чванные; злобные лица; сотни, тысячи лиц! Как может он знать, что думают и делают люди, у которых такие лица? Джон сжал виски руками и застонал. Его мать! Он сгрёб листки и снова стал читать: «... чувство ужаса и отвращения... живо в ней по сей день... Ваши дети... внуками... человека, который обладал твоей матерью, как может мужчина обладать рабыней...» Джон встал с кровати. Это жестокое, тёмное прошлое, притаившееся, точно тень, чтобы убить его любовь и любовь Флёр, это прошлое — правда; иначе отец не мог бы написать такое письмо. «Почему мне не рассказали сразу, думал Джон, — в тот день, когда я в первый раз увидел Флёр? Они знали, что я увидел её; они боялись, а теперь... Теперь вот это!» От боли, такой острой, что невозможно было рассуждать и взвешивать, он забился в тёмный угол комнаты и сел на пол. Он сидел там несчастным зверьком. Сумрак и голый пол были утешительны — они словно возвращали его к тем дням, когда, распластавшись на полу, он играл в солдатики. Скрюченный, взъерошенный, обняв руками колени, просидел он так, сам не зная сколько времени. Сидел, оцепенев от горя, пока его не заставил очнуться скрип двери, открывшейся в его комнату из комнаты матери. Шторы на окнах были спущены, и окна в его отсутствие закрыты, и он из своего угла мог только слышать шелест, её приближающиеся шаги, потом увидел, что она остановилась за кроватью у туалетного стола. Она держала что-то в руке. Джон едва дышал, надеясь, что она его не заметит и уйдёт. Он видел, как она трогала вещи на столе, словно они таили в себе какую-то внутреннюю силу, потом повернулась к окну — серая с головы до ног, точно призрак. Стоит ей ещё чуть-чуть повернуть голову, и она его увидит! Губы её зашевелились: «О Джон!» Она говорила сама с собою; от звука её голоса у Джона дрогнуло сердце. Он увидел в её руке маленькую фотографию. Она её держала к свету и глядела на неё. Крошечная карточка. Джон её узнал: это он сам маленьким мальчиком — карточка, которую она всегда держит у себя в сумке. Сердце его забилося. И вдруг, словно услышав это, она повернула голову и увидела его. На её невольный возглас, на движение её рук, прижавших фотографию к груди, он сказал:

— Да, это я.

Она подошла к кровати и села, совсем близко от него, всё ещё прижимая руки к груди,

наступая на листки письма, соскользнувшие на пол. Она их увидела, и руки её крепко сжались на спинке кровати. Она сидела очень прямо, устремив на сына тёмные глаза. Наконец она заговорила:

— Так, Джон. Ты, я вижу, знаешь.

— Да.

— Ты видел папу?

— Да.

Долго длилось молчание, пока она не сказала:

— О мой дорогой мальчик!

— Ничего. Все в порядке.

Его переживания были так бурны и так сложны, что он не смел пошевелиться — в обиде, в отчаянии и странной жажде почувствовать на лбу утешительное прикосновение её руки.

— Что ты думаешь делать?

— Не знаю.

Снова долгое молчание; потом Ирэн поднялась. Она стояла с минуту очень тихо, только двигались пальцы руки, потом сказала:

— Мой дорогой, дорогой мой мальчик, не думай обо мне, думай о себе.

И, обойдя кровать, пошла обратно в свою комнату.

Джон свернулся клубком, точно ёжик, забился в угол.

Так прошло минут двадцать, когда его поднял крик. Крик донёсся снизу, с террасы. Джон вскочил в испуге. Крик раздался снова: «Джон!» Голос матери! Джон выбежал из комнаты, сбегал вниз по лестнице, через пустую столовую в кабинет отца. Мать стояла на коленях перед старым креслом, а отец лежал в кресле совершенно белый, уронив голову на грудь; одна рука покоилась на раскрытой книге, сжимая в пальцах карандаш, но так странно — Джон в жизни не видел ничего более странного. Ирэн, как безумная, посмотрела вокруг и сказала:

— О Джон, он умер... умер!

Джон тоже упал на колени и, перегнувшись через ручку кресла, на которой недавно сидел, прижал губы ко лбу отца. Холоден как лёд! Как мог, как мог папа умереть, когда час назад... Мать обнимала руками его колени, прижималась к ним грудью. «Почему, почему меня не было при нём!» услышал Джон её шёпот. Потом он увидел одно слово «Ирэн», нацарапанное карандашом на открытой странице, и сам разрыдался. То было его первое знакомство со смертью человека, и её немотная тишина заглушила в нём все другие переживания; всё прочее лишь подготовка к этому! Любовь и жизнь, радость, тревога и печаль, и движение, и свет, и красота — лишь вступление в эту страшную белую тишину. Он был глубоко потрясён. Всё вдруг показалось маленьким, бесплодным, коротким. Наконец он совладал с собою, встал и поднял Ирэн:

— Мама, мама, не плачь!

Через несколько часов, когда сделано было все что следует и мать его легла, он остался наедине с отцом, лежавшим на кровати под белой простыней. Долго стоял он, глядя в это лицо, никогда не выражавшее злобы в чертах своих, всегда чуть капризных и добрых. «Быть всегда добрым и вести свою линию — только и всего», — сказал он однажды сыну. Как удивительно отец его действовал всегда согласно этой философии! Джон понял теперь: отец задолго до своего конца знал, что смерть придёт к нему внезапно, знал и ни словом о том не обмолвился. Джон смотрел на него со страстным благоговением. На какую одинокую тоску обрёл он себя, щадя его мать и его самого! И маленьким казалось Джону его собственное горе, когда он глядел в это лицо. Слово, нацарапанное на странице! Прощальное слово! Теперь у мамы не осталось никого, кроме него, Джона! Он подошёл ближе к мёртвому — лицо несколько не изменилось, и всё-таки совсем другое. Отец сказал однажды, что не верит утверждению, будто сознание переживёт смерть тела; если даже оно и переживёт, то лишь до той поры, пока не настанет естественный предел жизни тела, пока не истечёт естественный

срок присущей ему жизнеспособности; так что если тело будет убито несчастным случаем, излишествами, острым заболеванием, тогда сознание может существовать дальше, до того времени, когда по естественному ходу вещей, без вмешательства со стороны, оно само изжило бы себя. Джона поразили тогда слова отца, потому что он никогда не слышал, чтобы кто-нибудь другой высказывал такую мысль. Если сердце так вот вдруг отказалось работать, это, конечно, не совсем естественно! Может быть, сознание его отца ещё присутствует в этой комнате. Над кроватью висит портрет отца его отца. Может быть, и его сознание ещё живёт, и сознание брата — его старшего брата, умершего в Трансваале. Может быть, все они собралась сейчас вокруг этой постели? Джон поцеловал холодный лоб и тихо пошёл в свою комнату. Дверь в спальню матери приоткрыта; очевидно, мать заходила сюда: все для него приготовлено, вплоть до бисквитов и тёплого молока, и письма не видно на полу. Джон выпил молоко и съел бисквиты, наблюдая, как угасают последние отсветы дня. Он не пытался всматриваться в будущее — только глядел в тёмные ветви дуба на уровне окна, и у него было такое чувство, точно жизнь остановилась. Ночью, ворочаясь в тяжёлом сне, он увидел раз что-то белое и неподвижное подле своей кровати и вскочил в испуге.

Голос матери произнёс:

— Это только я, Джон, дорогой!

Её рука легла ему на лоб, мягко отклонила назад его голову; затем белая фигура исчезла.

Один! Он снова уснул тяжёлым сном, и во сне ему чудилось, что имя матери ползёт по его кровати.

IV. СОМС РАЗМЫШЛЯЕТ

Объявление в «Таймсе» о смерти молодого Джолиона Сомс принял очень просто. Итак, его двоюродный братец умер! Между ними никогда не существовало родственной любви. Полнокровное чувство ненависти в сердце Сомса давно умерло, с опасностью рецидивов он всегда боролся, однако эта ранняя смерть представлялась ему неким поэтическим возмездием. Двадцать лет человек наслаждался отнятыми у другого женой и домом — и вот он умер. Появившийся несколько позже некролог, по мнению Сомса, воздал Джолиону слишком много чести. Там говорилось о «тонком мастере и приятном художнике, чьи работы являют нам типический и лучший образец акварельной живописи поздне-викторианского периода». Сомс, который всегда бессознательно предпочитал Мола,⁷² Морпина и Кэзуэла Бэя и громко фыркал, встречая на выставках работы своего двоюродного брата, перевернул хрустящую страницу «Таймса».

В это утро ему пришлось поехать в Лондон по форсайтским делам, и он определённо заметил, что Грэдмен кидает на него поверх очков косые взгляды. Старый клерк излучал какую-то скорбно-поздравительную эманацию. От него прямо-таки веяло запахом минувших времён. Было почти слышно, как он думает: «Мистер Джолион... м-да, он был как раз моих лет, и вот умер, жаль, жаль! Для неё, надо думать, это большой удар. Красивая была женщина. Все мы под богом ходим! Газеты посвящают ему некролог. Вот какие дела!» Окружавшая Грэдмена атмосфера побудила Сомса с необычной быстротой провести несколько сделок по передаче собственности и сдаче в наём домов.

— А как насчёт того проекта, мистер Сомс, касательно мисс Флёр?

— Я передумал, — коротко ответил Сомс.

— А! О! Я очень рад. Мне и то показалось тогда, что вы слишком торопитесь. Времена меняются.

Сомс начал тревожиться о том, как отразится эта смерть на Флёр. Он не был уверен,

⁷² Мол (1814—1886) — английский акварелист-пейзажист, самоучка, впоследствии был признан мастером живописи, стал вице-президентом общества акварелистов; работы Мола были выставлены в музеях Лондона.

что дочь знает о случившемся: она редко просматривает газету, объявления же о рождениях, браках и смертях и вовсе никогда.

Наспех закончил он дела и отправился завтракать на Грин-стрит. Уинифрид была грустна. Джек Кардиган сломал крыло машины, выяснил Сомс, и сам на некоторое время выбыл из строя. Уинифрид не могла освоиться с мыслью о нездоровье зятя.

— Профон уехал в конце концов? — спросил Сомс.

— Уехал, — ответила Уинифрид, — но куда, не знаю.

Да, в том-то и горе — нельзя ничего сказать наврное! Впрочем, Сомсу не очень и хотелось знать. Письма от Аннет приходили из Джеппа, где она жила вместе с матерью.

— Ты, конечно, прочла о смерти этого... Джолиона?

— Да, — сказала Уинифрид. — Мне жаль его... его детей. Он был очень приятный человек.

Сомс проворчал что-то неопределённое. Старая, глубокая истина, что о людях судят в этом мире не по их делам, а по тому, что они собой представляли, подползла и назойливо стучалась с чёрного хода в его сознание.

— Я знаю, что таким его принято было считать.

— Надо воздать ему по справедливости теперь, когда он умер.

— Я предпочёл бы воздать ему по справедливости, пока он был жив, сказал Сомс, — но мне ни разу не представилось такой возможности. Есть у тебя «Книга баронетов»?

— Да, вот здесь, на нижней полке.

Сомс достал объёмистый красный том и стал перелистывать страницы.

«... Монт — сэр Лоренс, 9-й бар-т, т-л от 1620 г., ст. сын Джофри, 8-го бар-та и Лавинии, дочери сэра Чарльза Маскхема, бар-та (Маскхемхолл, Шропшир), в 1890 г, женился на Эмили, дочери Конуэя Чаруэла, эскв., Кондафорд-Грэйндж; один сын-наследник Майкл Конуэй, род, в 1895 г., две дочери, местожительство: Липпингхолл-Мэнор, Фолуэл, Букингемшир.

Клубы: «Шутников», «Кофейня», «Аэроплан». См. «Бидликот».

— Гм! — промычал он. — Знала ты когда-нибудь каких нибудь издателей?

— Дядю Тимоти.

— Нет, живых?

— Монти встречался с одним в своём клубе и однажды затащил его к нам обедать. Монти, ты знаешь, всегда носился с мыслью написать книгу, как зарабатывать деньги на скачках. Он пытался заинтересовать этого издателя.

— Ну и как?

— Убедил его поставить на одну лошадь в заезде на две тысячи гиней. Больше мы его не видели. Он, помнится мне, был довольно элегантен.

— Лошадь взяла приз?

— Нет. Пришла, кажется, последней. Ты знаешь, Монти был по-своему очень неглуп.

— Да? — сказал Сомс. — Как ты полагаешь, это вяжется — издательское дело и будущий баронет?

— Люди теперь берутся за самые разнообразные дела, — отвечала Уинифрид. — Нынче больше всего боятся безделья — не то что в наше время. Ничего не делать было тогда идеалом. Но, я думаю, это ещё вернётся.

— Молодой Монт, о котором я говорю, сильно увлечён нашей Флёр. Если б удалось положить конец той, другой истории, я, пожалуй, стал бы его поощрять.

— Он интересный? — спросила Уинифрид.

— Он не красавец, но довольно приятный, с некоторыми проблесками ума. Кажется, у них много земли. Он, по-видимому, питает к Флёр искреннее чувство. Но не знаю.

— Да, — пробормотала Уинифрид, — трудный вопрос: Я всегда считала, что самое лучшее — ничего не делать. Такая досада с Джеком — теперь мы ещё долго не сможем

уехать. Впрочем, люди всегда забавны, буду ходить в Хайдпарк, смотреть на публику.

— На твоём месте, — сказал Сомс, — я обзавёлся бы коттеджем в деревне, куда бы можно было, когда нужно, удалиться от праздников и забастовок.

— Деревня мне быстро надоедает, — ответила Уинифрид, — а железнодорожная забастовка⁷³ показалась «не замечательно интересной».

Уинифрид всегда отличалась хладнокровием.

Сомс распростился и ушёл. Всю дорогу до Рэдинга он обдумывал, стоит ли рассказать дочери о смерти отца «этого мальчишки». Положение почти не изменилось — разве что юноша становился более независимым и мог теперь встретить сопротивление только со стороны матери. Он, несомненно, получил в наследство большие деньги и, может быть, дом — дом, выстроенный для Ирэн и для него, Сомса, дом, строитель которого разрушил его домашний очаг. Флёр — хозяйкой этого дома! Да, это было бы поэтическим возмездием! Сомс рассмеялся невесёлым смехом. Он некогда предназначал этот дом для укрепления их пошатнувшегося союза, мыслил его гнездом своего потомства, если бы удалось склонить Ирэн подарить ему ребёнка! Её сын и его дочь! Их дети будут в некотором роде плодом союза между ним и ею!

Театральность этой мысли претила его трезвому рассудку. И всё же это было самым лёгким и безболезненным выходом из тупика — теперь, когда Джолион умер. Воссоединение двух форсайтских капиталов также представляло некоторый соблазн для его консервативной природы. И она, Ирэн, снова будет связана с ним узами родства. Нелепость! Абсурд! Он выбросил из головы эту мысль.

Входя в свой дом, он услышал стук бильярдных шаров и в окно увидел молодого Монта, распластавшегося над столом. Флёр, держа кий наперевес, наблюдала за ним с улыбкой. Как она хороша! Немудрёно, что молодой человек без ума от неё! Титул, земля! Правда, в наши дни немного проку в земле, а в титуле, пожалуй, и того меньше. Старые Форсайты всегда немножко презирали титулы, видя в них нечто чуждое и искусственное, не оправдывающее тех денег, которых они стоят; и потом, иметь дело с двором! Им всем, вспоминал Сомс, в большей или меньшей мере было присуще это чувство. Правда, Суизин в дни своего наивысшего расцвета присутствовал однажды на утреннем приёме у некоей высокой особы. Но, вернувшись домой, заявил, что больше не пойдёт. «Ну их всех! Мелкая рыбёшка!» Злые языки утверждали по этому поводу, что Суизин выглядел слишком громоздким в штанах до колен. И вспомнилось Сомсу, как его собственная мать мечтала быть представленной оной особе — потому что эта церемония так фешенебельна! — и как его отец с необычайной для него решительностью воспротивился желанию жены: пустая трата времени и денег, ничего это им не даст!

Тот самый инстинкт, благодаря которому палата общин получила и сохраняет верховную власть в британском государстве, чувство, что их собственный мир достаточно хорош и даже лучше всякого другого, потому что он их мир, позволил старым Форсайтам не льститься на «аристократическую мишуру», как называл все это Николае, когда его донимала подагра. Поколение Сомса, более склонное к самоанализу и к иронии, спасала мысль о Суизине в коротких штанах. А третье и четвёртое поколения, по-видимому, просто смеются над всем без разбора.

Однако Сомс не видел большого вреда в том непоправимом обстоятельстве, что молодой человек был наследником баронетского титула и поместья. Он спокойно взошёл на веранду в то мгновение, когда Монт только что промахнулся. Сомс заметил, что глаза молодого человека прикованы к Флёр, в свою очередь наклонившейся над столом; и

⁷³ ...железнодорожная забастовка... — Послевоенные годы в Англии отмечены значительным ростом рабочего движения, в котором ведущая роль принадлежала шахтерам и железнодорожникам. В данном случае, очевидно, имеется в виду начавшаяся в сентябре 1919 г. мощная стачка рабочих железнодорожного транспорта, грозившая перейти во всеобщую забастовку. Железнодорожники требовали сохранения заработной платы на уровне военных лет, национализации путей сообщения и прекращения антисоветской интервенции.

обожание, которое можно было в них прочесть, почти тронуло его.

Флёр положила кий на выемку своей гибкой кисти, потом подняла голову и тряхнула копной коротких тёмно-каштановых волос.

— Мне не попасть.

— Кто не рискует, тот...

— Правильно!

Кий ударил, шар покатился.

— Ну вот!

— Промах! Не беда!

Они увидели его, и Сомс сказал:

— Давайте я буду у вас маркером.

Он сидел на высоком диване под счётчиком, подобранный и усталый, вглядываясь украдкой в эти два лица. Когда партия кончилась, Монт подошёл к нему.

— Ну вот, сэр, я приступил. Нудная это материя — дела, правда? Вы, верно, в качестве юриста много накопили наблюдений над человеческой природой.

— Накопил.

— А сказать вам, что я заметил? Люди избирают ошибочный путь, предлагая меньше, чем могут дать; надо предлагать больше, а потом идти на попятный.

Сомс поднял брови.

— Но если предложение будет принято?

— Ничего не значит, — сказал Монт, — выгодней сбавлять цену, чем повышать. Скажем, мы предложили автору хорошие условия — он, естественно, их принял. Затем мы приступили к делу, находим, что не можем издать вещь с приличной прибылью, и говорим ему это. Он доверяет нам, потому что мы были к нему щедры, покоряется смиренно, как ягнёнок, и не питает к нам ни малейшей злобы. А если мы сразу же предложим ему жёсткие условия, он их не примет, нам придётся их повышать, чтобы он от нас не ушёл, и вот он считает нас гнусными скрягами и торгашами.

— Попробуйте покупать по этой системе картины, — сказал Сомс. — Принятое предложение есть уже контракт — вас этому не учили?

Молодой человек повернул голову туда, где стояла у окна Флёр.

— Нет, — сказал он, — к сожалению, не учили. Потом вот ещё что: всегда освобождайте человека от контракта, если ему хочется освободиться.

— В порядке рекламы? — сухо сказал Сомс.

— Если хотите; но я это мыслю как принцип.

— Ваше издательство следует этому принципу?

— Пока что нет, — ответил Монт, — но это придёт.

— Зато авторы уйдут.

— Нет, сэр, право, не уйдут. Я собираю теперь наблюдения, множество наблюдений, и все они подтверждают мою теорию. В делах постоянно недооценивается природа человека, и люди при этом теряют очень много удовольствия и прибыли. Конечно, вы должны действовать совершенно искренно и открыто, но это нетрудно, если таковы ваши чувства. Чем вы гуманнее и щедрее, тем выше ваши шансы в делах.

Сомс встал.

— Вы уже вступили в компанию?

— Нет ещё, вступлю через шесть месяцев.

— Остальным компаньонам следовало бы поторопиться забрать свои паи.

Монт рассмеялся.

— Вы ещё увидите, — сказал он, — наступают большие перемены. Собственнический принцип дышит на ладан.

— Что? — сказал Сомс.

— Закрывается лавочка! Помещение сдаётся в наём! До свидания, сэр. Мне пора уходить.

Сомс видел, как его дочь протянула Монту руку и поморщилась от пожатия, и явственно услышал, как вздохнул молодой человек, переступая порог. Потом Флёр пошла прочь от окна, ведя пальцем по борту бильярдного стола красного дерева. Наблюдая за нею, Сомс понимал, что она собирается спросить его о чём-то. Флёр обвела пальцем последнюю лузу и подняла глаза.

— Ты что-нибудь делал, папа, чтобы помешать Джону писать мне?

Сомс покачал головой.

— Ты, значит, не читала в газете? — сказал он. — Умер его отец — ровно неделю назад.

— О!

Её смущённое и нахмуренное лицо отразило мгновенное усилие сообразить, что несёт ей эта новость.

— Бедный Джон! Почему ты мне не рассказал, папа?

— Откуда мне знать, — тихо ответил Сомс, — ты мне не доверяешь.

— Я доверяла бы, если бы ты согласился помочь мне, дорогой.

— Может быть, я соглашусь.

Флёр сжала руки.

— О, дорогой мой, когда чего-нибудь отчаянно хочешь, то не думаешь о других. Не сердись на меня.

Сомс протянул руку, словно отстраняя клевету.

— Я размышляю, — сказал он. Что заставило его выразиться так торжественно? — Монт опять докучал тебе?

Флёр улыбнулась.

— Ох! Майкл! Он всегда докучает; но он такой милый — пусть его.

— Ну, — сказал Сомс, — я устал; пойду сосну немного перед обедом.

Он пошёл вверх в свою галерею, лёг на диван и закрыл глаза. Его пугала ответственность за свою девочку, чья мать была — гм! чем, собственно, была её мать? Страшная ответственность! Помочь ей? Как может он ей помочь? Он не может изменить того факта, что он её отец. Или что Ирэн... Что сказал сегодня этот юнец, Майкл Монт? Какую-то чепуху о собственническом инстинкте — закрыть лавочку, сдать в наём? Вздор!

Знойный воздух, насыщенный запахами таволги, реки и роз, обволакивал его чувства, усыпляя их.

V. НАВЯЗЧИВАЯ ИДЕЯ

«Навязчивая идея» — самый злостный растратчик среди всех душевных недугов — никогда не проявляется так бурно, как если примет алчный образ любви. Заборы ли, канавы, или двери, люди ли, не отягчённые навязчивой или какой другой идеей, детские колясочки и их пассажиры, прилежно сосущие свою навязчивую идею, другие ль страдальцы, преследуемые этой упрямой болезнью, — навязчивая идея любви ничего не желает замечать. Она несётся, обратив глаза внутрь, к собственному источнику света, забывая обо всех других светилах. Люди, одержимые навязчивой идеей, что счастье человечества зависит от их искусства, от вивисекции собак, от ненависти к иноземцам, от уплаты чрезвычайного налога, от того, удержатся ли они на министерских постах, будут ли вращать колёса или мешать соседям разводиться, от их отказа нести военную службу, от греческих глаголов, от церковной догмы, от парадоксов, от превосходства над всяким другим человеком, страдающим другою мономанией, — все они непостоянны по сравнению с тем или тою, кто одержим идеей овладеть своим избранником или избранницей; и хотя Флёр в те прохладные дни вела рассеянную жизнь маленькой мисс Форсайт, чьи платья будут безотказно оплачены и чьё занятие — получать удовольствия, однако до всего этого ей, как выразилась бы по-модному Уинифрид, «самым честным образом» не было никакого дела. Она хотела только, упорно хотела достать месяц, который плыл по холодному небу над Темзой или

Грин-парком, когда она отправлялась в город. Письма Джона она завернула в розовый шёлк и хранила у сердца, а в наши дни, когда корсеты так низки, чувства презираются и грудь так не в моде, едва ли можно было бы найти более веское доказательство навязчивости её идеи.

Узнав о смерти его отца, она написала Джону и через три дня, вернувшись с прогулки по реке, получила от него ответ. Это было первое его письмо после их свидания у Джун; вскрывая его, она мучилась предчувствием, читая — пришла в ужас.

«С тех пор как я виделся с тобой, я узнал все о прошлом. Я не стану рассказывать тебе того, — что узнал, ты, я думаю, знала это, когда мы встретились у Джун — она говорит, что ты знала. Если так. Флёр, ты должна была мне рассказать. Но ты, наверно, слышала только версию твоего отца; я же слышал версию моей матери. То, что было, — ужасно. Теперь, когда у мамы такое горе, я не могу причинить ей новую боль. Конечно, я томлюсь по тебе день и ночь, но теперь я не верю, что мы когда-нибудь сможем соединиться, — что-то слишком сильное тянет нас прочь друг от друга».

Так! Её обман раскрыт. Но Джон — она чувствовала — простил ей обман. Если сердце её сжималось и подкашивались колени, то причиной тому были слова Джона, касавшиеся его матери.

Первым побуждением было ответить, вторым — не отвечать. Эти два побуждения возникали вновь и вновь в течение последующих дней, по мере того как в ней росло отчаяние. Недаром она была дочерью своего отца. Цепкое упорство, которое некогда выковало и погубило Сомса, составляло и у Флёр костяк её натуры — принаряженное и расшитое французской грацией и живостью. Глагол «иметь» Флёр всегда инстинктивно спрягала с местоимением «я». Однако она скрыла все признаки своего отчаяния и с напускной беззаботностью отдавалась тем развлечениям, какие могла доставить река в дождливые и ветреные июльские дни; и никогда ни один молодой баронет так не пренебрегал издательским делом, как её верная тень — Майкл Монт.

Для Сомса Флёр была загадкой. Его почти обманывала её беспечная весёлость. Почти — так как он всё-таки замечал, что глаза её часто глядят неподвижно в пространство и что поздно ночью из окна её спальни падает на траву отсвет лампы. О чём размышляла она в предрассветные часы, когда ей следовало спать? Он не смел спросить, что у неё на уме; а после того короткого разговора в бильярдной она ничего ему не говорила.

В эту-то пору замалчивания и случилось, что Уинифрида пригласила их к себе на завтрак, предлагая после завтрака пойти на «презабавную маленькую комедию — „Оперу нищих“, и попросила их прихватить с собою кого-нибудь четвёртого. Сомс, державшийся в отношении театров вполне определённого правила — не смотреть ничего, принял приглашение, так как Флёр держалась обратного правила — смотреть все. Они поехали в город на автомобиле, взяв с собою Майкла Монта, который был на седьмом небе от счастья, так что Уинифрида нашла его „очень забавным“. „Опера нищих“⁷⁴ привела Сомса в недоумение. Персонажи все очень неприятные, вещь в целом крайне цинична. Уинифрида была «заинтригована»... костюмами. И музыка тоже пришлась ей по вкусу. Накануне она слишком рано пришла в «Оперу» посмотреть балет и застала на сцене певцов, которые битый час бледнели и багровели от страха, как бы по непростительной небрежности не изобразить мелодию. Майкл Монт был в восторге от всей постановки. И все трое гадали, что о ней думала Флёр. Но Флёр о ней не думала. Её навязчивая идея стояла у рампы и пела дуэт с Полли Пичем,⁷⁵ кривлялась с Филчем, танцевала с Дженни Дайвер, становилась в позы с Люси Локит, целовалась, напевала, обнималась с Мэкхитом. Губы Флёр улыбались, руки аплодировали, но старинный комический шедевр затронул её не больше, чем если бы он был сентиментально слезлив, как современное «Обозрение». Когда они снова уселись в машину и

⁷⁴ «Опера нищих» — комическая опера английского поэта и драматурга Джона Гея (1685—1732).

⁷⁵ Полли Пичем, Филч, Дженни Дайвер, Люси Локит, Мэкхит — персонажи «Оперы нищих».

поехали домой, ей было больно, что рядом с ней не сидит вместо Майкла Монта Джон. Когда на крутом повороте плечо молодого человека, словно случайно, коснулось её плеча, она подумала только: «Если б это было плечо Джона!» Когда его весёлый голос, приглушённый её близостью, болтал что-то, пробиваясь сквозь шум мотора, она улыбалась и отвечала, думая про себя: «Если б это был голос Джона!» И раз, когда он сказал: «Флёр, вы прямо ангел небесный в этом платье! ..», она ответила: „Правда? Оно вам нравится?“ — а сама подумала: «Если б Джон видел меня в этом платье!»

Во время этой поездки созрело её решение. Она отправится в Робин-Хилл и повидается с ним наедине; возьмёт машину, не предупредив ни словом ни Джона, ни своего отца. Прошло десять дней с его письма, больше она не может ждать. «В понедельник поеду!» Принятое решение сделало её благосклонней к Майклу Монтю. Когда есть, чего ждать впереди, можно терпеливо слушать и давать ответы. Пусть остаётся обедать; делает очередное предложение; пусть танцует с нею, пожимает ей руку, вздыхает — пусть делает что угодно. Он докучен только, когда отвлекает её от навязчивой идеи. Ей даже было жаль его, насколько она могла сейчас жалеть когонибудь, кроме себя. За обедом он, кажется, ещё более дико, чем всегда, говорил о «крушении твердынь — Она не очень-то прислушивалась, зато отец её как будто слушал внимательно, с улыбкой, означавшей несогласие или даже возмущение.

— Младшее поколение думает не так, как вы, сэр? правда, Флёр?

Флёр пожалала плечами: младшее поколение — это Джон, а ей неизвестно, что он думает.

— Молодые люди будут думать так же, как и я, когда достигнут моего возраста, мистер Монт. Человеческая природа не меняется.

— Допускаю, сэр; но формы мышления меняются вместе с временем. Преследование личного интереса есть отживающая форма мышления.

— В самом деле? Заботиться о своей пользе — это не форма мышления, мистер Монт, это инстинкт.

Да, если дело идёт о Джоне!

— Но что понимать под «своей пользой», сэр? В этом весь вопрос. Общая польза скоро станет личным делом! каждого. Не правда ли. Флёр?

Флёр только улыбнулась.

— Если нет, — добавил юный Монт, — опять будет литься кровь.

— Люди рассуждают так с незапамятных времён.

— Но ведь вы согласитесь, сэр, что инстинкт собственности отмирает? — Я сказал бы, что он усиливается у тех, кто не имеет собственности.

— Но вот, например, я! Я наследник майората. И я его не жажду. По мне хоть завтра отменяйте майорат.

— Вы не женаты, и сами не понимаете, что говорите.

Флёр заметила, что молодой человек жалобно перевёл на неё глаза.

— Вы в самом деле думаете, что брак... — начал он.

— Общество строится на браке, — уронил со стиснутых губ её отец, — на браке и его последствиях. Вы хотели бы с этим покончить?

Молодой Монт растерянно развёл руками. Задумчивое молчание нависло над обеденным столом, сверкавшим ложками с форсайтским гербом (натурального цвета фазан) в электрическом свете, струившемся из алебастрового шара. А за окном, над рекою, сгущался вечер, напоённый тяжёлой сыростью и сладкими запахами.

«В понедельник, — думала Флёр, — в понедельник».

VI. ОТЧАЯНИЕ

Печальные и пустые недели наступили после смерти отца для ныне единственного Джозииона Форсайта. Неизбежные формальности и церемонии чтение завещания, оценка

имущества, раздел наследства — выполнялись без участия несовершеннолетнего наследника. Тело Джолиона было кремировано. Согласно желанию покойного, никто не присутствовал на его похоронах, никто не носил по нем траура. Его наследство, контролируемое в некоторой степени завещанием старого Джолиона, оставляло за его вдовой владение Робин-Хиллом и пожизненную ренту в две с половиной тысячи фунтов в год. В остальном оба завещания, действуя параллельно, сложными путями обеспечивали каждому из троих детей Джолиона равную долю в имуществе их деда и отца как на будущее, так и в настоящем; но только Джон, по привилегии сильного пола, с достижением совершеннолетия получал право свободно распоряжаться своим капиталом, тогда как Джун и Холли получали только тень от своих капиталов в виде процентов, дабы самые эти капиталы могли перейти к их детям. В случае, если детей у них не будет, все переходило к Джону, буде он переживет сестер; так как Джун было уже пятьдесят лет, а Холли под сорок, в юридическом мире полагали, что, если бы не свирепость подоходного налога, юный Джон стал бы ко времени своей смерти так же богат, как был его дед. Все это ничего не значило для Джона и мало значило для его матери. Все, что нужно было тому, кто оставил свои дела в полном порядке, сделала Джун. Когда она уехала и снова мать и сын остались вдвоем в большом доме, наедине со смертью, сближавшей их, и с любовью, их разъединявшей, дни мучительно потянулись для Джона; он втайне был разочарован в себе, чувствовал к самому себе отвращение. Мать смотрела на него с терпеливой грустью, в которой сквозила, однако, какая-то бессознательная гордость — словно отказ подсудимой от защиты. Когда же мать улыбалась, Джон был зол, что его ответная улыбка получалась скупой и натянутой. Он не осуждал свою мать и не судил ее: то все было так далеко ему и в голову не приходило ее судить. Нет! Но скупой и натянутой его улыбка была потому, что из-за матери он должен был отказаться от желанного. Большим облегчением для него была забота о посмертной славе отца, забота, которую нельзя было спокойно доверить Джун, хоть она и предлагала взять ее целиком на себя. И Джон и его мать чувствовали, что если Джун заберет с собою папки отца, его невыставленные рисунки и незаконченные работы, их встретит такой ледяной прием со стороны Пола Поста и других завсегдатаев ее ателье, что даже в теплом сердце дочери вымерзнет всякая к ним любовь. В своей старомодной манере и в своем роде работы Джолиона были хороши; его сыну и вдове больно было бы отдать их на посмеяние. Устроить специальную выставку его работ — вот минимальная дань, которую они должны были воздать тому, кого любили, и в приготовлениях к выставке они провели вместе много часов. Джон чувствовал, как странно возрастает его уважение к отцу. Этюды и наброски раскрывали спокойное упорство, с каким художник развил свое скромное дарование в нечто подлинно индивидуальное. Работ было очень много, по ним легко было проследить неуклонный рост художника, сказавшийся в углублении видения, в расширении охвата. Конечно, очень больших глубин или высот Джолион не достиг, но поставленные перед собою задачи он разрешал до конца — продуманно, законченно, добросовестно. И, вспоминая, как его отец был всегда «беспристрастен», не склонен к самоутверждению, вспоминая, с каким ироническим смирением он говорил о своих исканиях, причем неизменно называл себя «дилетантом», Джон невольно приходил к сознанию, что никогда не понимал как следует своего отца. Принимать себя всерьез, но никогда не навязывать этого подхода другим было, по-видимому, его руководящим принципом. И это находило в Джоне отклик, заставляло его всем сердцем соглашаться с замечанием матери: «Он был истинно культурный человек; что бы он ни делал, он не мог не думать о других. А когда принимал решение, которое заставляло его идти против других, он это делал не слишком вызывающе, не в духе современности; правда, два раза в своей жизни он вынужден был пойти один против всех, и все-таки не ожесточился». Джон видел, что слезы побежали по ее лицу, которое она тотчас от него отвернула. Она несла свою утрату очень спокойно; ему даже казалось иногда, что она ее не очень глубоко чувствует. Но теперь, глядя на мать, он понимал, насколько уступал он в сдержанности и умении соблюдать своё достоинство им обоим: и отцу и матери. И, тихо к ней подойдя, он обнял её за талию. Она поцеловала его

торопливо, но с какой-то страстностью, и вышла из комнаты.

Студия, где они разбирали папки и наклеивали ярлычки, была некогда классной комнатой Холли; здесь она девочкой занималась своими шелковичными червями, гербарием, музыкой и прочими предметами обучения. Теперь, в конце июля, хоть окна выходили на север и на восток, тёплый дремотный воздух струился в комнату сквозь выцветшие сиреневые холщовые занавески. Чтобы несколько смягчить холод умершей славы — славы сжатого золотого поля, всегда витающей над комнатой, которую оставил хозяин, Ирэн поставила на замазанный красками стол вазу с розами. Розы да любимая кошка Джолиона, всё льнувшая к покинутому жилью, были отрадным пятном в разворошённой и печальной рабочей комнате. Стоя у северного окна и вдыхая воздух, таинственно напоённый тёплым запахом клубники, Джон услышал шум подъезжающего автомобиля. Опять, верно, поверенные насчёт какой-нибудь ерунды! Почему этот запах вызывает такую боль? И откуда он идёт — с этой стороны около дома нет клубничных грядок. Машинально достал он из кармана мятый лист бумаги и записал несколько отрывочных слов. В груди его разливалось тепло; он потёр ладони. Скоро на листке появились строки.

Когда б я песню мог сложить,
Чтоб сердце песней исцелить!
Ту песню смастерил бы я
Из милых маленьких вещей:
Шуршит крыло, журчит ручей,
Цветок осыпался в траве.
Роса дробится в мураве,
На солнышке мурлычет кот,
В кустах малиновка поёт,
И ветер, стебли шевеля,
Доносит тонкий звон шмеля...
И будет песня та легка,
Как луч, как трепет мотылька;
Проснётся — я открою дверь:
Лети и пой теперь!

Стоя у окна, он ещё бормотал про себя стихи, когда услышал, что его позвали по имени, и, обернувшись, увидел Флёр. Перед этим неожиданным видением он онемел и замер в неподвижности, между тем как её живой и ясный взгляд овладевал его сердцем. Потом он сделал несколько шагов навстречу ей, остановился у стола, сказал:

— Как хорошо, что ты приехала! — и увидел, что она зажмурилась, как если бы он швырнул в неё камнем.

— Я спросила, дома ли ты, — сказала она, — и мне предложили пройти сюда наверх. Но я могу и уйти.

Джон схватился за край измазанного красками стола, Её лицо и фигура в платье с оборками запечатлевались на его зрачках с такой фотографической чёткостью, что, провались он сквозь пол, он продолжал бы видеть её.

— Я знаю, я тебе солгала, Джон; но я сделала это из любви.

— Да, да! Это ничего!

— Я не ответила на твоё письмо. К чему? Ответить было нечего. Я решила вместо того повидаться с тобой.

Она протянула ему обе руки, и Джон схватил их через стол. Он пробовал что-нибудь сказать, но все его внимание ушло на то, чтобы не сделать больно её рукам. Такими жёсткими казались собственные руки, а её — такими мягкими. Она сказала почти вызывающе:

— Эта старая история — она действительно так ужасна?

— Да.

В его голосе тоже прозвучал вызов.

Флёр отняла у него руки.

— Не думала я, что в наши дни молодые люди цепляются за мамшины юбки.

Джон вздёрнул подбородок, словно его ударили хлыстом.

— О! Я нечаянно! Я этого не думаю! Я сказала что-то ужасное! — она быстро подбежала к нему. — Джон, дорогой, я этого совсем не думаю.

— Неважно.

Она положила обе руки на его плечо и лбом припала к ним, поля её шляпы касались его щей, и он чувствовал, как они подрагивают. Но какое-то оцепенение сковало его. Она оторвалась от его плеча и отодвинулась.

— Хорошо, если я тебе не нужна, я уйду. Но я никогда не думала, что ты от меня отступишься.

— Нет, я не отступился от тебя! — воскликнул Джон, внезапно возвращённый к жизни. — Я не могу. Я попробую ещё раз.

Глаза у неё засверкали, она рванулась к нему.

— Джон, я люблю тебя! Не отвергай меня! Если ты меня отвергнешь, я не знаю, что я сделаю! Я в таком отчаянии. Что всё это значит — все прошлое — перед этим?

Она прильнула к нему. Он целовал её глаза, щеки, губы. Но, целуя, видел исписанные листы, рассыпавшиеся по полу его спальни, белое мёртвое лицо отца, мать на коленях перед креслом. Шёпот Флёр: «Заставь её! Обещай мне! О, Джон, попробуй!» — детским лепетом звучал в его ушах. Он чувствовал себя до странности старым.

— Обещаю! — проговорил он. — Только ты... ты не понимаешь.

— Она хочет испортить нам жизнь, а все потому, что...

— Да, почему?

Опять в его голосе прозвучал вызов, и Флёр не ответила. Её руки крепче обвили вокруг него, и он отвечал на её поцелуи. Но даже в тот миг, когда он сдавался, в нём работал яд — яд отцовского письма. Флёр не знает, не понимает, она неверно судит о его матери; она явилась из враждебного лагеря! Такая прелестная, и он её так любит, но даже в её объятиях вспоминались ему слова Холли: «Она из породы стяжателей» и слова матери: «Дорогой мой мальчик, не думай обо мне, думай о себе!»

Когда она исчезла, как страстный сон, оставив свой образ в его глазах, свои поцелуи на его губах и острую боль в его сердце, Джон склонился в открытое окно, прислушиваясь к шуму уносившего её автомобиля. Всё ещё чувствовался тёплый запах клубники, доносились лёгкие звуки лета, из которых должна была сложиться его песня; всё ещё дышало обещание юности и счастья в широких трепетных крыльях июля — и сердце его разрывалось. Желание в нём не умерло, и надежда не сдалась, но стоит пристыженная, потупив глаза. Горькая предстоит ему задача! Флёр а отчаянии, а он? В отчаянии глядит он, как качаются тополя, как плывут мимо облака, как солнечный свет играет на траве.

Он ждал. Наступил вечер, отобедали почти что молча, мать играла ему на рояле, а он всё ждал, чувствуя, что она знает, каких он ждёт от неё слов. Она его поцеловала и пошла наверх, а он всё медлил, наблюдая лунный свет, и ночных бабочек, и эту нереальность тонов, что, подкравшись, по-своему расцвечивают летнюю ночь. Он отдал бы все, чтобы вернуться назад в прошлое — всего лишь на три месяца назад; или перенестись в будущее, на много лет вперёд. Настоящее с тёмной жестокостью выбора казалось невыносимым. Насколько острее, чем раньше, понял он теперь, что чувствовала его мать; как будто рассказанная в письме отца повесть была ядовитым зародышем, развившимся в лихорадку вражды, так что он действительно чувствовал, что есть два лагеря: лагерь его и его матери, лагерь Флёр и её отца. Пусть мертва та старая трагедия собственничества и распри, но мёртвые вещи хранят в себе яд, пока время их не разрушит. Даже любви его как будто коснулась порча: в ней стало меньше иллюзий, больше земного и затаилось предательское подозрение, что и Флёр, как её отец, хочет, может быть, владеть; то не была чёткая мысль, нет, только трусливый призрак,

отвратительный и недостойный; он подползал к пламени его воспоминаний, и от его дыхания тускнела живая прелесть этого зачарованного лица и стана; только подозрение, недостаточно реальное, чтобы убедить его в своём присутствии, но достаточно реальное, чтобы подорвать абсолютную веру, а для Джона, которому ещё не исполнилось двадцати лет, абсолютная вера была важна. Он ещё горел присущей молодости жаждой давать обеими руками и не брать ничего взамен, давать с любовью подруге, полной, как и он, непосредственной щедрости. Она, конечно, благородна и щедра! Джон встал с подоконника и зашагал по большой и серой, призрачной комнате, стены которой обиты были серебристой тканью.

Этот дом, сказал отец в своём предсмертном письме, построен был для его матери, чтобы она жила в нём с отцом Флёр! Он протянул руку в полумрак, словно затем, чтобы схватить призрачную руку умершего. Стискивал пальцы, стараясь ощутить в них тонкие исчезнувшие пальцы своего отца; пожать их и заверить его, что сын... что сын на его стороне. Слезы, не получая выхода, жгли и сушили глаза. Он вернулся к окну. За окном было теплее, не так жутко, не так неприятно, и висел золотой месяц, три дня как на ущербе; ночь в своей свободе давала чувство покоя. Если б только они с Флёр встретились на необитаемом острове, без прошлого, и домом стала бы для них природа! Джон ещё питал глубокое уважение к необитаемым островам, где растёт хлебное дерево и вода синее над кораллами. Ночь была глубока, свободна, она манила; в ней были чары, и обещание, и прибежище от всякой путаницы, и любовь! Молокосос, цепляющийся за юбку матери! Щеки его горели. Он притворил окно, задвинул шторы, выключил свет в канделябре и пошёл наверх.

Дверь его комнаты была раскрыта, свет включён; мать его, все ещё в вечернем платье, стояла у окна. Она обернулась и сказала:

— Садись, Джон, поговорим.

Она села на стул у окна, Джон — на кровать. Её профиль был обращён к нему, и красота и грация её фигуры, изящная линия лба, носа, шеи, странная и как бы далёкая утончённость её тронули Джона. Никогда его мать не принадлежала к окружающей её среде. Она входила в эту среду откуда-то извне. Что скажет она ему, у которого так много на сердце невысказанного?

— Я знаю, что Флёр приезжала сегодня. Я не удивлена.

Это прозвучало так, как если бы она добавила: «Она дочь своего отца!» — и сердце Джона ожесточилось. Ирэн продолжала спокойно:

— Папино письмо у меня. Я его тогда собрала и спрятала. Вернуть его тебе, милый?

Джон покачал головой.

— Я, конечно, прочла его перед тем, как он дал его тебе. Он сильно преуменьшил мою вину.

— Мама! — сорвалось с губ Джона.

— Он излагает это очень мягко, но я знаю, что, выходя за отца Флёр без любви, я совершила страшный поступок. Несчастный брак может исковеркать и чужие жизни, не только нашу. Ты очень молод, мой мальчик, и ты слишком привязчив. Как ты думаешь, мог бы ты быть счастлив с этой девушкой?

Глядя в тёмные глаза, теперь ещё больше потемневшие от боли, Джон ответил:

— Да, о да! Если б ты могла.

Ирэн улыбнулась.

— Восхищение красотой и жажда обладания не есть ещё любовь. Что, если с тобой повторится то же, что было со мною, Джон: когда задушено все самое сокровенное; телом вместе, а душою врозь!

— Но почему же, мама? Ты думаешь, что она такая же, как её отец, но она на него непохожа. Я его видел.

Опять появилась улыбка на губах Ирэн, и у Джона дрогнуло что-то в груди; столько чувствовалось иронии и опыта за этой улыбкой.

— Ты даёшь, Джон; она берет.

Опять это недостойное подозрение, эта неуверенность, крадущаяся за тобой по пятам! Он горячо сказал:

— Нет, она не такая. Не такая. Я... я только не могу причинить тебе горе, мама, теперь, когда отец...

Он прижал кулаки к вискам.

Ирэн встала.

— Я сказала тебе в ту ночь, дорогой: не думай обо мне.

Я сказала это искренно. Думай о себе и о своём счастье!

Дотерплю, что осталось дотерпеть, я сама навлекла это на себя.

— Мама! — опять сорвалось с губ Джона.

Она подошла к нему, положила руки на его ладони.

— Голова не болит, дорогой?

Джон покачал головой: нет. То, что он чувствовал, происходило в груди, точно там две любви раздирали надвое какую-то ткань.

— Я буду всегда любить тебя по-прежнему, Джон, как бы ты ни поступил. Ты ничего не утратишь.

Она мягко провела рукой по его волосам и вышла.

Он слышал, как хлопнула дверь; упав ничком на кровать, он лежал, затаив дыхание, переполненный страшным, напряжённым до предела чувством.

VII. МИССИЯ

Спросив за чаем о Флёр, Сомс узнал, что её с двух часов нет дома уехала куда-то на машине. Целых три часа! Куда она поехала? В Лондон, не сказав ни слова отцу? Никогда не мог он до конца примириться с автомобилями. Он принимал их в принципе, как прирождённый эмпирик или как Форсайт, встречая каждый новый признак прогресса неизменным: «Что же! Без этого теперь не обойтись», — но на деле он считал их слишком быстрыми, большими и вонючими. Вынужденный, по настоянию Аннет, завести машину, комфортабельный ролхард, с жемчужносерой обивкой, с электрическими лампочками, с небольшими зеркалами, пепельницами, вазами для цветов (всё это отдавало бензином и духами), он, однако, смотрел на неё так, так смотрел, бывало, на своего зятя Монтегью Дарти. Машина воплощала для него всё, что было в современной жизни быстрого, ненадёжного и скрыто-маслянистого. В то время как современная жизнь делалась быстрее, распушенной и моложе, Сомс делался старте, медлительней и собраннее, ту же думал, меньше говорил, как раньше его отец Джемс. Он почти сознавал это сам. Темпы и прогресс все меньше и меньше нравились ему. И потом, ездить в автомобиле — значит выставлять напоказ своё богатство, а это Сомс считал небезопасным при нынешнем настроении рабочих. Был у него однажды случай, когда его шофёр Симз переехал единственное достояние какого-то рабочего. Сомс не забыл, как вёл себя хозяин, — хоть очень немногие на его месте стали бы задерживаться по таким пустякам. Ему было жаль собаку, и он был готов принять её сторону против автомобиля, если бы грубиян хозяин не держался так нагло. Пятый час быстро истекал, а Флёр не возвращалась, и все чувства в отношении автомобиля, которые Сомс когда-либо пережил прямо или косвенно, смешались у него в груди, под ложечкой сосало. В семь он позвонил через междугородную сестре. Нет! На Грин-стрит Флёр не заезжала. Так где же она? Сомса начали преследовать видения страшных катастроф: его любимая дочь лежит под колёсами, её красивое платье с оборками все в крови и дорожной пыли. Он прошёл в её комнату, тайком осмотрел её вещи. Она ничего не взяла — ни чемодана, ни драгоценностей. Это успокоило некоторые его подозрения, но усилило страх перед несчастным случаем. Как ужасно вот такое беспомощное ожидание, когда пропадает у тебя любимое существо, в особенности если ты при этом не выносишь суеты и огласки! Что делать, если она не вернётся к ночи?

В четверть восьмого он услышал шум автомобиля. Точно большая тяжесть свалилась с

сердца, он поспешил вниз, Флёр вышла из машины — бледная, усталая на вид, но целая и невредимая. Он её встретил в холле.

— Ты заставила меня тревожиться. Где ты была?

— В Робин-Хилле. Извини, дорогой. Пришлось поехать. Я расскажу потом.

И, наградив его мимолётным поцелуем, она убежала к себе.

Сомс ждал в гостиной. Ездил в Робин-Хилл! Что это предвещает?

За обедом нельзя было поднять эту тему — приходилось считаться с щепетильностью лакея. Нервное волнение, пережитое Сомсом, и радость, что дочь жива и здорова, отнимали у него силы осудить её за то, что она сделала, или воспротивиться тому, что она собиралась делать дальше; в расслабленном онемении ждал он её признаний. Страшная штука жизнь! Вот он дожил до шестидесяти пяти лет, сорок лет провёл в том, что строил здание своей обеспеченности, а все так же не властен управлять ходом вещей всегда вынырнет что-нибудь, с чем нельзя мириться! В кармане его смокинга лежит письмо от Аннет. Собирается через две недели домой. Он совершенно не знает, что она там делала. И рад, что не знает. Её отсутствие было для него облегчением. С глаз долой — из мыслей вон! А теперь она возвращается. Не было хлопот! И Кром старший упущен — попал в лапы к Думетриусу, а ведь только потому, что он из-за анонимного письма забыл о Болдерби и о картине. Украдкой подметил он напряжённое выражение на лице дочери, точно и она воззрилась на картину, которую не может купить. Сомс почти жалел, что кончилась война. Во время войны волнения как-то не так волновали. По ласковому голосу, по выражению её лица Сомс знал, что дочь чего-то хочет от него, но не знал наверное, умно ли будет дать. Он отодвинул от себя нетронутую тарелку с сыром и даже закурил за компанию с Флёр папироску.

После обеда Флёр завела электрическую пианолу. Самые мрачные предчувствия обступили Сомса, когда дочь села на мягкую скамеечку у его ног и взяла его за руку.

— Дорогой, не сердись на меня. Я должна была повидаться с Джоном — он мне писал. Он попытается воздействовать на свою мать. Но я всё обдумала. Это, в сущности, в твоих руках, папа. Если бы ты мог убедить её, что наш брак ни в каком смысле не означал бы возобновления прошлого! Что я останусь твоею дочкой, а Джон её сыном; что ты не стремишься встречаться ни с ним, ни с нею, и ей не нужно будет встречаться ни с тобой, ни со мной! Ты один можешь её убедить, дорогой, потому что обещать это можешь только ты. Нельзя же обещать за другого. Ведь тебе не будет слишком уж неловко увидеться с нею один только раз — теперь, когда отец Джона умер?

— Слишком неловко? — повторил Сомс. — Это просто невыносимо!

— Знаешь, — сказала Флёр, не подымая глаз, — на самом деле ты непрочь увидеться с нею!

Сомс молчал. Её слова выразили чересчур глубокую правду, которую он не допускал до своего сознания. Флёр переплела его пальцы своими; горячие, тонкие, страстные, вцепились они в его руку. Она его дочь, она процарапает себе дорогу сквозь кирпичную стену.

— Что же мне делать, если ты не согласишься, папа? — сказала она очень мягко.

— Для твоего счастья я сделал бы все, — сказал Сомс, — но это не даст тебе счастья.

— О, ты не знаешь! Даст!

— Только все разбередить! — сказал он угрюмо.

— Все и так разбередили. Теперь надо всё уладить. Заставить её понять, что дело идёт только о наших жизнях, что это не касается ни её жизни, ни твоей. Ты можешь, папа, я знаю, что можешь.

— Ты в таком случае знаешь очень много, — последовал угрюмый ответ.

— Если ты нам поможешь, мы с Джоном подождём год, два года, если хочешь.

— Мне кажется, — тихо сказал Сомс, — с моими чувствами ты не считаешься нисколько.

Флёр прижала его руку к своей щеке.

— Считаюсь, дорогой. Но ведь ты не захочешь, чтобы я была до крайности несчастна.

Как она ластится, чтобы достичь своей цели! Сомс всеми силами старался поверить до конца, что она в самом деле думает о нём, и не мог, не мог. Все её помыслы лишь о том мальчишке! Зачем же должен он помогать ей добиться этого мальчишка, который убивает её любовь к отцу? Зачем? По законам Форсайтов это нелепость! На этом ничего не выиграешь, ничего! Уступить её этому мальчику! Передать во враждебный лагерь, под влияние женщины, которая так глубоко оскорбила его! Постепенно и неизбежно он лишится цветка своей жизни! И вдруг он почувствовал влагу на руке. Сердце его болезненно дрогнуло. Флёр плачет — этого он не может перенести. Он быстро положил вторую руку на руку дочери, но и по второй руке потекла слеза. Так дальше нельзя!

— Хорошо, хорошо, — сказал он. — Я подумаю и сделаю, что смогу. Успокойся.

Если это нужно для её счастья, значит нужно. Он не может отказать ей в помощи. И чтобы она не начала благодарить, он встал с кресла и направился к пианоле — слишком шумно играет! Пока он подходил, пластинка кончилась и остановилась с тихим шипением. Вспомнился музыкальный ящик дней его детства: «Мелодия кузницы», «Заздравный кубок», — Сомс всегда чувствовал себя несчастным, когда мать по воскресеньям заводила среди дня музыку. И вот опять то же самое, та же штука, только больше, дороже, и теперь она играет: «Дикие, дикие женщины!» и «Праздник полисмена», а на Сомсе уже нет чёрного бархатного костюмчика с небесно-голубым воротником. «Профон прав, — промелькнула мысль, — ничего во всём этом нет. Мы идём к могиле!» Изрекши мысленно это поразительное замечание, он вышел.

В этот вечер он больше не видел Флёр. Но наутро за завтраком её глаза неотступно следили за ним с призывом, от которого он не мог укрыться, да и не старался. Да! Он решился на эту пытку для нервов. Он поедет в РобинХилл — дом, с которым, связано столько воспоминаний. Приятное воспоминание — последнее! Когда он приехал, чтобы угрозой развода разлучить Ирэн с отцом этого мальчишка! Часто потом приходило ему на ум, что своим вмешательством он только скрепил их союз. А теперь он собирается скрепить союз своей дочери с их сыном. «Не знаю, — думал он, — за какие прегрешения навалились на меня такие напасти!» В Лондон и из Лондона он ехал поездом, а от станции пошёл в гору пешком по длинной просёлочной дороге, почти не изменившейся, насколько он помнил, за эти тридцать лет. Странно — в такой близости от города! Повидимому, не все торопятся сбывать свою землю с рук! Это рассуждение успокаивало Сомса, когда он шёл между высокими изгородями, медленно, чтобы не вспотеть, хотя день был прохладный. Что ни говори, а всё-таки в земле есть что-то реальное, её не сдвинешь с места. Земля и хорошие картины! Цены могут немного колебаться, но в общем всегда идут вверх — такой собственности стоит держаться в мире, где так много нереального, дешёвой стройки, изменчивых мод, где всё заражено настроением: «Сегодня живы, завтра нас не станет». Французы, пожалуй, правы с их крестьянским землевладением, хоть он и невысоко ставит все французское. Свой кусок земли! В этом есть что-то здоровое. Часто приходится слышать, как собственниковкрестьян называют «тупой и косной массой»; а молодой Монт назвал как-то своего отца «косным читателем „Морнинг пост“ — непочтительный юнец! Не так уж это плохо — быть косным и читать „Морнинг пост“; бывает и похуже. Взять хотя бы Профона и всю его породу; или этих новоявленных лейбористов, этих политиканствующих горлодёров и „диких, диких женщин!“ Много есть очень скверного! И вдруг Сомс почувствовал слабость, озноб и дрожь в коленях. Просто нервное волнение перед встречей! Как сказала бы тётя Джули, цитируя „Гордого Доссета“, нервы куролесят. В просветы между деревьями был уже виден дом; за его постройкой он сам когда-то наблюдал, располагая жить в нём вдвоём с этой женщиной, которая странной прихотью судьбы в конце концов стала жить в нём с другим. Сомс начал думать о Думетриусе, о внутреннем займе и о других возможностях помещения капитала. Не может же он встретиться с Ирэн, когда его нервы совсем расстроены, он, который представляет для неё день страшного суда на земле, как и в небесах; он, олицетворение законной собственности, и она, воплощение преступной красоты! Его достоинство требует от него бесстрастия в исполнении своей миссии —

соединить нерушимыми узами их детей, которые, если б эта женщина вела себя как подобает, были бы братом и сестрой. Ах, опять эта злосчастная мелодия. „Дикие, дикие женщины!“ вертится в голове точно назло, потому что мелодии, как правило, в голове у него не вертятся. Пройдя мимо тополей перед фасадом дома, он подумал: „Как они выросли; ведь это я посадил их!“

Горничная открыла дверь на звонок.

— Доложите — мистер Форсайт, по очень важному делу.

Если Ирэн поймёт, кто пришёл, весьма возможно, что она откажется его принять. «Чёрт возьми, — подумал он, ожесточаясь по мере приближения часа борьбы. — Нелепая затея! Всё шиворот-навыворот!»

Горничная вернулась.

— Не изложит ли джентльмен своё дело?

— Скажите, что оно касается мистера Джона, — ответил Сомс.

Снова остался он один в холле перед бассейном белосерого мрамора, задуманным её первым любовником. Ох!

Она дурная: она любила двух мужчин, а его не любила!

Он не должен этого забывать, когда встретится с ней ещё раз лицом к лицу. И вдруг он увидел её в просвет между тяжёлыми лиловыми портьерами, застывшую, словно в раздумье: та же величественная осанка, та же совершенство линий, та же удивлённая серьёзность в тёмных глазах, та же спокойная самозащита в голосе:

— Войдите, пожалуйста!

Он вошёл. Как тогда на выставке, как в той кондитерской, она показалась ему всё ещё красивой. И в первый раз, самый первый со дня их свадьбы, состоявшейся тридцать шесть лет назад, он заговорил с Ирэн, не имея законного права назвать её своею. Она не была в трауре — все, верно, радикальные выдумки его двоюродного братца.

— Извините, что осмелился к вам прийти, — сказал он угрюмо, — но это дело надо так или иначе решить.

— Вы, может быть, присядете?

— Нет, благодарю вас.

Досада на своё ложное положение, на невыносимую церемонность между ними овладела Сомсом, и слова посыпались сбивчиво:

— Какая-то адская, злая судьба! Я не поощрял, я всеми силами старался пресечь. Моя дочь, я считаю, сошла с ума, но я привык ей потакать, вот почему я здесь. Вы, я уверен, любите вашего сына.

— Безгранично.

— И что же?

— Решение зависит от Джона.

У Сомса было чувство, точно его осадили и поставили перед ним барьер. Всегда, всегда она умела поставить барьер перед ним — даже тогда, в первые дни после свадьбы.

— Прямо какое-то сумасбродство, — сказал он.

— Да.

— Если бы вы... Ну, словом... Они могли бы быть...

Он не договорил своей фразы: «братом и сестрою, и мы были бы избавлены от этого несчастья», но увидел, что она содрогнулась, как если бы он договорил, и, уязвлённый, отошёл через всю комнату к окну. С этой стороны деревья ничуть не выросли — не могли, были слишком стары!

— В отношении меня, — продолжал он, — вы можете быть спокойны. Я не стремлюсь видеться ни с вами, ни с вашим сыном в случае, если этот брак осуществится. В наши дни молодые люди — их не поймёшь. Но я не могу видеть мою дочь несчастной. Что мне сказать ей, когда я вернусь домой?

— Передайте ей, пожалуйста, то, что я сказала вам: всё зависит от Джона.

— Вы не противитесь?

— Всем сердцем, но молча.

Сомс стоял, кусая палец.

— Я помню один вечер... — сказал он вдруг. И замолчал. Что было... что было в этой женщине такого, что не могло уложиться в четырех стенах его ненависти и осуждения? — Где он, ваш сын?

— Вероятно, наверху, в студии отца.

— Вы, может быть, вызовете его сюда?

Он следил, как она нажала кнопку звонка, как вошла горничная.

— Скажите, пожалуйста, мистеру Джону, что я его зову.

— Если решение зависит от него, — заторопился Сомс, когда горничная удалилась, — можно, вероятно, считать, что этот противоестественный брак состоится; в таком случае будут неизбежны кое-какие формальности. С кем прикажете мне вести переговоры — с конторой Хэринга?

Ирэн кивнула.

— Вы не собираетесь жить с ними вместе?

Ирэн покачала головой.

— Что будет с этим домом?

— Как решит Джон.

— Этот дом... — сказал неожиданно Сомс. — Я связывал с ним надежды, когда задумал построить его. Если в нём будут жить они, их дети! Говорят, есть такое божество — Немезида. Вы верите в него?

— Да.

— О! Верите?

Он отошёл от окна и встал близ неё, у её большого рояля, в изгибе которого она стояла, как в бухте.

— Я навряд ли увижу вас ещё раз, — медленно заговорил он. — Пожмём друг другу руки... — губы его дрожали, слова вырывались толчками. — И пусть прошлое умрёт.

Он протянул руку. Бледное лицо Ирэн стало ещё бледнее, тёмные глаза недвижно остановились на его глазах, руки, сложенные на груди, не шевельнулись. Сомс услышал шаги и обернулся. У полураздвинутой портьеры стоял Джон. Странен был его вид. В нём едва можно было узнать того мальчика, которого Сомс видел на выставке в галерее на Корк-стрит; он очень повзрослел, ничего юного в нём не осталось: изнурённое, застывшее лицо, взъерошенные волосы, глубоко ввалившиеся глаза. Сомс сделал над собою усилие и сказал, скривив губы не то в улыбку, не то в гримасу:

— Ну, молодой человек! Я здесь ради моей дочери; дело, как видно, зависит от вас. Ваша мать передаёт все в ваши руки.

Джон пристально глядел матери в лицо и не давал ответа.

— Ради моей дочери я заставил себя прийти сюда, — сказал Сомс. — Что мне сказать ей, когда я к ней вернусь?

По-прежнему глядя на мать, Джон сказал спокойно:

— Скажите, пожалуйста. Флёр, что ничего не выйдет; я должен исполнить предсмертную волю моего отца.

— Джон!

— Ничего, мама!

В недоумении Симе переводил взгляд с одного на другую; потом взял с кресла шляпу и зонтик, направился к выходу. Мальчик посторонился, давая ему дорогу. Сомс вышел. Было слышно, как скрипели кольца задвигаемой за ним портьеры. Этот звук расковал что-то в его груди.

«Ну так!» — подумал он и захлопнул парадную дверь.

VIII. НЕЛЕПАЯ МЕЛОДИЯ

Когда Сомс вышел из дома в Робин-Хилле, сквозь пасмурную пелену холодного дня пробилось дымным сиянием предвечернее солнце. Уделяя так много внимания пейзажной живописи, Сомс был не наблюдателем к эффектам живой природы. Тем сильнее поразило его это хмурое сияние: оно будто откликнулось печалью и торжеством на его собственные чувства. Победа в поражении! Его миссия ни к чему не привела. Но он избавился от тех людей, он вернул свою дочь ценой её счастья. Что скажет Флёр? Поверит ли она, что он сделал всё, что мог? И вот под этим заревом, охватившим вязы, орешник, и придорожный остролист, и невозделанные поля, Сомсу стало страшно. Флёр будет совершенно подавлена. Надо бить на её гордость. Мальчишка отверг её, взял сторону женщины, которая некогда отвергла её отца! Сомс сжал кулаки. Отвергла его, а почему? Чем он нехорош? И снова он почувствовал то смущение, которое гнетёт человека, пытающегося взглянуть на себя глазами другого; так иногда собака, наткнувшись случайно на своё отражение в зеркале, останавливается с любопытством и с опаской перед неосязаемым существом.

Не торопясь попасть домой, Сомс пообедал в городе, в «Клубе знатоков». Старательно разрезая грушу, он вдруг подумал, что если бы он не ездил в Робин-Хилл, то мальчик, может быть, решил бы иначе. Вспомнилось ему лицо Джона в ту минуту, когда Ирэн не приняла его протянутой руки. Странная, дикая мысль! Неужели Флёр сама себе напортила, поспешив закрепить за собой Джона?

Он подъезжал к своему дому около половины десятого. Когда его машина мягко покатила по аллее сада, он услышал трескучее брюзжанье мотоцикла, удалявшегося по другой аллее. Монт, конечно. Значит, Флёр не скучала. Но всё же с нелёгким сердцем вошёл он в дом. Она сидела в кремовой гостиной, поставив локти на колени и подбородок на кисти стиснутых рук, перед кустом белой камелии, заслонявшей камин. Одного взгляда на дочь, ещё не заметившую его, было довольно, чтобы страх с новой силой охватил Сомса. Что видела она в этих белых цветах?

— Ну как, папа?

Сомс покачал головой. Язык не повиновался ему. Как приступить к этой работе палача? Глаза девушки расширились, губы задрожали.

— Что, что? Папа, скорей!

— Дорогая, — сказал Сомс, — я... сделал всё, что мог, Но... И он опять покачал головой.

Флёр подбежала к нему и положила руки ему на плечи.

— Она?

— Нет, — проговорил Сомс. — Он! Мне поручено передать тебе, что ничего не выйдет; он должен исполнить предсмертную волю своего отца.

Он обнял дочь за талию.

— Брось, дитя моё! Не принимай от них обиды. Они не стоят твоего мизинца.

Флёр вырвалась из его рук.

— Ты не старался... конечно, не старался. Ты... Папа, ты предал меня!

Тяжко оскорблённый, Сомс глядел на дочь. Каждый изгиб её тела дышал страстью.

— Ты не старался — нет! Я поступила как дура. Нет.

Не верю... он не мог бы... он никогда не мог бы... Ведь он ещё вчера... О! Зачем я тебя попросила!

— В самом деле, — сказал спокойно Сомс, — зачем? Я подавил свои чувства; я сделал для тебя всё, что мог, поступившись своим мнением. И вот моя награда! Спокойной ночи!

Каждый нерв в его теле был до крайности натянут, он направился к дверям.

Флёр кинулась за ним.

— Он отверг меня? Это ты хочешь сказать? Папа!

Сомс повернулся к дочери и заставил себя ответить:

— Да.

— О! — воскликнула Флёр. — Что же ты сделал, что мог ты сделать в те старые дни?

Глубокое возмущение этой поистине чудовищной несправедливостью сжало Сомсу

горло. Что он сделал? Что они сделали ему! И, совершенно не сознавая, сколько достоинства вложил в своей жест, он прижал руку к груди и смотрел дочери в лицо.

— Какой стыд! — воскликнула Флёр.

Сомс вышел. В ледяном спокойствии он медленно поднялся в картинную галерею и там прохаживался среди своих сокровищ. Возмутительно! Просто возмутительно! Девчонка слишком избалована! Да, а кто её избаловал? Он остановился перед копией Гойи. Своевольница, привыкла, чтобы ей во всём потакали. Цветок его жизни! А теперь она не может получить желанного! Он подошёл к окну освежиться. Закат угасал, месяц золотым диском поднимался за тополями. Что это за звук? Как? Пианола! Какая-то нелепая мелодия, с вывертами, с переборами! Зачем Флёр её завела? Неужели ей может доставить утешение такая музыка? Его глаза уловили какое-то движение в саду перед верандой, где на молодые акации и трельяж из ползучих роз падал лунный свет. Она шагает там взад и вперёд, взад и вперёд. Сердце его болезненно сжалось. Что сделает она после такого удара? Как может он сказать? Что он знает о ней? Он так любил её всю жизнь, берёт её как зеницу ока! Он не знает, ровно ничего о ней не знает! Вот она ходит там в саду — под эту нелепую мелодию, а за деревьями в лунном свете мерцает река!

«Надо выйти», — подумал Сомс.

Он поспешно спустился в гостиную, освещённую, как и полчаса назад, когда он уходил. Пианола упрямо выводила свой глупый вальс, или фокстрот, и — и как его там теперь называют? Сомс прошёл на веранду.

Откуда ему наблюдать за дочерью так, чтобы она не могла его видеть? Он пробрался фруктовым садом к пристани. Теперь он был между Флёр и рекою, и у него отлегло от сердца. Флёр — его дочь и дочь Аннет, ничего безрассудного она не сделает; но всё-таки — как знать! Из окна плавучего домика ему видна была последняя акация и край платья, взвивавшегося, когда Флёр поворачивала назад в неустанной ходьбе. Мелодия, наконец, замолкла — слава богу! Сомс подошёл к другому оконцу и стал смотреть на воду, тихо протекавшую мимо кувшинок. У стеблей она шла пузырьками, которые сверкали, попадая в полосу света. Вспомнилось вдруг то раннее утро когда он проснулся в этом домике, где провёл ночь после смерти своего отца и только что родилась Флёр — почти девятнадцать лет назад! Даже сейчас он ясно помнил странное чувство, охватившее его тогда при пробуждении, — точно он вступает в новый, непривычный мир. В тот день началась вторая страсть его жизни — к этой девочке, которая бродит сейчас там, под акациями. Каким утешением стала она для него! Чувство горечи и обиды прошло без следа» Что угодно, лишь бы снова сделать её счастливой! Пролетела мимо сова, угрюмо ухая; шарахнулась летучая мышь; свет месяца ярче и смелее ширился над рекой. Сколько времени она ещё будет ходить так взад и вперёд? Он вернулся к первому оконцу и вдруг увидел, что дочь спускается к берегу. Она остановилась совсем близко, на мостках пристани. Сомс наблюдал, крепко стиснув руки. Заговорить с нею? Нервы его были натянуты до крайности. Эта застывшая девичья фигура, молодость, ушедшая в отчаяние, в тоску, в самое себя! Он всегда будет помнить её такую, как она стоит сейчас в свете месяца; будет помнить лёгкий, приторный запах реки и трепет ракидовых листьев. У неё есть все на свете, что только может доставить ей отец, кроме одного, чего она не может получить из-за отца! Злое упрямство фактов причиняло Сомсу в этот час обидную боль, точно застрявшая в горле рыба кость.

Потом с бесконечным облегчением он увидел, что Флёр повернула обратно к дому. Что он даст ей в возмещение утраты? Жемчуга, путешествия, лошадей, других мужчин — все, чего она ни пожелает, лишь бы он мог забыть эту девичью фигуру, застывшую над рекой! Что такое? Опять она завела этот мотив? Но это же мания! Сбивчивая, тренькающая музыка слабо доносилась из дому. Как будто Флёр говорит: «Если не будет ничего, что заставило бы меня ходить, я застыну и умру!» Сомс смутно понимал. Хорошо, если ей это помогает, пусть пианола тренькает хоть до утра! И, тихо прокравшись назад фруктовым садом, он поднялся на веранду. Хотя он это сделал с намерением войти в гостиную и поговорить на этот раз с дочерью, однако он всё ещё колебался, не зная, что сказать, и тщетно старался вспомнить,

что чувствуешь, встречая препятствие в любви! Он должен был бы знать, должен был бы вспомнить — и не мог! Подлинное воспоминание умерло; он только помнил, что было мучительно больно. И он стоял без мыслей и отирал носовым платком ладони и губы, до странности сухие. Если вытянуть шею, он мог видеть Флёр; она стояла спиной к пианолу, все ещё игравшей свой назойливый мотив; крепко скрестила руки на груди и зажала в зубах зажжённую папиросу, дым от которой заволакивал её лицо. Лицо это показалось ему чужим: глаза сверкали, устремлённые вдаль, и каждая черта дышала какой-то горькой насмешкой и гневом. Раза два Сомс подмечал подобное выражение у Аннет. Лицо слишком живое, слишком откровенное; сейчас это не было лицо его дочери. И он не посмел войти, сознавая, что всякая попытка утешения будет бесполезна. Вместо этого он сел на веранде в тени трельяжа.

Чудовищную шутку сыграла с ним судьба! Немезида!

Тот давнишний несчастный брак! А за что в конце концов, за что? Когда он так отчаянно желал Ирэн и она согласилась стать его женой, разве мог он знать, что она никогда не полюбит его? Мелодия затихла, возобновилась и снова затихла, а Сомс всё ещё сидел в своём углу, ожидая, сам не зная чего. Окурок папиросы Флёр, пролетев из окна, упал на траву у веранды. Сомс наблюдал, как дотлевал в траве огонёк. Месяц выплыл на волю из-за тополей и захватил сад в свою призрачную власть. Безотрадный свет, загадочный, далёкий, подобный красоте той женщины, которая никогда его не любила, одел немезии и левкой в неземные уборы. Цветы! А Флёр, его цветок, так несчастна! Ах, почему нельзя положить счастье в сейф, запереть его золотым ключом, застраховать от понижения?

Свет уже не падал больше из окна гостиной. Кругом было тихо и темно. Флёр ушла вверх? Сомс поднялся и, встав на цыпочки, заглянул в комнату. Да, по-видимому, так! Он вошёл. Веранда мешала лунным лучам проникать в комнату. Сперва он ничего не мог различить, кроме силуэтов мебели, казавшихся чернее самой черноты. Ощупью направился он к дальнему окну, чтобы закрыть его; зацепился ногой за стул; кто-то вскрикнул. Вот она, свернулась клубочком, вдавилась в угол дивана! Сомс поднял дрожащую руку. Нужны ли ей его утешения? Он стоял, глядя на этот клубок из помятых оборок и волос, на эту прелестную юность, старающуюся процарапать себе путь сквозь стену печали. Как оставить её здесь? Наконец он провёл рукой по её волосам и сказал:

— Ступай, дорогая, ложись ты лучше спать. Я как-нибудь это тебе улажу.

Бессмысленные слова, но что он мог сказать ей?

IX. ПОД СТАРЫМ ДУБОМ

Когда посетитель удалился, Джон и его мать стояли безмолвно, пока сын не сказал наконец:

— Надо было бы его проводить.

Но Сомс уже уходил по подъездной аллее, и Джон, не решаясь вернуться в гостиную, прошёл наверх в студию отца.

Выражение лица его матери, когда она стояла лицом к лицу с человеком, которому была когда-то женой, укрепило решение, назревавшее с того самого часа, как она ушла от него накануне, — укрепило заключительным прикосновением реальности. Жениться на Флёр означало бы дать матери пощёчину, предать умершего отца! Ничего не выйдет! Джон был крайне незлобив. В этот час отчаяния он не роптал на своих родителей. Он обладал редкой для его возраста способностью видеть вещи в их соразмерности. И Флёр, и даже его матери хуже, чем ему. Отвергнутому тяжелее, чем отвергающему, и вдвойне тяжело сознавать, что ради тебя любимому существу приходится идти на жертвы. Нет, он не должен, не станет роптать! Он стоял и смотрел на поздно проглянувшее солнце, и снова вставало перед ним видение, смущавшее его минувшей ночью: море на море, страна на страну, миллионы против миллионов людей, и у каждого собственная жизнь, стремления, радости, горести и страдания, и каждый должен приносить жертвы, и каждый борется в одиночку за своё

существование. И хотя он охотно отдал бы все на свете ради одного, чего он не мог получить, глупо было бы не понимать, как мало значат его чувства в этом огромном мире, и показать себя плаксой или негодяем. Он рисовал себе людей, лишённых всего, — миллионы пожертвовавших жизнью на войне, миллионы разорённых, которым война оставила только жизнь и больше ничего; голодных детей, о которых читал, миллионы калек и миллионы несчастных на все лады. Но мысль о них не очень ему помогала. Если нечего есть, разве утешит сознание, что и другие остались без обеда? Более привлекательна мысль об отъезде в этот широкий мир, о котором он ещё ничего не знает. Он не может остаться здесь, в тихом убежище, где все так спокойно и гладко, и ничего не делать — только думать и мечтать о том, что могло бы быть. И не может он вернуться в Уонсдон, к воспоминаниям о Флёр. Если он опять её увидит, он не отвечает за себя; а если он останется здесь или вернётся в Уонсдон, он непременно будет встречаться с нею. Это неизбежно, пока они так близко друг от друга. Единственное, что ему остаётся, — это уехать прочь как можно скорее. Но, как ни любил он свою мать, он не хотел бы ехать с нею. Потом, обругав себя скотиной, он собрался с духом предложить матери поездку в Италию. Два часа в этой унылой комнате силился он овладеть собою, потом торжественно оделся к обеду.

Мать тоже сошла в столовую. Они почти не ели и беседовали о каталоге картин отца. Выставка предполагалась в октябре, и, кроме некоторых формальностей, всё было готово.

После обеда Ирэн накинула пальто, и они вышли в сад. Немного походили, немного поговорили, потом остановились молча под дубом. Следуя соображению: «Если я выдам хоть что-нибудь, я выдам все», Джон взял её под руку и сказал, словно невзначай:

— Мама, поедem в Италию.

Ирэн прижала локтем его руку и ответила в тон:

— Да, было бы очень приятно; я уже думала об этом; но, мне кажется, ты больше увидишь и большего достигнешь, если поедешь без меня.

— Но тогда тебе придётся остаться одной.

— Я прожила как-то одна более двенадцати лет. К тому же мне хочется быть здесь, когда откроется выставка.

Джон крепче сжал её руку; он не был обманут.

— Ты не можешь оставаться здесь совсем одна — дом такой большой.

— Не здесь, в Лондоне, А после открытия выставки я поеду, может быть, в Париж. Тебе нужен по меньшей мере год, Джон, ты должен увидеть свет.

— Да, хорошо было бы послоняться по свету. Но я не хочу оставлять тебя одну.

— Дорогой мой, я и так перед тобой в долгу. Если для тебя это хорошо, то хорошо и для меня. Почему бы тебе не поехать завтра же? Паспорт у тебя есть.

— Да; если ехать, то лучше сразу. Только, мама, если... если я захочу поселиться где-нибудь в Америке или где-нибудь ещё, ты не откажешься приехать ко мне со временем?

— Куда и когда бы ты ни вызвал меня, дорогой. Только не зови, пока ты в самом деле не захочешь видеть меня.

Джон глубоко вздохнул.

— Душно мне в Англии.

Ещё несколько минут постояли они под дубом, глядя вдаль, туда, где виднелись одетые вечерней мглой трибуны Эпсомского ипподрома. Ветви не пропускали света месяца, так что он падал только всюду вокруг — на поля и дали и на окна увитого зеленью дома, который скоро будет сдан в наём.

Х. СВАДЬБА ФЛЁР

Октябрьские газеты, описывая венчание Флёр Форсайт и Майкла Монта, едва ли сумели передать символический смысл этого события. Брачный союз правнучки «Гордого Доссета» с наследником девятого баронета был явным и очевидным знамением того смешения классов, которым поддерживается политическая устойчивость всякого

государства. Наступило время, когда Форсайты могли отказаться от своей естественной антипатии к «мишуре», не подобавшей им по рождению, и принять её как вдвойне естественную дань их собственническим инстинктам. К тому же им следовало подняться по общественной лестнице, чтобы освободить место всем тем, кто пришёл к богатству несравненно позже. В этой спокойней и столь изящной церемонии, происходившей на Ганновер-сквер, а затем среди «забавной» обстановки на Грин-стрит, невозможно было непосвящённому отличить армию Форсайтов от боевого отряда Монтов — так далеко позади остался «Гордый Досеет». Разве складкой на брюках, усами, произношением, блеском цилиндра Сомс хоть сколько-нибудь отличался от самого девятого барснета? Разве не была Флёр столь же сдержанна, быстра, красива и непокорна, как самая породистая кобылица из стана Маскхемов, Монтов или Чаруэлов? Одеждой, внешностью и манерами Форсайты, пожалуй, могли даже дать противнику очко вперёд. Они принадлежали уже к «высшему классу», и отныне, когда деньги их соединились с землёй, их имя будет по всей форме внесено в родословные призовых скакунов. Произошло ли это с опозданием и сия награда собственническому инстинкту вместе с деньгами и землёй не должна ли была вскоре попасть в переплавку, оставалось пока что вопросом настолько спорным, что его ещё не ставили на обсуждение. В конце концов Тимоти сказал, что консоли идут в гору. Тимоти, последнее, недостающее звено; Тимоти, лежащий на смертном одре в доме на Бэйсуотер-Род, как сообщила Фрэнси. Передавали также шёпотом, будто молодой Монт вроде как социалист, что с его стороны совсем не глупо: своего рода страховка по нынешним временам. Смущаться тут нечем. Землевладельческий класс время от времени позволяет себе эдакие милые дурачества, направленные в безопасное русло и не идущие дальше теории. Как заметил Джордж своей сестре Фрэнси: «Заведут щенят — и он утихомирится!»

Церковь с белыми цветами и чем-то синим в середине восточного окна производила впечатление чрезвычайного целомудрия; она как будто всем своим видом старалась смягчить несколько рискованную фразеологию службы, словно бы стремящуюся задержать помыслы присутствующих на щенятах. Форсайты, Хэймены, Туитимены расположились на левом крыле; Монты, Чаруэлы, Маскхемы — на правом, в то время как подруги Флёр по школе и товарищи Монта по окопам позевывали и тут и там, без различия флангов, а три почтенные старые девы, заглянувшие в церковь по пути из магазина Скайурда, вкупе с двумя домочадцами Монта и старой няней Флёр, защищали тыл. В общем церковь была настолько полна, насколько можно требовать при современном неупорядоченном положении дел в стране.

Миссис Вэл Дарти, сидя в третьем ряду, не раз в продолжение спектакля пожимала руку своему мужу. Для неё, знавшей всю подоплёку этой трагикомедии, самый драматический её момент был почти мучителен. «Хотела бы я знать, — думала она, — чувствует ли Джон там, в Британской Колумбии, что происходит здесь сейчас?» В то утро она получила от брата письмо, которое заставило её улыбнуться и сказать:

— Джон поехал в Британскую Колумбию, Вэл, потому что его тянуло в Калифорнию. Он боится, что в Калифорнии слишком хорошо.

— Ага! — сказал Вэл. — Значит, к нему вернулось чувство юмора.

— Он купил землю и вызвал к себе мать.

— Что ей там делать?

— Ей ничего не надо, кроме Джона. Ты всё ещё считаешь это счастливой развязкой?

Лукавые глаза Вэла сузились в две серые щёлочки между чёрными ресницами.

— Флёр ему не пара. Она не так воспитана.

— Бедная маленькая Флёр! — вздохнула Колли.

И в самом деле, разве не странная это свадьба? К этому молодому человеку, Майклу Монту, Флёр прибилась, конечно, рикошетом, когда была в отчаянии от того, что затонул её корабль. Такой прыжок в холодную воду, несомненно, «крайняя мера», как выразился бы Вэл. Но трудно было о чем-нибудь судить по фате и спине невесты, и глаза Холли перешли к обозрению общей картины этого христианского венчания. Сама она вышла замуж по любви

и удачно, а потому мысль о несчастных браках приводила её в содрогание. Замужество Флёр могло и не стать несчастным, но это чистая потеря. Освящать же вот так потерю искусственно-елейным обрядом перед толпою фешенебельных вольнодумцев — ведь «расфрантившись», как сейчас, если кто и думает, то только фривольно, — представлялось Холли самым близким подобием греха, какое мыслимо в наш век, отменивший это понятие. С преподобного Чаруэла (Форсайты ещё не подарили миру ни одного прелата) взгляд Холли перешёл на Вэла, который сидел рядом с нею и думал (она не сомневалась) о мэйфлайской кобыле в связи с очередными скачками. Взгляд скользнул дальше и уловил профиль девятого баронета, согнувшегося в каком-то суррогате коленапоклонения; Холли заметила складочку над коленями, где он подтянул брюки, и подумала: «А Вэл свои забыл подтянуть!» Перевела глаза на скамью второго ряда, где взволнованно колыхались пышные формы Уинифрида, и дальше — на Сомса и Аннет, стоявших рядом на коленях. Лёгкая улыбка пробежала по её губам: Проспер Профон, вернувшийся из плавания к Полинезийским островам Ламанша, тоже, наверно, стоит на коленях где-нибудь позади них. Да, странное «маленькое дельце», как бы ни обернулось оно в дальнейшем; однако оно происходит в подобающей церкви и завтра будет описано в подобающих газетах.

Запели псалом. Холли слышала, как девятый баронет на другом крыле пел о мидийском воинстве. Её мизинец прикоснулся к большому пальцу Вэла — у них был один молитвенник на двоих, — и лёгкая дрожь пробежала по её телу, как бывало двадцать лет назад. Вэл наклонился и шепнул:

— А помнишь крысу?

Крысу на их свадьбе в Капштадте, чистившую усики за столом регистратора! Холли до боли зажала большой палец Вэла между своим мизинцем и безымянным.

Пение кончилось, начал свою речь прелат. Он говорил о том, в какое опасное время мы живём и какие превратные суждения высказывает палата лордов по вопросу о разводе. «Мы все солдаты, — сказал он, — сидящие в окопах под ядовитыми газами „князя тьмы“, и мы должны держаться мужественно. Цель брака — дети, а не просто греховное счастье».

Бесёнок заплясал в глазах Холли: ресницы Вэла смежились; ни в коем случае нельзя допустить, чтобы он захрапел. Большим и указательным пальцами она всё больше щипала его за ляжку, пока он не заёрзал на скамье.

Проповедь кончилась, опасность миновала. Уже расписывались в ризнице; все облегчённо вздохнули.

Голос позади произнёс:

— Выдержит она дистанцию?

— Кто это? — спросила шёпотом Холли.

— Старый Джордж Форсайт!

Соблюдая чинность, Холли скосила глаза на человека, о котором столько слышала. Недавно возвратившись из Южной Африки, она почти не знала своих родичей и всегда глядела на них с детским любопытством. Джордж Форсайт был очень грузный и очень элегантный; под его взглядом её охватывало странное чувство, точно на ней нет платья.

— Пошли лошадки! — опять услышала она его голос.

Новобрачные медленно сходили со ступеней алтаря. Холли глянула сперва в лицо молодому Монту. Губы его и уши подёргивались; глаза, скользившие от кончика его ботинок к бледным пальчикам на чёрном его рукаве, вдруг уставились вперёд, в пространство, словно он видел перед собой неприятеля. У Холли создалось впечатление, что он духовно пьян. А Флёр? Тут совсем иное. Девушка в совершенстве владела собой и была красивей, чем когда-либо, в белом платье, в белой фате на тёмно-каштановых волосах, падавших чёлкой на лоб; веки её скромно нависли над тёмно-кариими глазами. Телом она присутствовала здесь. Но где блуждала её душа? Проходя, Флёр подняла веки — и беспокойный блеск белков запечатлелся в глазах Холли, как трепет крыльев посаженной в клетку птицы.

На Грин-стрит Уинифрида, несколько менее спокойная, чем обычно, принимала гостей.

Просьба Сомса о предоставлении её дома для празднества застигла её в глубоко психологический момент. Под влиянием одного замечания, обронённого Профоном, она начала заменять свои амбир экспрессионистской обстановкой. У Миларда продавались очень забавные вещи с лиловыми, зелёными и оранжевыми квадратами и клиньями. Ещё месяц — и замена была бы завершена. А теперь завербованные ею чрезвычайно «занимательные» новобранцы не слишком подходили к старой гвардии — как если б одна половина её полка была одета в хаки, а другая — в красные мундиры и медвежьи шапки. Но она успешно проявляла своё миротворческое дарование в этом салоне, не подозревая, как совершенно он отображал революционизированный империализм её страны. В конце концов в этот день смешения двух начал чем больше мешанины, тем лучше! Уинифрид снисходительно обводила взглядом толпу гостей. Сомс вцепился руками в спинку старинного стула; молодой Монт зашёл за этот «страшно забавный» экран, которого ей никто ещё не сумел объяснить. Девятый баронет, в ужасе отпрянув от круглого пунцового стола, выложенного под стеклом крыльшками синих австралийских бабочек, держится поближе к шкафчику в стиле Людовика XV; Фрэнси Форсайт схватилась руками за новую доску камина, на эбеновом фоне которой тонко вырезаны лиловые химеры; Джордж, облокотившись на старые клавикорды, держит в руке голубую книжицу, словно собираясь предложить кому-нибудь пари; Проспер Профон вертит ручку открытой двери, чёрной с ярко-синей филёнкой; а рядом Аннет обхватила руками свою собственную талию; двое Маскхемов засели на балконе среди пальм, точно им дурно; леди Монт, худая и решительная, наставив лорнет, воззрилась на красно-бело-оранжевый абажур центральной лампы с таким видом, точно перед ней разверзлась небесная твердь. В самом деле, каждый, по-видимому, за что-нибудь держался. Только Флёр, все ещё в венчальном уборе, стоит, ни на что не опираясь, и бросает налево и направо слова и взгляды.

В комнате гудит светский разговор. Никто никого не может расслышать; но это как будто и неважно, так как никто всё равно не стал бы дожидаться ответа. Разговор, решила Уинифрид, ведётся теперь совсем по-иному, чем в дни её весны, когда в моде была протяжно-певучая манера. Но всё-таки он «забавен», а это, конечно, главное. Даже Форсайты разговаривают чрезвычайно быстро — Флёр и Кристофер, Имоджин и младший отпрыск молодого Николаев, Патрик; Сомс, конечно, молчит; зато Джордж у клавикордов то и дело отпускает замечания, и Фрэнси тоже — у камина. Уинифрид подплыла к девятому баронету. Около него, казалось, можно будет отдохнуть; нос у него тонкий и немного нависает над губой, кончики седых усов тоже опущены книзу; она певуче протянула сквозь улыбку:

— Очень мило получилось, не правда ли?

Его улыбка выстрелила ответом, точно хлебным шариком:

— Вы помните, у Фрезера⁷⁶ какое-то племя зарывает новобрачных по пояс в землю?

Так же быстро говорит, как все остальные! У него живые тёмные глаза с сетью морщинок вокруг, как у католического священника. Уинифрид почувствовала вдруг, что может услышать от него неприятные вещи.

— Свадьбы всегда так забавны, — пробормотала она и двинулась дальше, к Сомсу.

Он застыл на месте, и Уинифрид сразу поняла причину его неподвижности. Направо от него Джордж Форсайт, налево — Аннет с Проспером Профоном. Если Сомс пошевелится, он увидит либо эту пару, либо её отражение в насмешливых глазах Джорджа Форсайта. Он совершенно прав, предпочитая ничего не замечать.

— Говорят, Тимоти умирает, — сказал он мрачно.

— Где ты его похоронишь. Сомс?

— В Хайгете, — он сосчитал по пальцам. — Их там будет двенадцать, включая жён. Как ты находишь Флёр?

⁷⁶ Фрезер Джемс (1854—1941) — известный шотландский антрополог и знаток первобытной культуры и фольклора.

— Удивительно хороша!

Сомс кивнул головой. Никогда ещё дочь не казалась ему красивой, и, однако, он не мог отделаться от впечатления, что во всём этом было что-то неестественное, не мог изгнать из памяти девушку, забившуюся в угол дивана. С той ночи и по сей день он ничего нового от неё не услышал. Он знал от шофёра, что она пыталась произвести ещё одну атаку на Робин-Хилл и вернулась ни с чем: дом был пуст, она никого не застала. И было ему известно, что она получила письмо, но о содержанке его он знал лишь то, что оно заставило её прятаться и плакать. Он замечал, что она поглядывала на него украдкой, словно всё ещё хотела узнать, что в самом деле мог он сделать такого ужасного, что те так ненавидят его. Так и шло! Аннет вернулась домой и уныло проходило лето, когда однажды Флёр вдруг заявила, что выходит замуж за Монта. После этого заявления она стала несколько ласковей с отцом. И он уступил — что пользы было противиться? Бог свидетель, он никогда ни чем не хотел ей препятствовать! А молодой человек явно сходил по ней с ума. Конечно, ею двигало отчаяние, и она была молода, до нелепости молода. Но если б он стал возражать, кто знает, что бы она учинила? Вздумала бы, чего доброго, выбрать себе профессию, стала бы врачом или адвокатом — мало ли какая нашла бы на неё дурь! У Флёр не было способностей ни к рисованию, ни к поэзии, ни к музыке — единственные, по его мнению, законные занятия для незамужней женщины, если ей непременно нужно в наши дни что-нибудь делать. В общем спокойнее было выдать её замуж, потому что Сомс слишком хорошо замечал, какая лихорадка и беспокойство владеют ею дома. Аннет тоже относилась к проекту сочувственно, как видел Сомс сквозь завесу своего нежелания знать, каковы её собственные проекты, если они у неё есть. Аннет сказала: «Пусть её выходит замуж за этого молодого человека. Он славный мальчик, совсем не такой пустозвон, каким кажется». Откуда взялись у неё подобные выражения. Сомс не знал, но её согласие успокоило его сомнения. Жена его, как бы она себя ни вела, обладала трезвым взглядом на вещи и угнетающим избытком здравого смысла. Сомс перевёл на имя Флёр пятьдесят тысяч фунтов, приняв меры, чтобы они не перешли в чужие руки, если дело обернётся как-нибудь неладно. А может ли оно обернуться хорошо? Она не забыла того, другого, — Сомс это знал. На медовый месяц они собирались в Испанию. Флёр уедет и оставит отца в ещё худшем одиночестве. Но после она, может быть, забудет и вернётся к нему!

Голос Уинифрида вывел его из задумчивости.

— Как! Чудо из чудес — Джун!

В своём неизменном балахоне — и нелепо же она одевается! — с выбивающимися из-под ленты волосами, появилась двоюродная племянница Сомса, и Флёр, увидел он, подошла к ней поздороваться. Обе скрылись из виду в направлении лестницы.

— Право, — сказала Уинифрида, — она способна на самые невозможные поступки. Кто бы вообразил, что она придёт!

— Почему ты её пригласила? — буркнул Сомс.

— Потому что я была уверена, что она ни в коем случае не примет приглашения.

Уинифрида забыла, что за поведением человека лежит общий склад его характера; или, другими словами, она упустила из виду, что Флёр попала теперь в разряд «несчастненьких».

Получив приглашение, Джун сперва подумала: «И близко к ним не подойду ни за что на свете!» Но потом в одно прекрасное утро она проснулась от сна, в котором видела Флёр, в отчаянии махавшую ей рукой из лодки. И передумала.

Когда Флёр подошла и сказала: «Пойдёмте наверх, посидите со мной, пока я переоденусь», Джун вышла вслед за нею на лестницу. Девушка пошла вперёд, в бывшую комнату Имоджин, предоставленную ей для совершения туалета.

Джун присела на кровать, тонкая и прямая, похожая на маленький стареющий призрак. Флёр повернула ключ.

Девушка стояла перед нею, сняв венчальное платье. Какая она хорошенькая!

— Вы, верно, считаете меня дурой, — сказала она, и губы у неё задрожали. — Ведь это

должен был бы быть Джон. Но что же делать? Майкл любит меня, а мне всё равно. Это хоть вырвет меня из нашего дома.

Засунув руку в кружева на груди, она извлекла письмо.

— Вот что написал мне Джон.

Джун прочла: «Озеро Оканаген, Британская Колумбия. Я не вернусь в Англию. Никогда тебя не забуду. Джон».

— Вы видите, она его надёжно упрятала, — сказала Флёр.

Джун вернула письмо.

— Вы несправедливы к Ирэн; она всё время говорила Джону, что он может поступить как захочет.

Флёр горько улыбнулась.

— Скажите, не испортила ли она также и вашу жизнь?

Джун подняла глаза.

— Никто не властен испортить другому жизнь, дорогая. Вздор! Что бы ни случилось, мы не должны сгибаться.

С ужасом увидела она, что девушка упала на колени и зарылась лицом в её юбку. Приглушённые рыдания достигли слуха Джун.

— Не надо, детка, не надо, — бормотала она растерянно. — Всё будет хорошо.

Но острый подбородок девушки крепче и больней прижимался к её коленям, и страшен был звук её рыданий.

Ничего, ничего! Она должна через это пройти. Со временем ей станет легче. Джун гладила короткие волосы на этой изящной головке; и все её расплётное материнское чувство сосредоточилось в руке и через кончики пальцев передавалось девушке.

— Не сгибайтесь под ударом, дорогая, — сказала она наконец. — Мы не можем управлять жизнью, но можем бороться. Не падайте духом. Мне выпало то же. И я, как вы, не хотела забыть. Я тоже плакала. А посмотрите на меня!»

Флёр подняла голову; рыдание вдруг перешло в тихий сдавленный смех. Правда, призрак сидел перед ней жёлтый, худенький, но глаза у него были храбрые.

— Да! — сказала Флёр. — Извините меня. Я, вероятно, смогу его забыть, если помчусь быстро и далеко.

И, с усилием встав на ноги, она подошла к умывальнику.

Джун следила, как она смывает холодной водой следы волнения. Кроме лёгкою, вполне приличного румянца, ничего не осталось, когда она подошла к зеркалу. Джун встала с кровати и взяла в руку подушечку для булавок. Всадила две булавки не на место — вот все, чем сумела она выразить своё сочувствие.

— Поцелуйте меня, — сказала она, когда Флёр была готова, и ткнулась подбородком в тёплую щеку девушки.

— Я покурю, — сказала Флёр. — Не ждите меня.

Она осталась сидеть на кровати с папиросой в зубах, с полужакрытыми глазами, а Джун сошла вниз. В дверях гостиной стоял Сомс, словно тревожась, что дочь запаздывает. Джун тряхнула головой и, не останавливаясь, спустилась ещё на марш. Там стояла на площадке её двоюродная сестра Фрэнси.

— Смотри! — сказала Джун, подбородком указывая на Сомса. — Роковой человек!

— Что ты хочешь сказать? — спросила Фрэнси. — Почему роковой?

Джун не ответила.

— Не стану ждать, проводят и без меня, — сказала она. — До свидания!

— До свидания! — отозвалась Фрэнси, и в её серых кельтских глазах заиграла усмешка. Старая кровная вражда! Право, это не лишено романтики!

Склонившись в пролёт лестницы. Сомс увидел, что Джун уходит, и вздохнул с облегчением. Почему не идёт Флёр? Они опоздают на поезд. Поезд унесёт её прочь от него, но Сомс не мог думать без тревоги, что они на него не успеют. Вот она явилась наконец, сбегает по лестнице в коричневом платье и чёрной бархатной шапочке, проходит мимо отца

в гостиную. Он видит, как она целует мать, тётку, жену Вэла, Имоджин, и опять выходит, быстрая и прелестная, как всегда. Как обойдётся она с ним в эти последние минуты своего девичества? На многое он не надеялся!

Губы её прижались к середине его щеки.

— Папочка! — сказала она и умчалась.

«Папочка!» Много лет не называла она его так. Сомс вздохнул полной грудью и медленно начал спускаться. Придётся пройти через всю эту суматоху с конфетти и прочей ерундой. Но ему хочется уловить улыбку дочери, если она выглянет на прощание из машины, — впрочем, не надо, ещё угодят ей нечаянно туфлей в глаза. Голос молодого Монта пламенно зазвенел над его ухом:

— До свидания, сэр. Я вам бесконечно благодарен! И я так счастлив.

— До свидания, — ответил Сомс. — Не опоздайте на поезд.

Он стоял на третьей снизу ступеньке, откуда мог смотреть поверх голов — глупых шляп и голов. Вот уже сели в автомобиль; и началась кутерьма с конфетти, обсыпают рисом, бросают вслед туфлю. Какая-то волна поднялась в груди Сомса, и что-то — не поймёшь что — заволочло глаза.

XI. ПОСЛЕДНИЙ ИЗ СТАРЫХ ФОРСАЙТОВ

Когда пришли обряжать этот страшный символ, Тимоти Форсайта, — последнего из чистых индивидуалистов, единственного человека на земле, который не слышал про мировую войну, — все нашли, что он выглядит изумительно: даже смерть не подействовала на его здоровую натуру.

Для Смизер и кухарки обмывание покойника явилось окончательным доказательством того, что им всегда представлялось невозможным, — конца земного существования старой семьи Форсайтов. Бедный мистер Тимоти должен теперь взять арфу и петь в одном хоре с мисс Форсайт, миссис Джулией, мисс Эстер; в компании с мистером Джолионом, мистером Суизином, мистером Джемсом, мистером Роджером и мистером Николасом. Окажется ли там же миссис Хэймен, было сомнительно, если принять во внимание, что её тело было предано сожжению. Втайне кухарка думала, что мистеру Тимоти будет не по себе — он всегда восставал против шарманок: «Опять завыли под окном! Не было печали! Смизер, вы бы вышли и посмотрели, нельзя ли как-нибудь прекратить». В душе она готова была бы радоваться музыке, если б не знала, что сию минуту мистер Тимоти позвонит и скажет: «Вот, дайте ему полпенни и скажите, чтоб он ушёл». Часто им приходилось докладывать три пенса из своего кармана, чтоб шарманщик согласился удалиться. Тимоти всегда недооценивал стоимость эмоций. К счастью, в последние годы он принимал шарманку за синюю муху, что было очень удобно, так как давало кухарке и Смизер возможность наслаждаться музыкой. Но арфа! Кухарку брало раздумье. Да, новые настают времена! А мистер Тимоти никогда не любил перемен. Однако она не делилась своими сомнениями со Смизер, у которой были настолько своеобразные понятия о царствии небесном, что иногда она просто ставила вас в тупик.

Когда Тимоти обряжали, кухарка плакала, а потом он л. все вместе распили бутылку хереса, который с прошлого года приберегали к рождеству, но больше он уже не мог понадобиться. Ох, горе горькое! Она прожила здесь, сорок пять лет, а Смизер сорок три! И теперь они должны переселиться в крохотный домик в Тутинге, чтобы там доживать, век на сбережения и на те деньги, которые мисс Эстер оставила им по своей доброте. Поступить на новую службу после столь славного прошлого — нет, это немислимо! Но, право, они будут очень рады увидеть ещё разок мистера Сомса, и миссис Дарти, и мисс Фрэнси, и мисс Юфимию. И даже если им придётся самим нанять карету, они всё же почтут своим неременным долгом присутствовать на похоронах. Шесть лет мистер Тимоти был их младенцем, изо дня в день становясь всё моложе и моложе, пока не сделался слишком молод для жизни.

Установленные часы ожидания они посвятили чистке медной посуды и обметанию пыли, ловле последней оставшейся мыши и казни последнего таракана (чтобы все оставить в приличном виде!), и совместному обсуждению вопроса, что купить на аукционе: рабочую шкатулку мисс Энн; альбом морских трав мисс Джули (то есть миссис Джулии); экран для камина, который мисс Эстер расшила гарусом; и волосы мистера Тимоти — золотые завитки, наклеенные на картонку и вставленные в чёрную рамку. Ох! Непременно нужно это все приобрести — но только вещи ныне так вздорожали!

На Сомса легла обязанность разослать приглашения на похороны. Он составил их в своей конторе при содействии Грэдмена — приглашались только кровные родственники, без особого парада. Заказано шесть карет. Завещание будет прочтено после, на дому.

Он явился к одиннадцати посмотреть, всё ли приготовлено. Четверть часа спустя приехал старый Грэдмен в чёрных перчатках и с крепом на шляпе. Он и Сомс стояли, ожидая, в гостиной. В половине двенадцатого у подъезда выстроились вереницей кареты. Но больше никто не явился. Грэдмен сказал:

— Меня это удивляет, мистер Сомс. Я сам снёс на почту приглашения.

— Не знаю, право, — сказал Сомс, — он потерял связь с семьёй.

Сомс часто замечал в прежние времена, насколько больше родственных чувств проявлялось в его семье к умершим, нежели к живущим. А ныне то, как все они нахлынули на свадьбу Флёр и как держались в стороне от похорон Тимоти, указывало, по-видимому, на некую коренную перемену. Впрочем, тут могла сказаться и другая причина, ибо Сомс сознавал, что, не будь он знаком заранее с завещанием Тимоти, он и сам из деликатности не явился бы сюда. Тимоти оставил большое состояние, не имея прямого наследника. Никто не хочет дать повод к подозрениям, что он чего-то ждал от покойного.

В двенадцать часов вынесли гроб, и процессия двинулась. В первой карете везли под стеклянной крышкой Тимоти. Затем Сомс — один в карете. Далее Грэдмен — также один; наконец, Смизер и кухарка — вдвоём. Тронулись сперва шагом, но вскоре перешли по хорошей погоде на рысь. У входа на Хайгетское кладбище их задержала служба в часовне. Сомс предпочёл бы подождать на свежем воздухе; он не верил ни в единое слово службы; но с другой стороны, это было своего рода формой страхования, которой не следовало пренебрегать на случай, если всё-таки за гробом что-то есть.

Вошли попарно — он с Грэдменом, Смизер с кухаркой — в могильный склеп. Не такие подобали бы проводы последнему из старых Форсайтов.

На обратном пути к Бэйсуотер-Род Сомс не без некоторой сердечной теплоты пригласил Грэдмена в свою карету. Он приберегал сюрприз для старика, прослужившего Форсайтам пятьдесят четыре года, — сюрприз, которым тот был целиком обязан ему, Сомсу. Он ли не помнил, как на другой день после похорон тёти Эстер сказал старому Тимоти: «Как насчёт Грэдмена, дядя Тимоти? Он столько нёс хлопот для нашей семьи. Не отпишете ли вы ему пять тысяч?» — и как он удивился, когда Тимоти, который с таким трудом что-либо оставлял, — когда Тимоти утвердительно кивнул головой. Старик будет теперь на седьмом небе от счастья, потому что у миссис Грэдмен, как известно Сомсу, слабое сердце, а сын их лишился ноги на войне. Сомсу было чрезвычайно приятно преподнести ему пять тысяч фунтов из денег Тимоти. Они устелись в маленькой гостиной, где стены были, как видение рая, небесно-голубые с золотом, и рамы неестественно блестели, и на мебели не оставлено было ни единой пылинки, — чтобы вместе прочесть этот маленький шедевр, завещание Тимоти. Сидя спиной к свету в кресле тёти Эстер, Сомс поглядел на Грэдмена, сидевшего к свету лицом на диванчике тёти Энн, и, закинув ногу на ногу, начал:

«Сие есть моя, Тимоти Форсайта, проживающего на Бэйсуотер-Род в Лондоне, последняя воля и завещание. Я назначаю племянника моего Сомса Форсайта, проживающего в Мейплдерхеме, и Томаса Грэдмена, проживающего в доме номер 159 по Фолли-Род в Хайгете (далее именуемых моими душеприказчиками), быть исполнителями сего моего завещания и душеприказчиками по оному. Вышеназванному Сомсу Форсайту я оставляю сумму

в тысячу фунтов стерлингов, свободную от налога на наследство, и вышеназванному Томасу Грэдмену я оставляю сумму в пять тысяч фунтов стерлингов, свободную от налога на наследство».

Сомс остановился. Старый Грэдмен наклонился вперёд, судорожно вцепившись пухлыми руками в свои чёрные толстые колени; рот его так широко разверзся, что засверкали три золотые пломбы в зубах; глаза мигали, и две слезы медленно катились по щекам. Сомс поспешно стал читать дальше:

«Всё остальное моё имущество по прилагаемой к сему описи я поручаю моим душеприказчикам по доверию реализовать и вырученные суммы держать на хранении согласно следующим доверениям, а именно; уплатить из них все мои долги, погребальные расходы и все издержки, связанные с настоящим моим завещанием, а оставшееся после этого сохранять под опекой для того мужского пола прямого потомка моего отца Джолиона Форсайта от его брака с Энн Пирс, который — по кончине всех без различия пола прямых потомков вышеназванного моего отца и от его вышеназванного брака, какие будут в живых ко времени моей смерти, — последним достигнет возраста двадцати одного года, причём я выражаю желание, чтобы моё имущество охранялось до крайних пределов, допускаемых законами Англии, в пользу такого мужского пола потомка, как указано выше».

Сомс прочитал засим подписи и заверения и, кончив, поглядел на Грэдмена. Старик утирал лоб большим носовым платком, яркий цвет которого внезапно придал всей процедуре праздничный оттенок.

— Подумать только, мистер Сомс! — воскликнул он, и было ясно, что адвокат в нём совершенно заслонил человека. — Подумать! Сейчас у нас налицо двое грудных младенцев и несколько малолетних детей; если один из них доживёт до восьмидесяти лет — не такая уж глубокая старость — да прибавить к этому двадцать один год, получается сто лет; а состояние мистера Тимоти надо оценить не менее как в сто пятьдесят тысяч фунтов чистоганом. Сложные проценты при пяти годовых удваивают первоначальную сумму в четырнадцать лет. Через четырнадцать лет у нас получится триста тысяч; шестьсот тысяч через двадцать восемь лет; миллион двести тысяч через сорок два года; два миллиона четыреста через пятьдесят шесть лет; четыре миллиона восемьсот через семьдесят лет; девять миллионов шестьсот тысяч через восемьдесят четыре года. Ого, через сто лет получится двадцать миллионов! И мы до этого не доживём! Это, я понимаю, завещание!

Сомс сухо сказал:

— Мало ли что может случиться. Значительную часть может забрать государство; в наши дни всего можно ждать.

— ...И пять в уме, — сказал про себя Грэдмен. — Я забыл, мистер Тимоти поместил все в консоли; учитывая подходящий налог, мы должны считать не более двух процентов. Скажем для верности — восемь миллионов. Тоже неплохие денежки!

Сомс встал и вручил ему завещание.

— Вы едете в Сити. Позаботьтесь об этом и сделайте всё, что нужно. Поместите объявление и тому подобное; впрочем, долгов никаких нет. Когда аукцион?

— На той неделе во вторник, — сказал Грэдмен. — Переждать, пока умрут те, кто жив сейчас, да прибавить ещё двадцать один год — это выйдет очень нескоро. Но я рад, что он оставил свои деньги в семье...

Аукцион, устроенный, ввиду викторианского стиля мебели, не у Джобсона, собрал гораздо больше публики, чем похороны, хотя кухарка и Смизер не пришли, так как Сомс вызвался сам доставить им желанное. Присутствовали Унифрид, Юфимия и Фрэнси, прикатил Юстас в собственном автомобиле. Миниатюры, барбизонцев и рисунки Дж. Р, заранее купил Сомс; реликвии, не имеющие рыночной ценности, были вынесены в боковую комнату для членов семьи, на случай, если кто пожелает взять что-нибудь на память.

Остальное пошло с молотка; торги обличались почти трагической вялостью. Ни один предмет обстановки, ни одна картина, ни одна фарфоровая статуэтка не отвечали современному вкусу. Колибри осыпались, как осенние листья, как только их вынули из шкафа, где они красовались шестьдесят лет. Сомсу больно было видеть, как стулья, на которых сидели его тётки, рояль, на котором они почти никогда не играли, книги, корешки которых они разглядывали, фарфор, с которого они стирали пыль, портьеры, которые они раздвигали, коврик, который грел им ноги, а главное, кровати, в которых они спали и умерли, — переходили в руки мелких торговцев и хозяев из Фулхема. Однако что можно было сделать? Скупить самому все вещи и свалить в чулан? Нет; они должны пережить судьбу всякой плоти и всякой мебели служить, пока не придут в разрушение. Но когда выставили кушетку тёти Энн и уже готовились пустить её с молотка за тридцать шиллингов, Сомс вдруг выкрикнул: «Пять фунтов!» Произошла большая сенсация, и кушетка досталась ему.

Когда закончилась распродажа в душном аукционном зале и рассеялся по Лондону этот викторианский прах, Сомс вышел в туманный свет октябрьского дня с таким чувством, словно умер последний уют старого мира и в самом деле вывешена дощечка: «Сдаётся в наём». На горизонте — революция; Флёр в Испании; от Аннет никакой радости; и нет больше дома Тимоти на Бэйсуотер-Род. В унынии, в досаде отправился Сомс в Гаупенорскую галерею. Там были выставлены акварели Джолиона Форсайта. Сомс прошёл поглядеть на них и пофыркать — это доставит ему некоторое удовольствие. От Джун к миссис Вэл Дарти, от неё к Вэлу, от Вэла к Уннифрид, а от Унифрид к Сомсу так просочилась молва, что дом, роковой дом в РобинХилле, продаётся, а Ирэн едет к сыну в Британскую Колумбию или куда-то ещё. На одно сумасшедшее мгновение у Сомса мелькнула мысль: «А почему бы мне его не купить? Я предназначал его для своей...» Но мысль тотчас была отброшена. Слишком мрачное было бы торжество; слишком много связано с этим местом воспоминаний, унизительных и для него и для Флёр. После всего, что случилось, Флёр никогда не стала бы там жить. Нет, пусть дом достанется спокойно какому-нибудь пэру или спекулянту. С самого начала сделался он яблоком раздора, раковиной, таящей в себе моллюска вражды; а с отъездом этой женщины он превратился в пустую раковину. «Продаётся или сдаётся в наём». Духовным взором Сомс видел уже доску с такою надписью, водворённую высоко над увитой плющом стеною, которую он сам построил.

Сомс прошёл по первым комнатам галереи. Что и говорить, работ немало! Теперь, когда художник умер, они не кажутся такими скучными. Рисунок приятен, краски передают воздух, и чувствуется в письме что-то индивидуальное. «Его отец и мой отец; он и я; его ребёнок и мой, — думал Сомс. Так оно и пошло! А все из-за этой женщины!» Умилённый событиями последней недели, поддавшись грустной прелести осеннего дня. Сомс ближе, чем когда-либо, подошёл к раскрытию истины, недоступной пониманию чистокровного Форсайта: что тело красоты проникнуто некой духовной сущностью, которую может полонить только преданная любовь, не думающая о себе. В конце концов к этой истине приближала его любовь к дочери; может, эта любовь и позволила ему понять хоть отчасти, почему он упустил приз. И теперь, среди акварелей своего двоюродного брата, получившего то, что для него самого осталось недоступным, он думал о нём и о ней с удивившей его самого терпимостью. Но не купил ни одной акварели.

Собравшись выйти снова на свежий воздух и проходя мимо кассы, он — не совсем неожиданно, ибо мысль о такой возможности всё время присутствовала в его сознании, — встретил входившую в галерею Ирэн. Итак, она ещё не уехала и отдаёт прощальные визиты останкам Джолиона! Сомс подавил невольную вспышку инстинктивных побуждений, механическую реакцию всех своих пяти чувств на чары этой женщины, некогда ему принадлежавшей, и, глядя в сторону, прошёл мимо неё. Но, сделав несколько шагов, не выдержал и оглянулся. В последний раз, и — конец: огонь и мука его жизни, безумие и тоска, его единственное поражение кончатся, когда на этот раз образ Ирэн угаснет перед его

глазами; даже в таких воспоминаниях есть своя мучительная сладость. Ирэн тоже оглянулась. И вдруг она подняла затянутую в перчатку руку, губы её чуть-чуть улыбнулись, тёмные глаза как будто говорили. Настала очередь Сомса не ответить на улыбку и на лёгкое прощальное движение руки; дрожь с головы до ног, вышел он на фешенебельную улицу. Он понял, что говорила её улыбка: «Теперь, когда я уйду навсегда, когда я недосыгаема ни для тебя, ни для твоих близких, прости меня; я тебе не желаю зла». Вот что это значило; последнее доказательство страшной правды, непонятной с точки зрения нравственности, долга, здравого смысла: отвращения этой женщины к нему, который владел её телом, но никогда не мог причаститься её души или сердца. Это было больно; да, больнее, чем если бы она не сдвинула маски с лица, не шевельнула бы рукой.

Три дня спустя, в быстро желтеющем октябре, Сомс взял такси на Хайгетское кладбище и белым лесом крестов и памятников поднялся к семейному склепу Форсайтов.

У старого кедра, над катакомбами и колумбариями, высокий, безобразный, индивидуальный, этот склеп, казалось, возглавлял систему конкуренции. Сомс припомнил спор, в котором Суизин отстаивал предложение посадить на фасад герб с фазаном. Предложение было отклонено в пользу скромного каменного венка над словами: «Фамильный склеп Джолиона Форсайта, 1850 год». Склеп был в полном порядке. Все следы недавнего погребения были устранены, и трезвый серый камень покойно хмурился на солнце. Вся семья теперь лежала здесь, исключая жены старого Джолиона, которая, согласно договору, вернулась почивать в склеп своей собственной семьи, в Сэффоке; самого старого Джолиона, лежащего в Робин-Хилле, и Сьгозен Хэймен, которую кремировали, так что никто не скажет, где она теперь. Сомс глядел на склеп с удовольствием: массивен, не требует больших забот; и это немаловажно, ибо он знал, что, когда сам он умрёт, никто не станет больше заботиться о склепе Форсайтов, а ведь и ему уже скоро пора подумать о новом жилище. Может быть, у него ещё двадцать лет впереди, но никогда нельзя знать. Двадцать лет без тёток и дядей, с женой, о которой лучше не знать ничего, с дочкой, покинувшей дом! Сомса клонило к меланхолии и к размышлению о прошлом.

Кладбище полно, говорят, именитых людей, похороненных с отменным вкусом. Отсюда, с высоты, открывается прекрасный вид на Лондон. Аннет однажды дала ему прочесть рассказ этого француза, Мопассана,⁷⁷ — мрачная кладбищенская история, где ночью поднимаются из могил мертвецы и все благочестивые надписи на их плитах превращаются в описания их грехов. История весьма неправдоподобная. Как насчёт французов, он не знает, но англичане довольно безобидный народ — только зубы у них и вкусы действительно в плачевном состоянии. «Фамильный склеп Джолиона Форсайта, 1850 год». Множество людей похоронили здесь с тех пор, множество английских жизней распалось в прах и тлен! Гудение аэроплана, проплывшего под золотыми облаками, заставило Сомса поднять глаза. Какая чудовищная экспансия за эти годы! Но в конце концов всё возвращается на кладбище — к имени и дате на могильной плите. И Сомс не без гордости подумал, что ни он, ни его семья ничем не содействовали этой лихорадочной экспансии. Солидные, добропорядочные посредники, они с достоинством делали своё дело: управляли и владели имуществами. Правда, «Гордый Досет» в бездарный период занимался строительством и Джолион в сомнительный период занимался живописью, но больше никто в их семье, насколько помнил Сомс, не пачкал рук созиданием чего бы то ни было, если не считать Вэла Дарти с его коннозаводством. Были среди них сборщики налогов, стряпчие, юристы, купцы, издатели, бухгалтеры, директора, агенты по продаже земель, даже военные это да! Страна расширяла свои границы независимо от них. Они же сдерживали, контролировали, защищали, забирали доходы от этого процесса, — и как подумаешь, что

⁷⁷ ...рассказ этого француза, Мопассана... — По всей вероятности, речь идет о рассказе Мопассана «Покойница», впервые опубликованном в 1889 г.

«Гордый Досеет» вступил в жизнь, почти ничего не имея, а его прямые потомки по оценке Грэдмена уже имеют что-то около полутора миллионов, то жаловаться, право, не приходится! Тем не менее Сомсу казалось иногда, что его семья расстреляла все свои заряды, что её собственнический инстинкт выдыхается. Форсайты четвёртого поколения как будто уже неспособны зарабатывать деньги: сил уходят в искусство, в литературу, в сельское хозяйство или в армию; а то и просто проживают наследство — нет у них ни хватки, ни напора. Если не принять мер, им грозит вымирание.

Он отвернулся от склепа и подставил лицо ветру. Воздух здесь на холме был бы восхитителен, если бы только нервам не чудился в нём запах тления. Сомс раздражённо глядел на кресты и урны, на ангелов, на иммортили, на цветы, безвкусные или увядшие, и вдруг заметил место, настолько отличное от всего прочего здесь, что решил пройти необходимые для этого несколько шагов и посмотреть поближе. Спокойный уголок: массивный, необычной формы крест из серого нетесаного гранита, и четыре тёмных тиса на страже. Вокруг не было тесно от других могил, так как позади лежал небольшой обнесённый решёткой садик, а впереди стояла тронутая позолотой берёза. Этот оазис в пустыне трафаретных могил затронул эстетическую струну в душе Сомса, и он сел там на солнце. Сквозь трепетные листья золотой берёзы он смотрел на Лондон и отдавался волнам воспоминаний. Он думал об Ирэн на Монпелье-сквер, когда волосы её были ржаво-золотыми, когда её белые плечи принадлежали ему, — Ирэн, награда его любовной страсти, не дающаяся в руки собственника. Видел тело Босини в белой мертвецкой, Ирэн на диване, глядевшую в пространство глазами умирающей птицы. Видел её снова перед маленькой зелёной Ниобеей в Булонском лесу опять она его отвергла! Воображение перенесло его на полноводную реку в ноябрьский день, когда родилась Флёр, к мёртвым листьям, плывущим по зеленоватой воде, змееголовым водорослям, что вечно покачиваются и шипят на привязи, извивающиеся, слепые. Повело дальше, к окну, открытому в холодную звёздную ночь над Хайд-парком, в комнату, где лежал мёртвым его отец. Переметнулось к той картине «Города будущего», к первой встрече того мальчика и Флёр; к синеватому дымку сигары Проспера Профона и к Флёр, указывающей вниз, в окно — «рыщет»! К стадиону Лорда, где Ирэн сидела на трибуне рядом с тем, умершим. К ней и её сыну в РобинХилле. К дивану, в уголок которого забились Флёр; к её губам, поцеловавшим его Щеку, к её прощальному «папочка!» И вдруг он опять увидел облитую лайкой руку Ирэн: машет ему напоследок в знак отпущения.

Долго сидел он там, вспоминая свой жизненный путь, неизменно направляемый собственническим инстинктом, и даже память о неудачах согревала его.

«Сдаётся в наём» форсайтский век, форсайтский образ жизни, когда человек был неоспоримым и бесконтрольным владельцем своей души, своих доходов и своей жены. А теперь государство посягает на его доходы, его жена сама над собой хозяйка, а кто владеет его душой — одному богу известно. Сдаётся в архив здоровая и простая вера!

Врываются клокочущие волны новой смены, возвещая новые формы, но это наступит лишь тогда, когда разрушительный их разлив пойдёт на убыль после половодья. Сомс, сидя здесь, подсознательно ощущал их, но мысли его были упрямо обращены к прошлому — так мог бы всадник мчаться в бурную ночь, повернувшись лицом к хвосту несущегося вскачь коня. Через викторианские плотины перекачивались волны, захлёстывая собственность, нравы и старые формы искусства. Волны оставляли на губах солёный привкус, словно привкус крови, подступая к подножию Хайгетского холма, где покоился в могилах век Виктории. И сидя здесь, высоко, в этом обособленном уголке, подобный символической статуе Обеспечения, Сомс отказывался слышать их неугомонный прибой. Он инстинктивно не боролся с ними: в нём было слишком много примитивной мудрости того животного, которому имя — Человек-Собственник. Волны угомонятся, когда у них пройдёт приступ перемежающейся лихорадки экспроприации и разрушения, — насытившись ниспровержением чужого творчества и имущества, они опадут и войдут в берега, и возникнет новое строительство на основе инстинкта, который старше лихорадки

изменения, — на инстинкте домашнего очага.

«Je m'en fiche», — сказал бы Проспер Профон. Сомс не говорил: «Je m'en fiche» — это по-французски, и чем меньше думать о бельгийце, тем лучше, но в глубине души он знал, что перемена означает лишь промежуточный период смерти между двумя формами жизни, необходимое разрушение для расчистки места под новую собственность. Что в том, что вывешена доска и уютное гнездо сдаётся в наём? Придут другие, и в один прекрасный день кто-нибудь приберёт его к рукам.

И лишь одно действительно смущало Сомса, когда он сидел у могилы: нившая в сердце тоска — оттого, что солнце колдовскими чарами зажгло его лицо, и облака, и золотую листву берёзы, оттого, что ветер так ласково шумит, и зелень тиса так темна, и так бледен серп месяца в небе.

Сколько бы он ни желал, сколько бы к ней ни тянулся — не будет он ею владеть, красотой и любовью мира!

1921

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке TheLib.Ru](http://TheLib.Ru)

[Оставить отзыв о книге](#)

[Все книги автора](#)

[Другие книги серии «Сага о Форсайтах»](#)